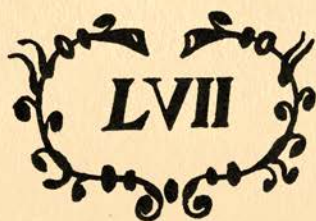


НОВЫЙ Журнал



THE NEW
REVIEW

НЬЮ-ИОРК

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, and July 2, 1946 (Title 39, United States Code, Section 233) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1957.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Michael M. Karpovich, 898 Memorial Dr., Cambridge, Mass.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Michael M. Karpovich, 516 Orange St., New Haven 11, Conn.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required from daily, weekly, semi-weekly, and triweekly newspapers only).

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 4 day of September, 1958.
Irving Light, Notary Public, State of New York, No. 31-2362800,
Qualified in New York County, Com., Expires March 30, 1959.

**THE
NEW REVIEW
Новый Журнал**

Основатели
М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

Восемнадцатый год издания

**КН.
LVII
1959**

Редактор М. М. КАРПОВИЧ
Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

NEW REVIEW, June, 1959
Quarterly, No. 57
2700 Broadway, New York 25, N. Y.
Subscription Price \$7. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Из литературного наследства И. А. Бунина	5
<i>Николай Тuroверов</i> — <i>Степь</i>	18
<i>Вл. Корвин-Пиотровский</i> — Два рассказа	20
<i>Георгий Евангулов</i> — <i>Кентавр</i> , поэма	30
<i>А. Кашин</i> — В стране дракона	33
<i>Ю. Иваск</i> — Я уеду в Юкатан	61

СТИХИ:

<i>А. Величковский</i> (82), <i>А. Гингер</i> (85), <i>О. Ильинский</i> (85), <i>С. Лифтон</i> (131), <i>А. Присманова</i> (17), <i>Вл. Смоленский</i> (187), <i>Л. Страховский</i> (115), <i>И. Чиннов</i> (91).

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

<i>Н. Берберова</i> — Набоков и его «Лолита»	92
<i>Н. Ульянов</i> — Арабеск или Апокалипсис?	116
<i>П. Ершов</i> — «Анатэма» Л. Андреева	132

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>С. Бертенсон</i> — Письма О. Л. Книппер-Чеховой	148
<i>К. Штеппа</i> — В плену коммунизма	169
<i>Н. Алексеев</i> — В бурные годы	191

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>М. Вишняк</i> — Заключительное слово	206
<i>Д. Шуб</i> — Ленин и Вильгельм II	226
<i>Ю. Денике</i> — Партия без идеологии?	268
<i>М. Карпович</i> — К друзьям и читателям «Нового Журнала» ..	283

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>И. Г. Церетели</i>	284
-----------------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЯ:

<i>В. Сечкарев</i> — Dmitrij Tschizewskij. Das Heilige Russland. Russische Geistesgeschichte. <i>Е. Каннак</i> — Rose Celli. L'art de Tchekhov. <i>Н. Лосский</i> — С. Левицкий. Трагедия свободы. <i>Е. Каннак</i> — Раиса Блох — Михаил Горлин. Избранные стихотворения. <i>Р. Плетнев</i> — Н. Арсеньев. Преображение мира и жизни. <i>М. Вишняк</i> — Из истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 1917-1921 г.г.	286
--	-----

Письма в редакцию	298
--------------------------------	-----

Книги для отзыва	302
-------------------------------	-----



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА

И. А. БУНИНА

Разбирая архив Ивана Алексеевича, я нашла стихотворение «Венки», написанное красным химическим карандашом на большом листе почтовой бумаги. Под ним подпись: Ив. Бунин.

К сожалению, это стихотворение не датировано, но красный химический карандаш Иван Алексеевич получил в подарок во время болезни (в 1948-49 году), когда писал в постели.

В архиве я обнаружила и более раннее стихотворение, написанное на ту же тему «Венком из мирта освежал я...» Оно тоже без даты.

Решила я напечатать и стихи «Се Жених грядет» (2. 9. 14), «Где Ты, угасшее светило», «В караване» (28. 8. 17), «Сохнут, жарко пахнут травы», «Что впереди?» (15. 9. 22), «Бретань»; некоторые записи Ивана Алексеевича, два рассказа «Начало», «Аля» и незаконченный набросок «Крым».

В. Муромцева-Бунина

В Е Н К И

Был праздник в честь мою. И был увенчан я
Венком лавровым, изумрудным:
Он мне студил чело, холодный, как змея,
В чертоге пирном, знойном, людном.

Жду нового венка — и помню, что сплетен
Из мирта темного он будет:
В чертоге гробовом, где вечный мрак и сон,
Он навсегда чело мое остудит.

**
*

Венком из мирта освежал я
Чело в дни юности моей,
Когда, безумный, возлежал я
В чертоге мирном меж друзей.

Венок из лавра был наградой
За поэтический мой пыл:
Он, как змея, своей прохладой
Мой лоб горячий остудил.

Венок последний будет снова
Сплетен из миртовой листвы —
Среди чертога гробового,
Для ледяной моей главы.

СЕ ЖЕНИХ ГРЯДЕТ

В сосудах тонких и прозрачных
Сквозит елей, огни горят.
Жених идет в одеждах брачных,
Невесты долу клонят взгляд —

И льется трепет серебристый
На лица радостные их:
— Благословенный и Пречистый!
Взойди в приют рабынь Твоих.

**
*

Где Ты, угасшее светило?
Ты закатилось за поля,
Тебя сокрыла, поглотила
Немая, черная земля.

Но чем Ты глубже утоаешь
В ее ночную глубину,
Тем всё светлее наливаешь
Сияньем бледную Луну.

Прости. Приемлю указанье
Покорным быть земной судьбе —
И это горнее сиянье,
Воспоминанье о Тебе.

В К А Р А В А Н Е

Под луной на дальнем юге
Как вода пески блестят.
Позабудь своей подруги
Полудетский грустный взгляд.

Под луной текут, струятся
Золотой водой пески.
Хорошо в седле качаться
Сердцу, полному тоски.

Под луной, блестя чернеет
Каждый камень, каждый куст.
Знойный ветер с юга веет
Как дыханье милых уст.

**

*

Сохнут, жарко пахнут травы.
Над полдневными горами,
Над сиреневым их кряжем
Встало облако колонной —
И, курясь, вясь, уходит
К ослепляющему небу.
В тень прозрачную маслины
Блик горячий и зеркальный
Льется с моря и играет
По сухим, колючим травам.

**

*

Что впереди? Счастливый, долгий путь.
Куда-то в даль спокойно устремляет
Она глаза, а молодая грудь
Легко и мерно дышит и чуть-чуть
Воротничок от шеи отделяет —
И чувствую я слабый аромат
Ее волос, дыхания — и чую
Былых восторгов сладостный возврат...
Что там, вдали? Но я гляжу, тоскуя,
Уж не вперед, нет, я гляжу назад.

Б Р Е Т А Н Ь

Ночь ледяная и немая,
Пески и скалы берегов.
Тяжелый парус поднимая,
Рыбак идет на дальний лов.
Зачем ему дан ловчий жребий?
Зачем в глухую ночь зимой
Простер и Ты свой невод в небе,
Рыбак нещадный и немой?
Свет серебристый, тихий, вечный,
Кресты погибших. И в туман
Уходит плащаницей млечной
Под звездной сетью океан.

З А П И С И

Могила Мопассана на новом кладбище Монпарнасса, отделенном от старого узкой улицей Кастанди, — вернее проходом между двумя стенами этих кладбищ. Решетка, могила без бугорка, на уровне земли. Едва нашел эту могилу. Как всегда все стоят над могилами, стоял с тупым удивлением: как, это тут, под моими ногами, его кости, его череп, — скелет того, кто когда-то и т. д.

“Guy de Maupassant. 1850-1893”.

Невероятно!

И уже всеми давно забытая, никому не нужная могила!

Умерла 24 лет, через полгода после свадьбы.

Днем гуляла, ходила в лес, была оживлена. Вечером боль под правой лопаткой — воспаление легкого, 40,5; 41,3...

Лежала с закрытыми глазами, рот опекся, голос невнятный, дыхание трудное...

В день смерти жалостно плакала, обнимая склонившегося к ней молодого мужа, потом сказала едва внятно: «умираю...»

Дыхание было так трудно, что приподняли, наклали за спину подушек, — полусидела с закрытыми глазами, поражая всех своей худобой. Вздохи были всё реже, потом икнула — и стихла. Голова склонилась на сторону, лицо покорное, истрадавшееся. Поцеловали в лоб и положили на подушки.

Вечер его смерти. Уже темнеет. В усадьбе чернеет за домом сад, за садом золотистое зарево восходящего месяца, сквозящее в черноте деревьев. На крыльце дом (в котором он уже лежит наряженный на столе в зале), сидят в тусклом сумраке и тихо переговариваются горничные.

Ночью, в освещенном тихим и безразлично печальным
месячным светом саду, жалобно, однообразно кричит совка.

На скамье в аллее тихий женский голос:

— Вот так-то и мы пометим...

Он, закуривая цыгарку, беззаботно:

— Я этого ничего не боюсь!

— А я страсть их боюсь, этих покойников, — отвечает
она, наслаждаясь своим страхом. — Теперь шесть недель
не буду ночевать в доме. И днем, и то страшно будет, как
глянешь в этот угол, где он лежал...

Одна из самых счастливых ночей их.

День похорон совсем белый от густого утреннего тумана,
за которым ничего не видно в двух шагах.

Туман оседает каплями на ветвях, жемчугом на осенней
паутине — уже пригревает сквозь него солнце.

Париж, сентябрь, погода милая, теплая, солнечная.

Церковь на rue Dauphine, спокойные легкие похороны.

Покойник был холост, одинок, незначителен, в церкви
всего несколько человек его знакомых; ни слез, ни рыданий.

Певчие пели с беспечной, приятной грустью, без напря-
жения и щегольства.

Отпели, увезли. С удовольствием, чувствуя себя ровно,
хорошо Н. пошел пешком домой.

Уже много сухих листьев на тротуарах, на бульварах.

Париж поет автомобилями. Начинает счастливую осень,
все четыре миллиона живущих в нем хотят счастья, удоволь-
ствий... Его в Париже уже нет, он уже всеми забыт...

— А будет день, и меня принесут сюда, и так же будет народ вокруг моего гроба и на паперти и во дворе. Невероятно, непостижимо, но непременно будет. А уж самое непостижимое, что, зная всё это, всё-таки совершенно тупо думаю об этом и совершенно беспечно живу, внутренне не верю в это, а главное, что никогда и никто в мире не признавал смерть чем-то законным!

Медленно, черным потоком текущая по улице за катафалком толпа.

Жгучее солнце, духота, заходит гроза. Камиион-водовоз поливает улицу — улица дымится, противно, тепло пахнет...

Потом будет долгий путь на кладбище, бесконечный.

Бесконечно страшна жизнь.

Н А Ч А Л О

Весна, восемнадцатый год, Москва.

Отворилась дверь и, согнувшись и цепляясь за нее плечом и рогожным тюком на спине, ввалился в прихожую большой желтоволосый мужик в картузе, в ватном длинном пиджаке и в разбитых валенках. Ввалившись, зашатался, с грохотом уронил тюк на пол и, хватаясь рукой за стену, осел на него, побледнел как полотно, поник головой с закотившимися глазами. Думая, что он умирает, бросился к нему, поднял ему голову. Он стал приходить в себя, стал неистово кашлять, наконец выговорил:

— Покурить-бы...

Сунул ему в рот папиросу, зажег спичку. Он жадно и неловко затянулся. И с перехватывающимся дыханием:

— Это тут писатели живут?

— Тут только их контора.

— Ну, слава Богу. А то говорят «неси», а я толком не знаю, куда. Слава Богу, попал, значит, верно. А этот комиссар только кричит и приказывает, а ничего не может объяснить. Вы, значит, можете эти книги принять?

— Нет, не могу. Я только зашел сюда, а тут сейчас никого нет, конторщик куда-то ушел.

— А дверь бросил без запору? Хотя что ж теперь запира-
ть, всё равно не нынче-завтра всё растащут.

— А что с тобой было? Дурно стало?

— Дурно. От бедной пищи. Легкие зашлись.

— А ты ничем не болен?

— Я ничем не болен. А вот кашель. И пища бедная. Всё голова кружится.

— Как же ты такие тюки таскаешь? Ведь так умрешь когда-нибудь.

— И очень просто. Служу им, что ж поделаешь. А какое там жалованье!

— Сколько же ты получаешь?

— Тридцать пять всего. А семейство — шесть человек.

— Да как же можно на это шестерым прожить?

— Как! Прежнее имение расхищаю. Самовар проел, два чугуна проел...

Он поднял голову:

— А всё тянешься, всё думаешь лучше будет.

— А по-твоему будет лучше-то?

— А чем же может быть лучше? Хорошего теперь ждать неоткуда. Вот они все радуются, все красные флаги вешают, а я самовар проел, чугуны проел, а что еще проедать? Идешь по этой Москве — везде весна, капли, а зачем идешь? Лег бы да помер. Вот вы, писатели, про это напишите. Тут сила не в том, что самовар проел, а что, когда эта весна и такое время, очень страшно. Лег бы да помер. А и помирать страшно. Не со светом жалко расстаться, а смерти страшно. А то бы с радостью помер. Теперь надеяться не на что. Эти ваши книги теперь без надобности...

А Л Я

В далеком уездном городе, в далекой ранней молодости.

Приезжал из деревни брать книги в городской библиотеке — там и встретились в первый раз, вышли вместе, разговаривались — оказалось, что наговориться по дороге нельзя, зашли в пустой городской сад, сели на скамью в главной аллее и опять без конца расспрашивали друг друга, радостно дивились сходству вкусов.

— Вы не кончили гимназию? А я кончила только прогимназию, у папы нет средств продолжать мое образование, он машинист на товарных поездах... Я теперь читаю «В лесах и на горах», а вы? Я люблю больше Лермонтова, чем Пушкина, а вы? Так вы правда приедете на будущей неделе? Мне столько еще надо спросить вас! Меня зовут Алей, а вас?

Когда во второй раз сидели в саду, говорили уже мало. Всё целовал ее руку, она всё ниже клонила голову.

Приехав в тот вечер, накануне новой встречи, остановился, как всегда, в «Задонском подворье», пил чай в жалком номере, при одной свече, и заснул под шум дождя, думая: Нет, завтра Бог даст теплое милое утро... будут легкие тени на сырых дорожках сада, и я опять буду сидеть и ждать ее, и выступят на глаза слезы сладкой жалости и счастья, когда увижу, как она спешит ко мне в своей серенькой юбочке и голубой рубашечке, — доверчивая, преданная, детски радостная...

Но утром она не пришла. Не пришла и на другой день. На вокзале узнал: машинист Ковальский переведен на Донецкую дорогу, а на какой именно участок будет назначен там, неизвестно.

К Р Ы М

За окнами пустого, тихого дворца светлая зелень шелковицы. Водоем без воды.

— Тут купались султанские жены. Это меня волнует. Вот по этому мраморному полу они ходили маленькими босыми, белыми ногами...

— Не смей думать о них!

— Не буду, не буду. Да они, верно, босиком и не ходили. В деревянных сандалиях, я думаю. Хотя это тоже не плохо.

— Как тебе не стыдно говорить мне это!

— Да я же шучу. Лучше посмотри — вот он, знаменитый «Фонтан слез»...

Сюда стихи Пушкина.

Мертвое Чуфут-Кале. Помпея.

Потом пещерный город в лесистых горах. Ездили туда верхами. Пустыня, тишина, — только переливчатое пение дроздов... Кости на вершине сопки, в пещере...

Белый, веселый, с светлой зеленью Севастополь. Завтрак в гостинице на мысу у моря. Бычки Зеленки. Сон. Выехали перед вечером, наняв до Ялты парного извозчика под белым зонтом.

Ночь в гостинице у Байдарских ворот. Ужин. Прогулка за воротами. Лунная, но неясная ночь, небо как бы в легком пару. Мертвая тишина, далеко, глубоко внизу шум моря, кипит у берегов серебро...

И еще тысячи, тысячи лет всё так же будет кипеть и шуметь... Зачем? Почему?

Остановились. Обнял, глядя ей в лицо в лунном свете.

— Ты меня любишь?

— Люблю и всю, всю жизнь буду любить! А ты?

— Мне особенно хочется побывать с тобой в Гурзуфе. Прежде, во времена Пушкина, лучше говорили: Юрзуф. Был я там еще в ранней молодости, ходил на Аю-Даг... Молодой, одинокий...

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы...

Две строки — и целая дивная картина!

Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы...

— Что ни слово, то волшебство.

— Прочти всё до конца. Я тоже ужасно люблю это.

Стал читать и побледнел, когда дошел до седьмой строфы:

Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя,
Иль уста во мраке ночи
Поцелуют не любя...

Одна из самых нежных и страстных ночей в этой маленькой деревенской гостинице у Ворот. На заре как молодые петушки кричали орлята. Бледность и свежесть утра в окно, закрытое только сквозными ставнями.

— Проснулась? Селим алейкум, радость моя! Это по-татарски — здравствуй, значит. А ты должна сказать: Садбул, то есть будь здоров. Или: Кошкильды! — добро пожаловать!

Она потянула его к себе, шепча:

— Кошкильды...

— Якшй, якшй!

— погоди, я получше лягу... Что значит — якшй?

— Это значит — ладно... Поцелуй, поцелуй меня.

За чаем. Она смеялась:

— Якшй! Ну скажи еще что-нибудь по-татарски.

— А еще я ничего не знаю. Знаю «чурек» — это лепешка из кукурузной муки. Еще чувяки...

— Ну это и я знаю. Это мягкие туфли без каблуков.

— А пешкет? Вот и не знаешь. А это значит подарок. Еще знаю — гурд́а.

— Что это — гурд́а?

— Старинная очень ценная шашка. Ла Илляр иль Алла! а по-арабски немного иначе: Ла Ил́аха илла-ил́а! Это значит нет Бога, кроме Бога. А теперь татары празднуют Байрам, самый большой мусульманский праздник. Как раз теперь в начале сентября.

— Ах, какой ты умный! Ну пойдн ко мне!

И, вскочив на колени к нему, обвивает его шею руками и прижимается щекой к щеке.

— Тебе хорошо со мной, радость моя!

Передохнув от счастья:

— Так хорошо, так хорошо! Ля Иллях... Нет никого кроме тебя, тебя!

— И не будет!

— Нет, нет, никогда! А у тебя?

— Это я уже говорил тебе. «А в повторении нет пользы», как говорила Шахеразада.

— Есть, есть, есть.

Муэзин был противный мальчишка. Красавчик. Совершенно девичье лицо.

У старика татарина глубокие глазницы, как у старой лошади.

Не высок, кривоног, крепок, широкозад.

Куртка из грубой шерсти. Мотня шаровар, очень узких внизу — на голенях и щиколотках. Шерстяные чулки, бабуши из цельной кожи.

Кумган — татарский глиняный кувшин, высокий, с узким горлом. Даже в самые жаркие дни вода в нем всегда холодная.

Неподвижная горячая жара, ослепительно белая глубокая пыль дороги, скрипучая мажара.

Жаркая, радостная, в горах молчаливая осень...

— А потом, друг мой, будет Москва, холодный дождь и крупа — сечет по верху пролетки, по прижатым ушам, по седелке бокастого с обтрепанным хвостом извозчичьим мерина-барабана.

Ив. Бунин

Р У К А

Не разбираясь в бронзовом товаре,
я попытаюсь рассказать о нем:
о той руке, что стынет на бульваре —
на северном бульваре, на Страстном.

Бывает пясть из мрамора и меди,
из бронзы, не имеющей страстей...
Одна из них на дружеском обеде
была живой — из мяса и костей,

чтоб кровью напоенная здоровой,
зимой не застывать как истукан,
а трепетать на стане Гончаровой,
с приятелями поднимать стакан,

снимать нагар с мягкосердечной свечки,
и выпустив неверный пистолет
упасть на белый снег у Черной речки...
но в бронзе встать для нас чрез много лет.

Анна Присманова

С Т Е П Ь

Памяти отца

I

Был полон мир таинственных вещей,
А я был жаден, беспокоен, зорок,
В Донце ловил я голубых лещей,
И хищных щук и сонных красноперок;
А в длинных буераках за Донцем,
Без промаха стреляя в куропаток,
Я мог уже соперничать с отцом,
С охотниками быть за панибрата.
Я забывал, что надо пить и есть;
Собака верная со мной не разлучалась,
Ее, в репьях, всклоченная шерсть,
Руном мне драгоценнейшим казалась.
И не было подобных ей собак
И не было страны подобно этой,
Где б можно было задыхаться так
От счастья и от солнечного света.
Сияла степь все суше, горячей.
И нежностью уже нечеловечей
Звучал мне голос. Только голос чей?
Наверно, твой, тоскующий кузнецик.

II

Опять в степи неугомонный ветер.
Свистит ковыль, качается бурьян.
Опять ирландец, годовалый сеттер,
От дикого простора полупьян;
Кружит, кружит широкими кругами,
А дичи нет — какая пустота!
В печальном небе, высоко над нами,
Летят, не опускаясь, стрепета.
Весь птичий мир готовится к отлету,
Пернатый мир давно на стороже.
Сентябрь зовет на псовую охоту,
Не видя толку в дробовом ружье.

Но мы с тобой, мой рыжий пес, не верим,
Что нашей воле подошел конец, —
По малолетству, за осенним зверем
Не пустит нас стареющий отец, —
Кружим, кружим в степи, не отдыхая:
Авось, еще нарвемся на дрофу
Иль диких уток обнаружим стаю
Под вечер, в мочажинах, на лугу.
Но степь мертва. За черными скирдами
Под ветром тлеет медленный закат,
И машет нам тревожными руками, —
Зовет домой, — полураздетый сад.
Отец сидит за бесконечным чаем.
Бушует ночь вслепую на дворе.
И мы с ирландцем, рядом, засыпаем
В отцовском кабинете на ковре.

III

Священный час еды. Благословенный час,
Ниспосланный голодным и усталым.
От летнего дождя костер наш не погас,
Кулеш, заправленный малороссийским салом,
Кипит, дымясь, в чугунном котелке.
Счастливый день, ниспосланный от Бога!
Возница мой увел коней к реке
На водопой, где мокрая дорога
Парома ждет. Но не спешит паром.
И мне уже не стоит торопиться.
Куда спешить, когда уверен в том,
Что этот день не сможет повториться.
Дождь отшумел давно. Но солнца нет, как нет.
И длится час блаженного покоя
И льется на меня такой чудесный свет,
Что кажется весь мир одетым в голубое.

Николай Тuroверов

ДВА РАССКАЗА

ПРИЗНАНИЕ

Я пишу вам в расчете на чудо. Быть может письмо это будет принято за обыкновенный рассказ и попадет в какую-либо газету, газета же неожиданно попадет в бывшую мою страну. Например, — рассеянный и неосторожный турист забудет выбросить ее во-время, таможенный чиновник и еще некто, обремененный доверием, в свою очередь проворонят ее, и глядь — —

На это, конечно, мало надежд. Все эти кузнецы и молотобойцы будущего счастья, все эти отливщики и формовщики нового человека, у которого будут замечательные белые зубы и пиджак из необыкновенно прочного сукна, — все они, конечно, сразу насторожатся, заметив строки, единственное содержание которых — вздох и вздох.

Бдительный человек не может не знать, что порой самые неприступные твердыни, которым не страшны дальнобойные орудия, вдруг распадаются от слабого вздоха; он немедленно просигнализирует куда следует, и письмо это никогда не дойдет по назначению.

Я пишу вам однако, потому что расчет на чудо — это всё, что осталось от бывшего моего вооружения, — это не много, я знаю; но я знаю также, что горы послушны иногда человеческому голосу, и, нарушая все законы, они по первому зову встают на дыбы, как взбунтовавшийся конь, идут к морскому берегу и низвергаются в расступившиеся воды — —

И, следовательно, может статься, что письмо это, выброшенное радостным молотобойцем в сорную яму, пройдет неожиданный путь; чья-то рука выберет его из кучи хлама, чьи-то глаза, соблазненные необычным названием газеты, наскоро отметят те строки, где идет речь о вас — —

Ваш родственник, друг или знакомый, по неожиданному стечению обстоятельств, завладеет запретным сокровищем, он поделится им с вами — —

Не правда ли, какое вздорное предположение?

Но я верю не в случай, а в судьбу. Это ее дело разделять или соединять жизни, отмеривать смерть и восторг, или, подбрав где-нибудь под городским фонарем одинокую слезу, высоко вознести ее в вечерние сумерки, дать ей движение и блеск и приобщить ее, наконец, к сонму неумирающих звезд.

Вся наша история полна этими бессмертными слезами, и не раз, глядя на Млечный Путь, мы гадали о тех, кто неуклонно продолжает свое вечное шествие.

Нас возмущает мысль, что одиноким душам навсегда отказано в свидании, и потому мы создали прекрасную веру о небесной гармонии, где все обиды получают свое оправдание, и все корабли сойдутся в одной счастливой гавани.

Я хотел бы, однако, чтобы мой голос прозвучал для вас еще здесь, на земле, так как вечный покой и безупречная гармония никогда не пленяли меня.

Всю жизнь яростно отстаивал я мое право на поражение; трубные звуки победы болезненно действуют на мои барабанные перепонки, и мне часто казалось, что у победы довольно плоское лицо.

И потому, расставшись с вами не надолго, но навсегда, я начинаю с того, что говорю не о любви моей к вам, но о моем поражении.

Я знаю, — вы не осудите меня за малую часть, избранную мною.

Но я люблю вас. Я не справляюсь у гадалок, помните ли вы еще мое имя, мое лицо, цвет моих волос. Я люблю вас не за то, что пронес ваш образ сквозь все испытания и забвения, но просто за то, что не могу не любить вас. Я верен вам, несмотря на многочисленные мои измены, верен как труп, для которого все соблазны — лишь треск погребальной свечи.

Я люблю вас, не зная даже, живы ли вы.

Я боюсь, я почти уверен, что от вас не осталось и праха на той земле, где ступали мы вместе когда-то. Вас нет, но вы

живете в каждом биении моего сердца, и потому я не оплакиваю вас.

Если вас нет, — кому я направляю это письмо?

В какую воздушную пустыню или в прекрасную обетованную страну полетит этот клочок бумаги, где записаны уже страшные слова: судьба, любовь, смерть.

Но я люблю вас, и для меня нет пустоты; она всегда заполнена вами, вашим голосом, глазами, милым вашим недоумением, смелой чистотой, всем, что прошло мимо, слегка отстранив меня по дороге.

Если бы я был поэтом, я написал бы стихи о России, о бывшей моей стране, где каждая строка говорила бы о вас, — так, чтобы ваше легкое дыхание перешло во все века, и чтобы ваше скромное имя стало рядом с именем Беатриче и затмило его.

Но нужна ли вам слава? Если вы живы, простое участливое слово соседки наверное будет вам нужнее.

Допустим, однако, что судьба сохранила вас, увела таинственной, одной ей лишь известной, дорогой в тот самый тенистый, большой и запущенный сад, полный благородного шороха ветвей, солнечного движения и беспричинной грусти, — увела и заботливо затворила за вами скрипучую калитку; или проще — втокнула вас в безопасный угол и крепко захлопнула дверь наскоро сколоченной квартиры с узаконенной в таких случаях жилплощадью — —

Тогда, в эту ночь, когда пишутся эти строки, во сне или наяву, вы непременно услышите далекий и невнятный голос, напоминающий о событиях, которых не произошло, и о чувствах, не знающих выражения.

Вы спите, что-то тревожит вас; я берегу недолгий ваш отдых и тихонько, на цыпочках, отхожу к окну, прячусь за занавеской и молча смотрю оттуда.

Добрая глуповатая луна помогает считать морщины на лобке вашем лице; как шрамы проказы, белеют на нем рубцы от ожога. Несчастный случай навсегда обезобразил прекрасное когда-то ваше лицо, но оно не перестало быть пре-

красным, так как лишь наружный его слой остался на ваших руках, когда, упав на пол, вы закрылись ими.

Дорогая, я полюбил и эти рубцы, но вы не захотели поверить и побоялся вручить мне ваше горе; горе настигло меня в вашем отсутствии. Оно стало моей постоянной тенью, и я привычно попираю его ногами, когда солнце прячется за моей спиной.

Уходя от вас, я всё взял с собою и ничего не потерял в дороге.

Что сказать вам еще, чтобы сон ваш был спокойнее?

У меня есть немало радостей, но ими не стоит делиться. Они пришли без вас, у них иная судьба, иная дорога, и на этой дороге мы не встретимся.

И стоит ли признаваться, что я постарел?

Жуликоватый доктор так упорно обещает мне долголетие, что я не жду уже ответа на это запоздалое признание. Или ответ будет так тих, что я не услышу его.

Не засмеются ли веселые молотобойцы, прочтя эти слова?

Они должны верить, что жизнь измеряется шумом. Чем больше фабричных труб, турбин и самолетов, тем радостнее бьется человеческое сердце, а коллективный труд создает новое понятие красоты. Всё может быть. Я сам люблю трубы, особенно на вечерней заре, я люблю быстрые самолеты, похожие на ласточек, я очень рад, что в маленьком городке вашем открылся большой кожевенный завод, и на высоком берегу реки, где мы гуляли когда-то, зажегся первый электрический фонарь. Зачем приписывать нам вражду к просвещению и всеобщему благополучию? Но я отстаиваю мое право любить вас без взаимности, не боясь расстояний и сроков, и потому мне не суждено увидеть вас.

Я пишу вам в расчете на чудо, потому что ни один почтальон не посмеет передать вам это письмо. Впрочем — я не сержусь на него.

Он добросовестно, в любую погоду, по всему городу разносит свою почту, и в сумке его немало писем, где расписалась сама судьба.

Я уважаю его. Я подозреваю даже, что иногда, без видимых причин, он начинает мечтать и смотреть на луну; она, не спеша, как встарь, овладевает воздушной высотой, торжественно проходит над нашим суровым, не очень устойчивым, миром, беспощадно отыскивает в садах уединенные пары и пугает их ярким своим светом.

Вот банда молодых бездельников возвращается из комсомольского клуба, и задушевный голос неожиданно начинает читать стихи о нежности и печали:

— На холмах Грузии лежит ночная мгла — —

И эта строка уже соединяет нас, создает меж нами недо-
зволенную связь, и чудо, весь высокий смысл которого состоит в том, что никто не верит в близкий его приход, — готово завершить свое воплощение — —

Не может быть, чтобы тонкая нить, протянувшаяся к вам из дождливого Парижа, осталась не замеченной вами, или чтобы вы приняли ее за обыкновенную паутину, нависшую в углу.

Мне нечего сказать вам больше, я и не собирался долго беседовать. День кончен, и с наступлением ночи душа освободилась и вздохнула.

ИЗМЕНА

Каждый раз, когда я всхожу на колокольню или на какую-нибудь старинную башню, которых немало пораскидано в этой стране, или взбираюсь на вершину одинокого холма, — прежде, чем посмотреть на окружающий пейзаж, я поднимаю глаза на небо. В любую погоду, тихо или ветрено, покрыто ли небо облаками или одна безмятежная лазурь блестит над головой, — там всегда чудится едва приметный трепет и движение. И вот, — когда от этого трепета и движения в ушах возникает легкий шум, и голова начинает как бы кружиться, — я внезапно опускаю взгляд, и всё, что оставил я внизу, представляется мне по-иному, словно все очертания и формы, бесконечно изменившись, родились заново. Давным-давно исхоженные мной поля кажутся вдруг неузнаваемыми. Иногда пей-

заж выигрывает от этой внезапной перемены, иногда становится беднее и незначительнее, но всегда он оборачивается другой стороной, не той, которую привыкло рисовать воображение. Всё становится новым, и новизна эта в свою очередь действует на душу, как бы творит новый ее слепок.

Тогда даже время перестает быть простой рамой событий, — оно приобретает фон и колорит, отвердевает, становится действующим лицом, часто еще безымянным, но которое, в силу своей несомненности, и не нуждается в имени.

Так стоишь ты, лицом к лицу со своим одиночеством или со своим счастьем, и лишь краем глаза отмечаешь годы, столетия и целые эпохи, снующие вдоль дороги, по которой ты недавно прошел. И все эти эпохи, славные или позорные, теперь мало чем отличаются от обыкновенной дорожной травы.

И постепенно душой овладевает неизгладимое чувство потери, высокое сожаление о том, чего и не было, но что могло быть, чего никогда больше не будет, и что было единственно важным для тебя, тем самым, для чего ты прошел весь этот путь, заросший сорной травой.

Каждый раз, когда сны или воспоминания позволяют мне видеть вас, — я с удивлением замечаю, что вся моя жизнь принадлежит не мне, а кому-то другому, лишь внешне похожему на меня, и жизнь эта могла бы стать прекрасной, если бы я догадался открыть ее своевременно. Тогда, подобно путешественнику, попавшему в неизвестную ему, но давно открытую другими страну, — я жадно набрасываю для себя путевые заметки из несостоявшегося прошлого, хотя знаю заранее, что труд этот никому не нужен, что в любой библиотеке стоят целые ряды книг с подробным описанием всего, что открылось мне впервые и поразило меня.

Вся моя короткая и случайная любовь к вам, которую по праву можно назвать длительной, никогда не прекращающейся изменой, часто сопровождает меня в бесцельных моих прогулках, — и позднее сожаление, вместе со мной взобравшееся на вершину этого пустынного холма, сожаление, которое долгие годы томит меня, — увя, не является ни искуплением, ни оправданием этой непоправимой измены.

Когда я говорю — моя короткая любовь к вам, — слова эти лишены смысла. Вы знали, что я никогда не любил вас, — я любил другую, и не был любим.

Эта любовь моя к другой была подлинной и очевидной, так как собственная моя жизнь потеряла тогда для меня всякое значение.

У меня не было никаких надежд, но я любил и эту безнадёжность. Отчаяние стало лучшим моим другом, и до сих пор еще я пожимаю ему руку с благодарностью.

Начавшаяся война и мой близкий отъезд на фронт окончательно запутали все отношения и опрокинули все расчеты, хотя расчеты были уже невозможны.

Тогда, несмотря на всё мое отвращение к человеческой бойне, я радостно стал готовиться принять в ней участие. Я кстати вспомнил слова, что война — не убийство, но готовность принести себя в жертву. Эта ложь оказалась кратковременной: все убивали, и никто добровольно не искал гибели.

Надо думать, что большие катастрофы и потрясения вызываются не только естественными законами, еще не известными нам, но и зловещей, затаенной до поры до времени, радостью, которая опьяняет нас при виде разрушения и гибели.

Я не знаю природы этого чувства. Низко оно или возвышенно, — не стоит гадать; одно несомненно, — оно приходит из каких-то глубин, где сплетаются корни особых деревьев; и слушая шум таинственных их ветвей, мы впадаем порой в то полуобморочное состояние, когда из простых и незамысловатых звуков сама собой зарождается необыкновенная, ни на что не похожая, музыка смерти. Кто слышал ее хоть однажды, того не утешит простая скрипка, тот не в силах уже отделаться от досадной мысли, что и самый искусный смычок сделан из дерева и конского волоса.

В последний мой вечер, когда всё стало так ясно, что захотелось ослепнуть, я, покружившись по городу, пришел к вам прощаться. По беззаботному моему лицу все безошибочно угадали глубину моего горя.

Я принес с собой неловкость и смущение.

Жених ваш молча смотрел на меня сочувствующими и ревнивыми глазами, гости старались избегать моего взгляда, словно всем предстала некая нагота, которой не хотелось касаться.

Пройдя неизбежную пытку за чайным столом, я наскоро откланялся и заторопился к выходу. И, будто очнувшись, вы резко отодвинули стул и вышли за мною. Это было так неожиданно, что встревоженная ваша мать не успела остановить вас. Нас встретила непроницаемая черная ночь.

Мир исчез, провалился в бездонную пропасть.

Ничего не было видно, — ни звезд, ни огней, ни деревьев, шумевших где-то поблизости, ни дороги, уводившей нас дальше. Со всех сторон двигалась теплая мягкая темнота, в которой плавали легкие степные запахи, родственные слезам.

Так, молча, дошли мы до высокого берега реки, где одинокая скамья была отдана нам услужливой судьбой.

Я не любил вас, и потому принял эту судьбу.

Я провожал вас обратно, не выпуская вашей руки, так как, выпустив однажды, уже не нашел бы ее в черной пустоте.

Иногда мне казалось, что это не ваша, но иная рука пожимает мне пальцы. Сердце мое вдруг замирало от тоски и восторга, но я быстро прогонял эти чувства.

Та, другая рука, была частью такого высокого мира, что малейшее воспоминание о ней было теперь невыносимо.

Я шел рядом с вами, дышал и слушал шорохи ночи.

Мне ни о чем не хотелось думать, и, вероятно, за всю дорогу мы не обменялись ни словом. Может быть я поцеловал вас на прощанье, и, наконец, скрипя, калитка захлопнулась за вами навсегда.

Стыдась или торжествуя, я вынул папиросу, закурил ее, сломал и отшвырнул прочь. И в эту минуту, то ли с прохладной и широкой реки, то ли из невидимого обширного сада, то ли из густого молчания, переполнившего всю землю, — чуть заметно дохнуло горьковатым холодком; одиночество прошло рядом и внезапно раскрыло сердцу особый свой смысл. Мне показалось, что вся жизнь, которая ласкала, вертела и кружила меня до сих пор, легкомысленная и озабоченная, мелочная

или полная своеобразного значения, — донесла меня, наконец, до того предела, где была разгадка всей этой сутолоки, суматохи и преувеличенных страстей.

Когда-то мне была поставлена задача, я решил ее, и всё последующее может иметь, но может и не иметь более места.

В этой именно точке начинается кипение, не требующее моего неперемного участия. Участвуя в этом кипении, я обречен быть лишь свидетелем или помехой процесса, который мог бы произойти и без меня.

В то время это кипение с трудом поддавалось наблюдению; ни зрение, ни слух еще не улавливали всей его важности и неизбежности; смутные сожаления лишь зарождались и поминутно теряли свои очертания. Нужно было внимательно, не наскоро, присмотреться к смерти, с которой мы по-детски играли в прятки, и только потом, отойдя уже в сторону, сказать себе жестоко и беспощадно:

— Времени больше не будет.

Разметавшись в тифозном жару, брошенный на дороге отступления, тоскуя и не находя себе места на узкой деревянной скамье в жалкой крестьянской избе, — я тщетно пытался припомнить какое-то имя, в котором было избавление.

Я видел синеватые вершины снежных гор, ледяные источники, сбегавшие по кручам, великолепные озера, полные чистой воды, — я горел и задыхался, я тянулся к этому изобилию свежести и прохлады, — но в то же время мысль моя беспокойно странствовала по какой-то забытой, может быть несуществующей стране. Она искала и не могла найти.

Среди множества лиц, возникавших и распадавшихся в моем бреду, лиц дорогих и любимых, я настойчиво и тревожно искал лишь одно.

И это лицо, наконец, склонилось надо мною и приняло ваши черты.

В этот день я встал впервые, и, раскачиваемый легким весенним ветром, побрел к недалекой границе; чужие солдаты неохотно пропустили меня, удивляясь моей слабости и нищете.

В изгнании я нашел полную, до дна опустошенную, сво-

боду. Я выбросил всё ненужное, и у меня не осталось ничего.

Но я сохранил воспоминания о небывшем и среди них — мою нелюбовь иль измену вам.

В этом спокойном и грустном мире я научился слушать на расстоянии и видеть то, что ускользает от зрения.

Я люблю смотреть на небо с какой-нибудь одинокой вершины. Горизонт необычайно расширяется; он перестает быть тесной окружностью, запирающей малую часть земли, где стихия стала геометрией.

Вот там, вдали, несется игрушечный поезд. Невидимые путешественники поглядывают в окна и не замечают меня. Вот там — поблескивает узкое ангельское крыло, еще недавно бывшее лужей перед домом начальника станции. Чуть повыше треплется по ветру темноватое облачко. Оно обманчиво. К вечеру оно станет тяжелой тучей и прольется дождем.

Я не знаю смысла всех этих изменений, я лишь отмечаю их про себя.

Вл. Корвин-Пиотровский

В К А Ф Э

Что лучше может быть пустынного кафэ
 Под вечер на окраине Парижа:
 Париж лежит на голубой софе,
 И ничего не видит и не слышит,
 Направо от меня. И я гляжу в окно.
 Его единственный, неповторимый профиль
 Запомнить многим не дано.
 Крепчайший ром, крепчайший кофе
 Ему подстать. Да и тебе подстать,
 Старейший пришелец без возврата.
 Вот только б вспомнить, записать,
 Что снилось мне на родине когда-то.
 И на углу трактирного стола
 Пишу о том, что дома не писалось,
 Что ты жива, что ты не умерла,
 Как это мне случайно показалось.

Николай Тuroверов

К Е Н Т А В Р

поэма

Цвела земля в густой оправе
Лесов дремучих. В тех лесах
На сочные ступая травы
Самец олень путь к водопою
И древний побеждая страх
Прокладывал. За ним гурьбою
Бежали самки.

Был тот быт,
Когда лишь рёв, да гул копыт,
Сливаясь с пением ручья
Прозрачный оглашали воздух,
Когда земля была ничья,
Когда лишь петь учились птицы,
И не было еще границы
Меж днем и ночью. Мирно звезды
В соседстве с солнцем свет струили,
Двойная кружевная тень
На землю теплую легла,
И бабочка крупней орла
Летала над стеблями лилий.

Был день от сотворенья мира
Тот самый солнечный из дней,
Когда, струясь в волнах эфира,
В сиянье солнечных лучей,
Впервые засверкал ручей,
Когда окрасились впервые
В горах озера голубые,
А на полях трава, цветы,
И черные еще павлины,
Гуськом живою цепью длинной,
Из мрака вышли втихомолку,
И солнца луч, как кисть по шелку,
Им разрисовывал хвосты...

И пела кузница вселенной
На все лады и голоса,
Стучал кузнечик вдохновенный,
Звенела пьяная оса.
Как свет звезды и этот звон
Дошел до нас от века к веку —
Такой волшебный, чудный сон
Еще не снился человеку.

Но расспросите у стрекоз,
Гостей июльских, вестниц грез! —
В их тонких крошечных мозгах
Наш мир все тот же — полон лени,
Да в золотом глазу оленя,
Сквозь удивление и страх,
Еще живет, не умирая,
Полузабытый полдень рая.

Цвела земля в густой оправе
Лесов дремучих. В тех лесах,
Где кедр растет, и дикий лавр,
И низкорослые агавы,
Копытом разрывая травы,
Могучий издыхал кентавр...
Предсмертный тошнотворный страх, —
Чуму, проклятие природы, —
Ноздрями чуял он впервые,
Умом горели голубые
Его глаза. И он нежней
Припоминал былые годы —
Он знал, что был последний в роде
Полузверей, полулюдей.

Он думал: век пройдет за веком,
И сходство зверя с человеком,
Такое близкое однажды —

Звериный голод, трепет жажды,
Лежание в нагретых норах —
Не вечно продолжаться будет,
И человек — увы — забудет
Шуршащий этот странный шорох
Лесов, и теплый дух земли.
И, потрясая кедр и лавр,
Вдруг зарычал тогда кентавр.

Очнувшись от полдневной лени
Скакали легкие олени
На этот рык. И из берлоги
С медведицею брел медведь,
Жирафы, тигры, носороги
Метались, прыгали в тревоге,
И слон трубил, шипели змеи,
Но близко подойти не смея
Смотрели все, как издыхал
Кентавр... И верилось едва,
Что человечья голова
Уродливая и большая,
Знакомой шерстью обростая
Звериный обретала лик.
Придавленный, протяжный крик
Пронесся, эхом повторенный.
И вот, коленопреклоненный,
С землей прощаясь, он лизал
Траву, цветы и листья веток —
Быть может, наш последний предок,
Тот, в чьем тускнеющем зрачке
В нечеловеческой тоске,
Сияя отблеском лазури,
Еще жила, едва дыша,
Та наша древняя душа
В звериной, теплой, нежной шкуре.

Георгий Евангулов

В СТРАНЕ ДРАКОНА

Случалось ли вам когда-нибудь видеть хождение по водам автомобиля? Мне случилось — в Нингпу во второй половине сороковых годов, ранней осенью. Тогда поплыли, забурили улицы и ребятишки передвигались по ним в деревянных бадьях, а взрослые снимали ботинки — те, у кого ботинки были, — засучивали штаны и шлёпали по колено в воде.

И вдруг автомобиль! В Нингпу рикша и то редкость, а тут колымага с мотором: пыхтит, отваливающейся дверцей, как курица крылом, машет. Километров двадцать он в час делал, но для такой глуши и это — грандиозное событие: матери детям расскажут, дети внукам и пойдет слава вовеки. Что толку, что через десять лет тут, может быть, аэродром появится и самолеты садиться начнут. Ведь настоящее-то событие сегодняшними людьми воспринимается: и, может, через десять лет окажется, что это вовсе не автомобиль был, а дракон с пылающей пастью.

И вот, бежит такое чудо, пену мыльными пузырями за собой пускает, а за ним толпа: каждому лестно к этойкой огненной колеснице пальцем прикоснуться.

На углу, у самого входа в наш отель, автомобиль остановился, попыхтел, постонал, дальше двинулся. И только когда он снова пошел вперед, я понял, что это Хан приехал. Тогда я перестал удивляться. Я не удивился бы даже, если бы Хан на шхуне приехал; с него и это станет — на то он и Хан!

Хан покопался в карманах, вытащил бумажный кулек и стал кидать ребятишкам конфеты. Часть сладостей миготом отправилась в рот, большая часть потонула. Ну да не беда, наступят снова теплые дни (на то ведь и китайская осень!), придет золотой октябрь — у ребят память длинная, миготом на-

летят и расхватают. А китайские конфеты в прочности китайскому мылу не уступят: никакая вода им не страшна.

В этот день, часов в пять вечера, Хана арестовали. Пришли в сапогах, — взятками, видно, и на сапоги заработать можно, — наделили в передней, в моей комнате. Передо мной извинились, а Хана с собой уволокли. Я горевал два дня, потом и моя очередь наступила. Опять извинялись, сюсюкали: ошибка-де, недоразумение, скоро-де выяснится...

В одном повезло: кандалы на меня не надели. Да и то сказать, единственный белый в городе. Было, правда, в Нингпу еще два-три католических монаха, да они так бородой и волосами обросли, что о них ничего определенного сказать было нельзя: может, европейцы, а, может и китайцы чуть подкрашенные. А я чистый — у меня кожа белая, глаза голубые, волосы светлые... Потому кандалов на меня никто не надевал. И даже так: в участок я поехал на рикше, а полицейские позади бежали, одной рукой за задок коляски придерживались. У одного любимая мозоль болела, так он всё рикшу уговаривал: тише-де шевелись! А рикша не дурак: небось, больше мне за то не заплатят!

В участке усадили меня в высокое соломенное кресло, чай принесли, таз с горячей водой, полотенце — лицо обтереть — ухаживали. Я обтер лицо, вымыл руки, выпил чаю и встретился с Ханом.

Это была вторая наша, такая вот, неожиданная встреча. Первая состоялась в Шанхае, в «Дарданеллах», где собирается вся русская шпана. Там поют «Наплевать, что наша карта бита!», «Там в саду, при долине», или «Мы не видели России, мы в чужбине родились». Но какую бы песню ни пели, всегда получается она грустной, тягучей, с босяческим надрывом, со слезой. Чего бы нам, собственно, в Китае делать? А податься некуда: вот и тоскуем.

Пьют в «Дарданеллах» хану, к которой для крепости подмешивается коньяк: хозяин подмешивает, не мы! Кукурузу, просо или — в случае особой удачи — рис варят на хибаче, на китайской открытой печке, которой трубы не полагается,

но зато полагается древесный уголь: сгорает быстро, но жару много дает, а у нас время в обрез.

И тут, неожиданно, Хан. Появись тут сам китайский император, и то не удивил бы больше. Хан в шелковом халате, веер у него резной, сандалового дерева. Веером этим и обмахиваться не надо, такой у него дух — внеси в комнату и разом прохладой охватит.

Почему выбрал Хан именно меня, этого я сказать не могу. Тут у нас все с «бывшим высшим образованием», а некоторые так даже и с высшим-высшим. Но он подсел именно ко мне и, вежливо улыбаясь, показывая рыжие зубы, сказал:

— Празднуете, варвары?

Я хотел было обидеться, но раздумал: ну его в болото, что он манза¹ понимает!

— Гуляем! — говорю.

— Это хорошо. Хорошо когда весело.

Увел меня в дорогой ресторан, ласточкиными гнездами кормил, акульими плавниками. Мне, правда, не в коня корм всё это, мне — дай хороший кусок говядины, да чтобы жиром погуще оброс. Но на пустое брюхо, — а в Китае у кого брюхо не пусто! — особенно разбираться не приходится. Как приналег, аж челюсти захрустели.

Пили мы с ним тонкое сосинское вино, — подогретое. У него рожа быстро раскраснелась.

— Играть, — спрашивает, — умеешь?

— Во что? — говорю.

— В пальцы.

Я надеялся, в «очко» скажет, а он — в «пальцы». Ну, что ж, мы и в «пальцы» можем, хоть тут много не заработаешь. Больно уж хитры манзы на эту игру.

Стали мы пальцы выкидывать. Забавная игра: спрячешь руку за спину, оба считаем: раз-два-три... Как до трех дойдет, выкидываем спрятанную руку на стол и каждый сколько хочет, столько пальцев и открывает. Одновременно кричать надо. Скажем, пять... или восемь... или шесть... кому сколько хочет-

¹ Прозвище китайцев (шанхайский жаргон).

ся. Не больше десяти, конечно (потому что как же на двух руках больше десяти пальцев получиться может!). Кто угадает, сколько на обеих руках пальцев открыто, тот и выиграл.

Фазаны² легко пьянеют. Правда, не падают они никогда, ну, да это потому, что пьют наперсточками: два-три наперстка и слез! А попробовали бы по-нашенски хану чашками глотать, небось, не то бы запели.

Морда у него в кирпич красная, орет: сы... у... ло... тью...! Он орет, а я выигрываю. Уж и не знаю не то фазан такой непутевый попался, не то нарочно он это делает, жалеет меня. Факт, что несколько сотен отнял я у него. А ему — вижу — нравится. Ну, Бог, думаю, с тобой, раз ты такой ненасытный и раз столько у тебя добра, что тебе тысячную или две ничего отдать не стоит.

Разошлись мы на Жоффри (главная это улица в Шанхае, весь город, как ножом, пополам режет), руки друг другу долго жали. Ты, говорит, лусун пан ю! А я ему, напротив: ты, говорю, цунго пан ю! Забавный народ эти азиаты: раз с ним вечер проведешь, глядишь, чуть не в родственники вышел.

Разошлись, а на другой день, гляжу, опять он в двери тычется. Ну, насчет дверей я соврал, конечно: какие в ханушке двери! Так, одна стена, — снимут на день ставни, вот тебе и дверь. Короче, опять он подсел и опять мы с ним на двух рикшах в ресторан поехали и опять я у него на пальцах несколько сотенных билетов выиграл. Не жизнь, а раздолье! Тем более, что перед этим совсем голодно было и я чистого риса, наверно, месяца два уже не видел, больше кукурузными лепешками пробавлялся.

А на пятый, не то на шестой раз он мне и говорит: хочешь со мной ехать? Мне в Нингпу по делам надо, я тебя с собой возьму: хорошо заработаем, и тебе достанется. А потом улыбнулся и добавил: очень, говорит, люблю я варваров наблюдать.

Долго я думал: от «Дарданелл» отрываться — дело серьезное. Всё равно как из хорошо укрытой гавани в океан вы-

² Тоже.

ходить. Тут хоть порой бутылкой по башке и треснут (сила играет, а девать ее некуда!), но зато свои — сами же и пожалеют потом, утешать будут.

А там... чорт его знает что это за Нингпу!.. где оно?.. зачем оно? Да и Нингпу ли это? Но молодость свое взяла. Ладно, говорю, поеду я с тобой, но чур без жульничества, и чтобы обратно меня в целости и сохранности доставить, не то обижусь.

Он только усмехнулся: такая у него усмешка китайская — чистый манза! Глазами хлопнул, будто дверку какую-то приотворил и вмиг снова на запор.

Вот мы с ним по морям, по океанам и отправились.

Сначала всё больше по Вампу ехали: по обоим берегам склады, всё склады. Невольно завидки меня взяли: мне бы одну сотую того, что здесь сложено, я бы больше и не просил. Потом в Янцзы выкатили. А дальше уж и не помню: укачало меня.

А теперь совсем в новой обстановке встреча. Я к нему рывком: ругаться хотел. А он ко мне с той же привычной уже ухмылкой. Бедный, говорит, варвар! Видишь, как судьба жестока к нам. Видно, прогневили мы с тобой небо, что здесь встречаться приходится. А, впрочем, продолжает, как мудрые древние учили: чистые руки и спокойное сердце всё преодолеют.

Вот, думаю, тебе и раз! Надеялся я, по совести сказать, что у него тут знакомства да связи (манза ведь!), или что откупиться сумеет, а он: чистое сердце да спокойные руки! Спокойные руки для воровства хороши, а тут — что с них толку!

Отвели меня в камеру. А там я уже совсем с другим чудовищем встретился. Лежит в углу, глаза рыжие, морда насквозь волосами проросла. И вот открывает это рыжие глаза и меня разглядывает. А потом хрипит.

— Ты, — говорит (если этот скрежет зубовый за разговор принять можно), — откуда и на каком основании в мой апартамент забрел?

— А твое, — огрызаюсь, — какое собачье!..

Тут он поправился:

— Я ничего, я только так, любопытствую...

— Ну, — отвечаю, — разве что любопытствуешь!

И объясняю:

— Не знаю я ничего. Взял меня какой-то фазан из «Дарданелл» сюда, в Нингпу привез, а тут и его и меня сцапали. Вот и сидим оба.

Он подумал, башкой своей рыжей покрутил.

— Не иначе, — говорит, — как опиум вы с собой приволокли, а теперь они с вас взятку содрать хотят. Законы драконовские³ ведь сам знаешь.

И пословицу шанхайскую шпарит:

— «Страна драконов, где нет законов, где много вшей и куча торгашей».

А я его на это и спрашиваю:

— А с тобой какие происшествия приключились, что ты тут оказался?

— Со мной, — отвечает, — дело совсем простое: с моста я прыгал.

— С какого опять моста?

— Да есть тут такой мост. Новый мост, только что построили. А, может, и не только что — сивый мерин их, фазанов, знает. Синконджо! Слыхал, может быть?

— Нет, — говорю, — не слышал. Чего ж тебя так угрозило, чтобы с моста прыгать?

— А за мной, — объясняет, — полиция гналась и в свистки свистели.

— Здорово! — удивляюсь. — Чего ж они это так?

— Да я, — говорит, — выпил тут маленько, да рикшу опрокинул, а в рикше, — чтоб ему неладно! — начальник полиции оказался. Он свистит, рикша кричит, менты⁴ за мной, я в воду... Выудили меня из реки и сюда...

— Ловко!

— Ничего, — говорит, — не ловко.

И вижу я: обижаться он начинает.

³ Тоже.

⁴ Полицейские (ш. ж.).

— Я, — говорит, — чуть не потонул, а ты — ловко!

— Как же это тебя угораздило? — спрашиваю.

— Ничего, — отвечает, — не угораздило. А только плавать-то я не умею. Нырнуть — нырнул, а потом сообразил: что ж теперь делать? Хорошо шаланды поблизости были. Я до них кое-как доёрзал, хватаюсь за шаланду, а она со мной вместе под воду ныряет.

— Ну, это ты, — возражаю, — с бусу всё. Не может того быть, чтобы шаланда одного человека не выдерживала.

— Да ты, — сердится, — хоть до конца выслушай. Я это только потом понял, что не за шаланду, а за весло хватался. Весла-то у них, сам знаешь, на веревке, — ну, вот оно ко дну и шлепается, а я с ним вместе.

Так мы с ним ночь и провели. О Шанхае вспоминали, про «нахаловку», про «Дарданеллы» и такая на нас тоска по родине напала, что хоть в петлю лезь. Стали мы слова разные на стенке писать. Дескать, чтобы вам то-то и то-то приключилось, а если того и того не будет, то хотя бы это и это. Немного отлегло от сердца.

А под самое утро спать улеглись. Перед этим, правда, пробовали прутья из решеток выдергивать. Возьмемся вдвоем за один прут и тянем. Но не тут-то было: манзы, они хоть и манзы, а решетки всерьез состряпали — не выломаешь.

И легли. Тихо стало. Пахнет помойкой. Лампочка на потолке синяя, маленькая, в клетку взята. Со стен будто капает и какие-то огоньки мелькают: крысы, что ли, глаза ихние! Такая меня грусть взяла, что и объяснить невозможно. Спал бы я, думаю, где-нибудь в подъезде и горя б не знал. А утром в чайнушку потащился бы. А там, смотришь, шпана подперла, врать пошла. Каждый о своем: кто когда каким героем оказался. И я бы своего подбавил. Так и заснул.

2

Есть в Нингпу новый мост — «Синконджо» и есть старый — «Локонджо». Ну, новый мост ничего: сталь там, бетон, всё

как полагается. Немного на шанхайский «Гарден-бридж»⁵ смахивает. Строили его, конечно, не драконы. Где им! А вот старый мост не иначе, как они умудряли. И штука же получилась, доложу я вам. Построен он под углом этак градусов в семьдесят. Тянут на него телегу, кожа со спины и с плеч хлопьями сыплется. А как вниз пустят, будто с высокой горы летят. Обязательно в стену въедут и рожу себе в кровь расшибут. Потом только и слышишь, как это у них полагается: ай-ва, ай-ва! Манза, ведь он какой: ты ему руку начисто оторви, но только чтобы крови не было, он и не поморщится. А чуть покажется капелька красная, на стенку от страха полезет. Морду себе всю вымажет, шею всю, тело сколько может. Бегать будет, как собака, которой одно место скипидаром смазали — потеха!

У этого самого старого моста мы и просидели до обеда. Выпустили нас поутру, как светать стало. Его пинками выгнали, а меня за руки вывели: осторожно так, вежливо, не споткнулся бы! Полицейский, у которого брюхо ходуном ходило, объяснил: Хан тебя откупил, а себя не хочет откупать. Упрямы! Ну, да мы из него это повыбьем. У нас такие мастера работают, только в глаза им заглянешь — плакать захочется.

Хана самого я тоже в коридоре встретил. Приоткрыл свои щелки (у них в таких обстоятельствах философский подход к делу показывать полагается: глаза закроет, жмурится, как кот на апельсины, морду совсем неповоротливую сделает), пожал мне руку:

— Говорил тебе: чистое сердце и спокойные руки... Ты меня жди, мы с тобой еще много чего сделаем. Минцове!

Он со мной раньше всегда на мандаринском наречии объяснялся. У них «до свиданья» — «цзай тьен» говорят. А у нас иначе. У нас говорят — «минцове» — «завтра увидимся». С того он, видно, на шанхайский и перешел, чтобы «завтра увидимся» получилось.

Я ему тоже руку пожал. Жалко стало дракона. И чего, думаю, ломаешься! Отдал бы им, что просят, и дело с концом.

⁵ Главный мост в Шанхае.

Деньги ведь есть. Ну, только они, фазаны, принципиальный народ. Его на силу не возьмешь. Если по-хорошему, то штаны с себя снимет и тебе отдаст, а попробуй — стукни его, он пятьдесят раз упадет и пятьдесят раз снова на тебя полезет.

Так и оказались мы в этой чайнушке. Чайнушка большая, столиков в ней за сто. Птиц видимо-невидимо. Все поют, верещат, каждая по-своему. Торгуют они тут птицами. Самый это китайский город — Нингпу, первое для них удовольствие — праздновать и торговать. И в то, и в другое всем сердцем уходят.

— Что же, — говорю рыжему, — делать теперь будем? За чай заплатили, так ведь одним чаем сыт не будешь. Да и ночевать где-то надо. В Шанхае к любому крыльцу приткнулся бы, а тут нельзя: белый.

А он всю рожу распустил в улыбке и сразу видно стало, какие у него зубы противные: лицо будто и ничего, только борода уж больно клочковатая, кусками какими-то, будто из куклы в разных местах нутро повыдирали, оно и торчит. А стоит ему рот открыть, таким на тебя пахнёт, что жизни не обрадуешься. Улыбнулся он и говорит:

— Если в Нингпу деньги заработать не сумеем, да еще в драконовской провинции прокормиться не сможем, две нам с тобой копейки цена в базарный день. А первое, чем мы займемся, это мы дом себе снимем.

— То есть как дом? Ты — говорю, — с ума сошел! Дай я у тебя лоб пощупаю. Нам бы комнатнушку какую ни на есть, а ты — дом!

— Вот, — ухмыляется, — и видно, что ты из своих «Дарданелл» в жизни ни ногой. Это у вас там мелочность такая распространяется. А в провинции большим стилем вещи делать надо. Чем крупнее, тем тебе доверия больше. Пошли, — говорит, — и будем себе дом подыскивать.

Подыскивали мы его быстро. На Лу Ян Лу. Площадь большая, двор, во дворе — два домика. Влезли во двор, навстречу старикашка ковыляет. Рыжий к нему.

— Твой дом?

— Ши, ши! — говорит.

— Снимаем.

Старикашку будто рублем одарили. А как сказал он: четыре пикуля в месяц, я чуть в обморок не повалился. Ою, конечно, четыре пикуля — штука нехитрая и деньги небольшие, да ведь у нас-то в кармане и на обед не наскребешь. Мигом мне камера представилась: со стен течет, по ночам глаза крысы мелькают... А рыжий только по плечу его похлопал: ладно, говорит, берем! Вещи завтра, с парохода привезут.

И стали мы в этом доме жить...

3

В Нингпу дом в четыре этажа — гигант. А у нас — три этажа. Внизу громадная печь, топить ее надо хворостом и дыму тогда не оберешься: всех крыс выживет. Если сумеешь подняться по гнилой лестнице и не обвалится она, на первом этаже что-то вроде гостиной. Табуретки китайские — красные, тяжелые, стол круглый, шкаф с зеркалом. Еще выше ползешь, там спальня. Кровать широкая, двухспальная, под грязным пологом, всё, как говорят в «Дарданеллах», «чин чинном».

Рыжий моментально распоряжаться начал. В гостиной-де обедать будем и гостей принимать, на кровати оба уместимся... Но тут я на дыбы встал.

— Врешь, — говорю. — Спать я тут буду, на полу. И вообще это моя комната. Зайдешь в нее без разрешения, — окошко видишь? Туда и лететь тебе.

У меня еще в жизни своей комнаты не было, такой ли случай упускать! Тут я сам себе хозяин: захочу, на голову встану, захочу петухом петь буду.

Рыжий поглядел: ладно, говорит, раз такая твоя ослиная натура, спорить бессмысленно.

Он в город ушел, а вскорости Мяо появилась: пол мыть. Хозяин ее послал, всё трясся: не пошутили ли мы. Кто ж такую развалину за четыре пикуля снимать станет!

Раскорячилась на полу, подтянула полотняный халат, подштанники наружу. Уж таковы все они, китайки. Сама, может,

красавица первый сорт, а штаны показать, это ей плёвое дело. Зато жены хорошие, верные. Коса у неё длинная, чёрная за плечи падает и, как села она, кончиком по полу ползёт — змея да и только.

— Ты, — спрашиваю, — кто?

— Меня Ван Фан купил.

— А кто этот самый Ван Фан?

— Старик, у которого вы дом сняли.

Вот, думаю, ловко, взял да и купил, милое дело!

Вымыла пол, пыль на подоконнике подтерла, уходить собралась.

— Ты, — спрашиваю, — куда?

— Мне работать дальше надо.

— Посиди, — прошу, — минутку тут.

Села покорно.

Я еще с женщиной, да с молодой к тому же, — с такой вот девушкой, — в жизни, кажется, одну комнату даже на пять минут не делил. На улице встречались, но тогда нос дерут: что им босяк и пьяница!

Села в углу осторожно, на самый краешек стула, торопится сидеть. Я к ней подошел, ладонями за виски взял, поднял голову и поцеловал в губы.

Вспыхнула, ахнула, как сиганет с лестницы, только и видел я ее. А потом я до вечера как смурной ходил. Правда поцеловал или приснилось только? Да нет, быть этого не может. Чтобы меня поцеловал кто-нибудь!.. Как-то это очень быстро в уме перевернулось и стало так, будто это она меня поцеловала, а не я ее.

Часам к пяти рыжий появился.

— Всё! — говорит. — Есть старушка, есть идея, ищем тихого злодея. Деньги чемоданами выносить будем.

— Объяснил бы хоть в чем дело. Чего мурлычешь без надобы?

— Такое, — говорит — дело. Будешь для начала лекции читать. Бороду тебе наклеить придется, а так ничего, сойдешь. Скажу, профессор из Англии.

— Обалдел? Я сам чуть читать-писать насобачился, где мне других учить.

— Ничего, — говорит, — о дружбе что-нибудь такое прочтешь. Дескать, все народы дружить должны и вообще благорастворение воздухов. Скажешь, что уравниют-де скоро всех: китайцы и белые-де никакой разницы не будет. Ну, в общем, посопливее что-нибудь.

Долго мы с ним ругались. Наконец, уговорил: жрать-то надо. А тем более, что у меня в голове мысли разные завелись, и о чем ни думаю, на что ни смотрю, всё Мяо вспоминаю, и поцелуй этот свой — первый и единственный в жизни.

— Когда же читать-то? — спрашиваю.

— А сегодня вечером и начнем. Бороду только сорганизовать надо. Ну, это дело не трудное.

И убежал за бородой. А я прислонился к окну — по стеклу капли ползут: медленно, небрежно, лениво. Внизу лужи, мостовой никакой — как двор земляной, так и улица, ничем не крыты. По улице, как по двору, гуси бегают, утки, утята желтые. Полощутся, клювы вверх задирают. А вот поросенок выскочил... и уж тут возни! Гуси врасылную, поросенок визжит, старикашка Ван Фан во двор на одной ноге проскакал, палкой крутит. А тут вдруг — просто в глазах потемнело — Мяо несется: полы халата опять к поясу подтянула, ноги голые, руки вытянула, хочет поросенка за куций хвост изловить...

4

Рыжий мне сказал: ты меня около нового моста подожди. Только в чайнушку не лезь, а то еще чорт знает чего натворишь. Бред сивой кобылы!

Я сначала у старика Фына сидел. У него кресло такое — полугамак — замечательное. Откинешься назад и чёрт тебе не родственник. А еще лучше у него вино — «хуан тю» — желтое вино. Такого я в мире (то есть в «Дарданеллах», потому что для меня «Дарданеллы» и есть мир) никогда не пил,

кроме как в Нингпу, да и в Нингпу только у старика Фына. А вино я абрикосами закусывал. Вся улица оплошь — или ханушки, или фруктами торгуют.

Над стариком Фыном я подсмеивался: ты это ветер такой натворил? «Фын» по-китайски ведь и значит — «ветер».

Как стемнело совсем, я поднялся и вышел к новому мосту. Стал у бетонной балки, задумался. И радостно мне и грустно. Радостно, потому что Мяо вспоминаю, а грустно — думаю, какая ерунда нынешним вечером будет. В таких мыслях я даже на воду заглядываться стал, как это она волну через волну перекачивает. А сверху дождик ее мелко посыпает, будто солью. Вдруг рядом со мной китаёза: в ватных штанах, в ватной куртке, морда голодная, глядит на меня восторженно.

— Капитана луска чилаек?

— Русский? — говорю.

— Луска чилаек — халоса чилаек. Моя луска чилаек халоса снай.

— Откуда ж ты, — спрашиваю, — русских знаешь?

— Моя ботинка починяй. Санхай ботинка починяй, Халбин ботинка починяй. Луска чилаек — халоса чилаек.

— Чего ж, — говорю, — ты здесь-то делаешь? Кому ты тут ботинки починяешь? Небось, свои манзы не очень раскошеляются. Манза, он и сам себе ботинки починит, коли нужно будет, а не то и в драных прощеголяет. Для него это дело плевое.

— Китайска чилаек ни халоса чилаек.

И начал что-то на полицию жаловаться. Дескать, приехал наследство получать — дядька умер, — а полиция всё ободрала. Ну, ясно — манзовская полиция этими своими способностями на весь свет знаменита.

Тут мне в голову мысль впала.

— Ты, — говорю, — друг мой, приходи...

И адрес ему на бумажке написал.

— Приходи этак... ну, скажем, завтра поутру.

Он от радости даже затоптался на месте, будто загра-

ницей другого дракона увидел или будто его на богатые похороны пригласили.

— Только, — говорю, — вот что, друг любезный, — в чайную ты сейчас ни ногой — понял? Не хочу я на твою морду смотреть, когда из себя там клоуна строить буду. А вообще, приходи, дельце у меня до тебя одно есть.

Только он за углом скрылся, рыжий тут как тут. Поглядел на мою бороду, пальцами пощупал, а борода — ничего не скажешь, — роскошная. Пушистая, длинная, чуть не до брюха. Пальцами проведешь — шелковая, просто приятно.

— Ну, — говорит, — милая душа, тяпнуть тебе для храбрости, или так пойдешь?

— Да, — говорю, — уже постарался.

— Ладно, пошагали!

Вошли в чайную и разом на нас две сотни глаз уставились. Как увидел я все эти глаза, так спотыкаться начал и икать. А рыжий ничего, — шагает прямо к трибуне, влез на нее и речь держать начинает.

Тут объяснить надо, что китайская чайнушка это всё — и гостиная, и клуб, тут тебе и друзей принимают, родственников, свадьбу празднуют, помрет кто-нибудь — тоже сюда поминать придут; тут и речи политические, и птицами торгуют, тут и героин, и опиум из-под полы продают, словом, самое главное, что в китайской жизни случается, всё в чайнушку принесут.

Отошел я в сторону, слушаю, а рыжий соловьем разливается: профессор-де, знаменитый, для вас-де специально приехал, потому как жалеет, потому как вы отсталые, провинциалы, и он, значит, тысячи ли отмахал, чтобы, это самое, вас просветить и свет вам истинный показать.

Потом рукой махнул и мне место уступает. А я стою и ноги с места сдвинуть не в силах. Ну, то есть никаким каком от полу их не оторвешь. Рыжий не растерялся. У профессора, говорит, вроде паралич ног и двигаться ему трудно; так что ему помочь надо. И тем более ценить должны, что такой вот больной, почти, можно сказать, умирающий, и то к вам притащился.

Ну, взял он меня под руку, на трибуну втащил, а сам на ногу наступает. Пришлось распространяться.

— Сеншины,⁶ — говорю, — сисаны!⁷ — И попер, да сразу на нескольких диалектах: тут и мандаринский-литературный, как меня Хан учил, тут и шанхайский, и кантонского десяток слов, всё, что на язык подвернется.

Сисаны, говорю. Раньше так было, что у одного кожа желтая, у другого белая, а третий и вообще черный — сапожной ваксе в пору.

Тут они вежливо посмеялись. С белой кожей бегать, и то достаточно противно должно быть, а то еще какие-то черные выискались. Но я внимания не обращаю, на своем стою.

А теперь, говорю, ни белых, ни черных не будет, а, наоборот, все братья будут. И всем будет хорошо и у каждого каждый день курица к обеду будет. — Так говорю, самая последняя наука открыла и для этого, говорю, я сюда приехал, чтобы вам доложить и чтобы вы больше духом не падали и, так сказать, панику не разводили. Тем более, что, говорю, войну вместе выиграли и Японию ликвидировали. Жи-бень,⁸ говорю, туянин,⁹ называли они себя. Корень солнца!¹⁰ А теперь, можно сказать, и корня не осталось, то есть вполне с корнем выдернули. Ну и, как это у нас по-русски в «Дарданеллах» говорится... то есть... ну да, я так и хотел сказать... в Дарданельском университете: господа Хаяси убрались во-свояси! Хотите, говорю, верьте, хотите — нет, но даже, говорю, скоро всех так перекрасят, что, можно сказать, между китайцем, или там англичанином, или, наоборот, французом никакой вполне разницы не будет.

Я только потом догадался, что им это и невдомек, потому как для них и теперь, что англичанин, что француз, что русский — всё едино. Белые и ладно, а в детали вдаваться

⁶ Господа (литерат. наречие).

⁷ Господа (шанх. наречие).

⁸ Япония (лит.).

⁹ Япония (шанх.).

¹⁰ Жи-бэнь — корень солнца (кит. лит.).

— какой смысл! И даже если манзе такому вот скажи, что русский-де француза по языку не понимает, он только посмеется вежливо.

Короче, запинался, заикался я, икал порядочно, но, в общем, ничего получилось, бойко. Манзы послушали, в ладоши похлопали, рыжий с шапкой пошел. Понабросали ему кое-чего, некоторые так даже сотенные кидали: уж больно, видно, понравилось.

Обработали мы эту чайнушку, в другую отправились. И так, значит, из одной в другую, из одной в другую, штук шестнадцать за вечер обошли. К вечеру охрип я совсем и уже не говорил, а вроде как бы похныкивал. Но ничего, драконы больше на бороду мою косятся. Правда, подозрение, вижу, в глазах у них появилось: что, мол, борода-то борода, да уж рожа больно молодая. Не уважают манзы молодых, им стариков подавай согбенных. Они так думают: какая б ты балда ни был, хушь у тебя в башке ровным счетом ничего, кроме опилок, а всё равно, раз семь десятков отмахал по жизни, значит наверно чего-нибудь такого нажил.

Рыжий и тут выкрутился. Вы, говорит, не обращайтесь внимания, что у него вид такой молодой. Ему на самом деле восемьдесят шесть. Это он вундеркинд просто. Ну и ничего: в шапку бросали, а это ведь главное.

Кончили торговать, зашли к Фыну, он нам два медных кувшина «хуан тю» налил, мы их домой захватили. А потом до утра разговаривали. Рыжий и говорит: теперь с лекциями довольно, покончено, больше слушать не будут, торговать надо.

— Ты, — говорю, — наверно, всё-таки больной. Чем мы с тобой торговать будем, когда у обоих даже запасной пары подштанников не найдется.

— Ничего, — отвечает. — Была б смекалка, а товар найдется.

Представьте себе, действительно нашелся. К обеду смотался куда-то, вернулся: есть, говорит, такое дело! Медицинской торговать будем. И показывает корзинку, а в корзинке бутылочки маленькие.

— Это, — спрашиваю, — на какой предмет?

— Не твое, — огрызается, — собачье... Ты помогать лучше садись.

Стали мы в бутылочки воду наливать, — самую обыкновенную воду, какая из крана льется, — а сверху чуть-чуть дрянным китайским одеколоном прыскали, чтобы запах медицинский получился.

— Вот, — говорит рыжий, — и товар наш. Уж теперь-то мы с голоду не помрем.

И повадились мы с ним на базар ходить, лекарство от всех болезней продавали. Покупатели в голос поют: помогает! А что ж, может и вправду помогает. Чем наше жульничество хуже всякого другого!

5

Я и сам знаю, языками меня как бритвами острыми изрежут. Связался, скажут, с фазанкой и Бог весть какую трагедию разводит. Будто она действительно человек и женщина, и в нее действительно влюбиться можно. И будто вся эта чепуха внимания заслуживает, так что люди ее читать должны и над ней задумываться. А я вам вот что скажу: каждому человеку женщина нужна, а какая же русская в Шанхае со мной связываться станет! Ей ведь — русской — что нужно? — чтобы галстук был с горошком, пробор на голове ровный, чтобы волосы одеколоном или, скажем, брильянтином смазаны были. И хочет она, чтобы обедал ты, скажем, обязательно в два, чтобы сам на себя смирную рубашку надел и чтобы спал непременно на чистых простынях.

А я вам вот еще что скажу: я на чистых простынях спать не буду. Чистые простыни это, по-моему, одно сплошное свинство и ничего больше. А я к свинству не причастен и участвовать в нем никак не хочу. И никто меня заставить не может. И если мне хочется в луже, а не в ванной, купаться, так я и буду в луже купаться, — хоть бы и вместе с поросенком. Кому до этого какое дело, если сам поросенок не обижается!

И вот я ночью, часа этак в два, встал, спустился по лестнице и, крадучись, остороженько, вдоль стенок, к соседнему дому через двор прокрался. По пути на звезды загляделся. Господи, думаю, неужто они всегда такие были, а я и не замечал! И неужто, думаю, небо тоже всегда такое было — чистое, умытое! И ночь, думаю, неужто всегда такая тихая была!

А как добрался до крыльца, тут уж совсем иные мысли пошли. Враз нужно угадать, однажды ошибешься, не в ту комнату влезешь, в другой раз попробовать не дадут. Такой вой поднимется, как только манзы умеют учинить.

Разыскивать особенно не пришлось, и гадать тоже необходимости не стало. Рядом с печкой навалили соломы, коврик какой-то дрянненький на нее бросили, а на коврике она спит — курткой ватной своей прикрывлась.

Я ее за плечо рукой тронул. Тихо, говорю, молчи! А она смотрит и ужасается. И сказать ничего не может — язык у нее отнялся. Вот я и попробовал, — как, думаю, у меня слова эти прозвучат. Во ай ни!

Ни на одном языке этого так не скажешь, как на китайском. Ну что такое — «я тебя люблю», «I love you» или «Ich liebe Dich»? Всё будто жернова ворочаются, — скрежет зубовный, а не в любви признание.

А тут музыка, стон: «во ай ни», потому-что «во» совсем мягко произносится, ближе к «у», чем к «в». Сразу ясно: не могу без тебя, ты для меня песня, ты для меня сказка... Соловей не нужен при таком вздохе любовном, никакая декорация не нужна, в самом грязном, в самом ласкудном закутке музыкой прозвучит.

Смотрю, а она щекой к руке моей прислонилась и плачет.

— Что ж ты плачешь, — говорю, — глупая. Радоваться надо, счастье ведь это.

И не могу ее никак успокоить. Не то так оно и бывает, когда до любви дело дойдет, не то чувствует она, что добром тут никак не кончится, или не верит она, что и к ней с лаской подойти можно (купленная ведь!). А слезы у нее горькие,

хоть и тихие (даром что китайка!) и всхлипывает по-детски, жалобно. Полночи мы с ней на коврике просидели, в темноте. Я ее по голове гладил, а она мне руку целовала. Больше ничего и не было.

Часам к четырем я снова, крадучись, через двор, опять на лестницу и в комнату свою пробрался. Потом, правда, с полчаса еще на окошке сидел, на подоконнике, опять на небо заглядывался. А там большая перемена декораций произошла. Звезды сняли, луну упрятали, на их место облаков подпустили. И бегут они, торопятся, шибко бегут, словно на свадьбу или на похороны поспеть надо: одно слово, китайские облака.

Улегся я, наконец, задремал слегка, а тут стук в дверь.

— Какого, — кричу спросонок, — дьявола притащило?

И из-за двери тоненьким, комариным голоском:

— Ботинка починяй!

— Какие, — говорю, — тебя дьяволы ни свет ни заря по улицам носят! Ну, влезай, чего там топчешься!

Он дверь приоткрыл, одну ногу через порог перекинул, другая в коридоре задержалась. Забыл, кажется, как к русским в двери входят, не уверен. Прикрикнул я на него.

— Влезай, — говорю, — в комнату и двери захлопывай! Видишь сквозняк.

Пулей в комнату влетел, к стенке прижался, стоит — еле дышит.

— Вот какое у меня до тебя дельце есть...

Выложил всё и долго мы с ним планы строили, пока на самый простой не наткнулись. Самое простое — оно всегда самое мудрое. И самое практичное.

Спровадил я его затем. Никак меня не устраивало, чтобы рыжий на него напоролся. В том-то вся и загвоздка, что рыжему об этом ничего знать нельзя. Он и есть самый опасный. Ван Фана вокруг пальца обвести — дело плёвое, а рыжий, коль узнает, из принципа пакость сочинит, — уж такая натура неугомонная.

6.

Такие вот одинокие стариканы, вроде Ван Фана, пуще всего деньгу любят. И пользы им от монеты никакой — уже и брюхо высохло, корма не принимает, и выпить ему не интересно, и насчёт женского пола он бессилен, а увидит медную копейку и руки, как у старого пьяницы, трясутся. Я на это и бил. Подослал к нему «ботинка починяй». Мол, «ботинка починяй» фанзу себе снял и её прибрать нужно, порядок навести. Пришлось, конечно, раскошелиться, но зато старик, как три сотенных увидел, так Мяо не то что на два часа, на всю ночь отпустить готов.

Сам я тем временем джонку нанял — единственное, что безопасно. В городе все друг друга знают, не приведи Бог старику донесут, а то — ещё пуще — до рыжего дойдёт.

А с рыжим у нас накануне схватка была. С утра дождило, торговалось скверно. Он, как обычно, речь держал, я бородой своей внимание завоёвывал. Сработанность у нас не плохо получалась. Это рыжему отдать нужно: парень противный, но деньги с ним колотить можно.

Разложим товар на лотке, я рожу серьёзную сострою, рыжий кричит:

— Сисаны! Лучший доктор английский, все университеты кончил, всю Англию вылечил, теперь до вас добрался. Подходи, кто болен!

Ещё тем хвастался, что жена у него-де китаянка и что он потому-де с этим вот доктором бородатым по всему Китаю болтается: земляки вроде, помогать нужно. Часто он и речь свою не с «сисанов» начинал, а наоборот: «тунсянин» — говорит, «земляки». Фазаны на такие вещи падки, на родственные чувства легче всего попадают.

Обычно мы представлением этим тысячную толпу собирали. Полиция и та посты бросает, в толпу лезет — нас послушать. В провинции такой глухой иностранец раз в год появляется, а таких, чтобы на улице спектакль бесплатный устраивали, и вообще в памяти ни у кого нет. Мясники мясо забывают, проститутки перестают прохожих за рукава дёргать, воры и те

отпуск берут, — на нас поглазеть. Случая ещё не было, чтобы рыжий речь махал, а в это время в толпе у кого-нибудь бумажник подтырили.

А нам лафа! В торговле первое дело — внимание привлечь, толпу собрать и чтобы слушали тебя.

Обступят, рты поразевают, друг друга подталкивают, айвкают (айва-айва!). Стоять так часами могут, а мы — кривляйся.

Главное, первого уговорить, чтобы раскошелился, остальные баранами попрут, только монету считать успевай.

А рыжий их ещё раззадоривает, лбы им шашкой ментоловой мажет. Проведёт по лбу, дракон холодок почувет, ему кажется: чудо! А мы ему — раз, и бутылочку в зубы: лечись!

Не жизнь была, сплошь Пасха. Но и тут, как счастье подойдёт, день на день не приходится. А теперь вот дождь. Поди-ка, попробуй манзу в дождь из дому выманить. Да у них армия, и та с зонтиками марширует. На правом плече у него винтовка болтается, на левом — зонтик. Когда они тут драку между собой учинили было, так у Чан Цзо-лина своя армия была — русская. Драконы обижались: говорят, нечестно — в дождь воюют, в обед воюют, в воскресенье воюют, ни тебе отдыха, ни передышки.

Ясное дело, базар пустой, кошки драконовские и те под лотки попрятались, собаки в чужие дома с визгом рвутся: не выдерживает собака фазанская воды.

Кричали мы, кричали, да чего тут кричать, если пусто! Часам к одиннадцати сложили своё барахло, бутылку винца прихватили и по домам. Я у себя на постели валялся — скучно было, тоскливо. И невольно мне в такие часы Шанхай припоминается. Когда в Шанхае, думать даже о городе противно. Растянулся, как блин во все стороны, конца краю не разыщешь — чего ж хорошего! Дома серые, дождей сколько угодно. А отсюда таким милым он показался... Как ни говори, пусть самый дрянной, самый скверный, а всё же свой, а всё же дом. Нет у нас другого дома, не видели и не знаем. Разве что в песне вспомнится: «Мы не видели России, мы в чужбине родились!» Плачь, а на жизнь тут устраивайся.

Дождь противно по стеклу барабанит, мухи с голоду жужжат — последние дни им приходят, чувствуют они это. Выпьешь из чашки, зажмуришь глаза — приятное бы что-нибудь разглядеть, а оно всё не то, всё не то, всё что-то совсем, совсем другое...

И вдруг слышу шум наверху. Крик придушенный, упало будто что-то... Кинулся по лестнице к рыжему в комнату, дверь настежь, а там рыжий Мяо обхватил, левой рукой к себе жмёт, правой её руки отнимает, губами ко рту тянется. Ударилась мне кровь в голову, сердце в барабан ударило, перед глазами темно стало, будто чёрный занавес протянули — из серого дня прямо в глухую полночь. Ах ты, сучий сын, думаю! Мало ты тут с проститутками хвост задрал бегал, тебе ещё и этой, чистенькой, попробовать хочется. Рванул из кармана нож — очень у меня хороший нож есть, лезвие широкое, раскрывается автоматически, нажмёшь на кнопку — лезвие прыг из гнезда.

Зажал нож в руку и на него иду — да не так иду, как в голливудских фильмах полагается, чтобы нож над плечём занесен был. Пустяки это. Если так растопыришься, ничего ему не стоит за руку тебя поймать. Нет, я так иду, как в «Дарданеллах» научился. Рука внизу, лезвие вдоль бедра. Старый меня босяк, Громада, этому научил. Увидишь, говорит, кто на тебя таким манером с ножом прёт, всё бросай и беги. Никакими силами не остановишь.

Вот и рыжий, видно, почувствовал. Прижался к окну, дрожит, руками подоконник скребёт. И Мяо, конечно, выпустил.

Подожел я к нему поближе, цежу сквозь зубы: если ты, гад, ещё раз.. Если ты руками — лапами своими грязными... если коснешься...

Он зубами лузгает: я что-же... я ж ничего... да откуда ж я знать должен...

Теперь он знает и я знаю: не на жизнь, а на смерть... Ему или мне, а уж обоим нам весело не жить.

Вот и прихватил я её на лодку. Публика джоночная городом не интересуется, одно слово — речной народ. На джон-

ках рождаются, тут же женятся, ребятишки у них тут ползают, пищу они себе на хибачах прямо над водой варят...

Сейчас вот юлит он веслом и глаз в нашу сторону не повернёт. И не люди мы для него вовсе. Что это за люди такие, если от земли ни на шаг! Нет, ты вроде меня на волнах покачайся, попривыкни, а ещё лучше, в тайфун попробуй на реку уйти...

Бог с ним, не до него мне! Сижу рядом, за руку её беру. Не отрывает она руки, а глаза круглые стали, как сова смотрит — коленками живот закрыла, руки сложенные вдоль носа протянула: от кого ж закрываться-то? Я спрашиваю: ай-во? Молчит и всё лицо скрывает. Стал и её имени своему обучать. Алексей, говорю. Она пробует, а получается вздор какой-то. Лы-ка-сы. Осерчал я: какой я тебе Лы-ка-сы, если меня поп в храме Божиим Алексеем крестил! Вскоре мы и до её имени добрались. Несуразное имя. Не кошка ж, говорю, чего же Мяо? А ей и это невдомёк. Впрочем, развеселилась она, пальцы в воду суёт и уже, гляжу, сама начинает меня за руку брать. Тут что-то случилось со мной. Нагнулся и руку ей поцеловал. Вот бы меня из шанхайцев кто увидел.

Редкие это были два часа, такие редкие, каких во всей жизни не было, и никогда, никогда не будет, верно, больше. Любил я её тогда, очень сильно любил. Иначе и сказать не сумею. За то любил, что руки не отняла, за то, что маленькая, миниатюрная, из слоновой кости выточенная. Таких над каминном, на полку ставят, а она — живая. За то любил её, что всего боится и, пуще всего, за то, что защитить её смог. То сам всегда в помощи нуждался, а то вдруг нужен кому-то.

К берегу поплыли. Вода у бортов шепелявит, я и сам руку в неё опустил. Бежит рука, акульим плавником волну режет. Впереди город. Не возвращаться бы туда, завести себе джонку и так до конца дней по водам скитаться. И знаю, что всё это бред и мираж, и знаю тоже, что бред и мираж иногда всякой реальности дороже.

На берегу в разные стороны разошлись. Она к старику побежала, я к Фыну пошел. Лёг в гамак, вина заказал, кувшин медный под руку поставил, а пить не могу. Захлестнуло горло,

слёзы на глаза наворачиваются: вот оно каково счастье-то оказывается! Без боли значит и тут нельзя. Что с того, что не хочется без этой боли жить — всё равно больно.

7

А уж если встанет судьба на чью сторону, то он хоть пять лет в драконовской тюрьме на рисе красном просиди, всё равно живым выйдет. И через два дня вдруг записка от Хана. Скоро, пишет, увидимся и дела большие делать начнём. А сначала придётся в Шанхай съездить, потому что товару нет и торговать пока что нечем.

В понедельник я записку получил, а во вторник Суй постучался. У отца его лавка квартала за полтора от нас, в лавке телефон — кажется, на весь город единственный. Прибежал, запыхался, дыхание глотает. От волнения щёки ходуном ходят — белому человеку не каждый день услужить приходится.

Звонят, говорит, тебе. И до того фамилию мою переврал, что ни отцу ни матери невдомёк было бы, что до меня это. На рыжего же и того пуще не похоже. Кстати его и дома не было, к Ли пошел. Ли публичный дом у старого моста держал, так рыжий к нему наведываться повадился: нет ли из деревни чего нового. Я, говорит, только свежих уважаю.

Кинулись мы к телефону, а там шипит, булькает будто на той стороне линии к самой трубке самовар подставили. Кое-как разобрал я — Хан звонит. Завтра говорит, к пяти на пристани, и чтобы я, значит, всё своё барахло приволок: в Шанхай поедem.

Откупился думаю, сукин сын, стоило комедию разводить! Но обижаюсь не особенно. Без задержки и с Мяо не привелось бы встретиться.

Два часа я потом по всему городу бегал, «ботинка починый» разыскивал. Нашел в чайной. Сидит смурной, в угол забился, морда совсем тоскливая, хуже чем тогда, как в первый раз на мосту встретились.

— Ты — спрашиваю, — чего скучаешь?

— Катаaska чилаек, — плачется, — ни халоса чилаек.

Расспросил как следует, всё понятно стало: полиция его из Нингпу гонит. Денег у него нет, а без монеты какой фазанский город чужака потерпит, тем более своего — манзу!

— Ладно, — говорю, — не рассусоливай. Всё как надо складывается. Пакуйся и Мяо прихватывай. Да ты только с ней сговоришься сначала. А как к пяти подойдёт, хватай на рикшу и кати к пристани, времени не теряй. Скажем, чтобы в четыре три четверти там быть. Суну вас в трюм, сам на палубе стоять буду. Никто до вас не доберётся.

Расплылся весь, руку мне целовать лезет.

— Ну, ну, — прикрикнул я на него, — не девка я тебе, нечего слюни распускать!

А он весь стоном исходит: ботинки, говорит, в Шанхае до самой смерти даром починять буду.

— Починяй, — успокаиваю его, — починяй!

А сам подумал: если будут у меня ботинки. Большая это редкость: ботинки в «Дарданеллах».

Разошлись мы с ним, а впереди ночь бессонная. Решительный бой предстоит: тут, как говорится, баш на баш, либо моя взяла, либо рыбок кормить буду.

Едва перед рассветом глаза сомкнул как они сами открылись. Гляжу: всплывает в комнату широкий, блестящий круг — солнце. Вымыл морду в тазу, причесался. Долго себя в зеркало оглядывал. Нехорошо! Рожа мятая, под глазами круги синие, глаза красные. А надо бы чтобы ничего особенного, как обыкновенный, всякий прочий день. Ну, да что поделаешь пошел как есть.

Поели лепешек жареных, молока бобового выпили, лоток на спину — двинулись на базар. И всё как быть должно. Толпа вокруг, рыжий горланит, я за бородой прячусь. А в голове мысль, как белка в колесе: получится — не получится? выйдет — не выйдет? «Ботинка починяй» — парень толковый как будто, к тому же из Шанхая, там они все учёные, а только всё равно манза. Проворливости у них мало, смекалки — не наш брат.

А время тянется будто китайский разговор. У них ведь тоже так: начнут с одного, на другое перекинутся — нето-

ропливо, медленно языками шлёпают. С политики начнут, на цены перепрыгнут, о бабах поговорят, и пока до главного дела дойдёт, ты три сна проглядеть успеешь.

Обедали мы с рыжим, словом не перебросились. Так у нас с самого того дня, как я на него с ножом кинулся, повелось. «Вандын»¹¹ ели, потом что-то вроде пельменей — и не помню теперь, что именно. Жрать не хочется, а надо. Давишься, палочками в горло себе куски теста с мясом пихаешь. Нервы, как пружины на балалайке, а в дверях толпа — фазаны друг на друга лезут, любопытно им.

Но и обед кончился. К трём подкатывает, к четырём... Ещё немного, ещё... И уже не поторапливаю я время, наоборот: последние минуты подходят, а я их затянуть хочу.

В последний раз за угол глянул, там часы над лавкой — широкие, цифры в кулак человеческий. Двадцать минут пятого... Подошел к рыжему, безразличие в походке изобразить стараюсь.

— Сейчас, — говорю, — выйду я...

Ерзул по мне глазами. Думаю, догадаешься, тут же на месте нож тебе в брюхо. Но ничего, отвёл он глаза.

— Валяй, — говорит, — не задерживайся только. Видишь, народ прёт, богатеющий улов будет.

До угла я в развалку шел. Смысла особенного в этом не было, потому что где же ему за мной наблюсти, если вокруг толпа человек в триста! Но рассудку со страхом не бороться — непременно страх его на лопатки разложит.

А как завернул я за угол, со всех ног кинулся — только искры забрызгали по мостовой, как железными наשלёпками на ботинках по камню бить начал.

Беда в том, что белому человеку по провинциальной китайской улице и пробежать свободно не дадут. Я впереди, а за мной народ. Рикши десятками гонятся, ребятишки несутся, орут все; галдят. Можно бы, конечно, в коляску взгромоздиться но где же я в рикше усiju! Тут ногам работу дать надо, чтобы голове легче было.

¹¹ Суп со своеобразными китайскими клецками.

А дальше сошлось как в скверном фильме, когда режиссёру хочется показать, что дело к концу и пора развязку очертить. Я к пристани, навстречу мне «ботинка починай» с Мяо на двух рикшах, за ними, на трёх рикшах полицейские, за полицейскими на одной рикше — рыжий. Я к Мяо, полицейские с рыжим ко мне. Рядом пароход пар разводит: всё так близко, так возможно... Бороться, сопротивляться? Какие на победу шансы?

Схватил за руку Мяо, полицейские меня за обе руки схватили — тащут. Рыжий перед лицом кулаками сучит.

— Сволочь, паразит, вор! Чужую собственность крадёшь.

Кинулся на него, полицейские назад тянут.

— Какую собственность? У-у, гад!

— Я Мяо у старика купил. Купил — тебе говорю, слышишь!

— Уйди, убью!

И света Божьего я не взвидел. Не будь тут полицейских, пришлось бы рыжему с ножом моим познакомиться.

Дальше я уже ничего не видел. Губы тряслись, кровь в голове волнами ходила. Глаза раскрыл — широко, ещё шире — реку разглядел. Сначала, как мутное, длинное полотно, потом яснее. По воде лапоть плывёт, за лаптем — собака дохлая. Кинулся было к реке, полицейские оттащили. Я о них и забыл, а они всё за руки цепляются.

— Ладно, — говорю, — отпустите, не убегу никуда!

События разворачивались. Рядом со мной, откуда ни возьмись, «ботинка починай».

— Погоди, и с тобой ещё расправлюсь.

У него слёзы по сухим щекам канавы роют.

— Капитана халоса чилаек. Моя капитана нисыво ни делай. Моя нисыво ни снай.

И заключительная сцена. Из-за угла чёрной черепахой выползает автомобиль. Из автомобиля выходит Хан. Хан к полицейским, полицейские к Хану: чуют, где пожить можно.

Долго они языками барабанили. Я не видел, не слышал, не понимал ничего. Я всё думал: по этой реке мы с ней катались и две ладони, ребром на воду поставленные, казались рассекающими воду акульными плавниками. Тут, над волнами, в которых, как в женских волосах, путался ветер, поцеловал её руку. И больше никогда, никогда её не увижу, и рыжий волосатыми руками будет жать её к обезьяньей груди. Зачем жить?

Хан дело уладил, провели меня полицейские по трапу, у борта поставили. Хан рядом встал, руку мне на плечо положил, легче как будто сделалось. Тихим голосом, спокойно и не уговаривая, а так только, комментируя, говорил Хан:

— Ты теперь себе как очки новые купил, цветные очки. Радоваться должен. Теперь тебе весь мир по-иному покажется, всё другим станет, новую жизнь начнёшь. Ты теперь будто во второй раз родился. Сколько на свете людей есть, которым одной жизни мало, которые просят вторую и третью получить, а тебе подарили — чего ж жалуешься! Радоваться надо.

Запенилась вода у берегов, цепи заскрежетали, матросы толкаться начали. Поплыл берег, всё дальше, дальше дома. Реклама «кока-кола», китайская красавица в купальном костюме. Пагоды вдали, храмы, голые ребятишки, разбежавшись по берегу, в воду кидаются...

Хан меня с одной стороны под руку взял, «ботинка починый» с другой, в каюту повели. Я шел и всё об одном думал: непременно теперь в моей жизни радикальная перемена произойти должна...

А. Кашин

Я УЕДУ В ЮКАТАН

I

Всё с самого начала было другое, не похожее на то, что он видел в Америке. Улыбающаяся, даже смеющаяся, но и очень почтительная негритянка: начищенное до лоску шевровое лицо, зубы царского сахару, только что отколотые от сахарной головы. Туго накрахмаленный передник: если его поставить, он будет стоять. Раскрашенная средневековая статуя Христа в передней, в углу. Почему именно она здесь? Можно по рассеянности надеть шляпу на голову статуи. Маленькая столовая, вероятно вывезенная из Швейцарии или из южной Германии. Розовые цветы на черной панели. Оловянные тарелки на столе. Наконец, гостиная — музейная и, вместе с тем, очень обжитая комната. Блаженно ослабившиеся китайские болванчики. Портрет испанской герцогини: узорчатое платье куда живописнее ее блеклого лица. Удобнейший низкий диванчик безо всякого стиля, с выцветшими подушками, и около него столик, полка, тоже случайные вещи, но они так расставлены, что до всякого предмета на них (книги, газеты, лупы) — рукой подать. На диване бледная дама в темном берете и шубке, хотя в комнате было жарко и топился камин под портретом испанской герцогини. Вошла другая дама, тоже в берете, но без шубы, и предложила сесть. Он представился и сказал, что приехал по ее вызову: да, он может давать уроки русского языка. Дама взглянула на него, отвернулась и ничего не ответила. Чтобы заполнить пустоту молчания, типины, он кое-что о себе рассказал: я оттуда-то, делаю то-то. Дама молчала, поглаживая маленькую серенькую кошку. Почему она не отвечает? Но неловкости не было. И он замолчал: завораживал этот комнатный мир, мир в обоих значениях этого слова, мир замкнутый, чуж-

дый всему тому, что за его пределами, и такой мирный, тихий. Дама молчала «упорно», но и как-то естественно, убедительно молчала. Он принялся рассматривать тщательно выписанные разводы на платье герцогини. Это еще техника пятнадцатого века — *линейное письмо* по Вельфлину. Ювелирная живопись. Сказать что-нибудь или не говорить? Он незаметно для самого себя оступился во времени. Сорок лет тому назад: он сидит в гостиной на маленькой круглой скамеечке и рассматривает зеленый кринолин на портрете. Хорошо было бы под него подлезть! Это прабабка. Помнится, портрет был неважный, очень уж «академический», эпохи Брюллова. Но во время оно прабабка в кринолине-колоколе очень его забавляла. А на диване бабка... Но вдруг он заговорил по инерции «цивилизованного человека», который обязан в данном случае прервать молчание, якобы *неловкое*, хотя молчание было поистине *золотым*: райское молчание.

— Если вы пожелаете, мы начнем уроки в один из ближайших дней, скажем в среду, в четверг? Ему показалось, что дама утвердительно кивнула головой. — Я принесу книги, грамматику... Разрешите пожелать вам всего самого лучшего.

II

Он начал давать уроки русского языка госпоже Джон Х. Сколько лет он давал эти уроки? Годы? — Годы другого времени, которое сливалось с его московским детством, с эпохой прислуг и безделья, досугов, медленных бесед, в которых он не принимал участия, но был уверен, что «когда вырастет», то будет жить так же как взрослые, ездить за границу.

Госпожа Х. заговорила. Процесс речи явно утомлял ее. Всё же, по ее рассказам можно было бы без труда написать ее биографию.

Еще в первый свой визит он заметил, что на столике, на диване лежали советские газеты, *Правда*, *Известия*, валялся и *Крокодил*.

— Для чего вы это читаете? Скучно читать советскую прессу.

— Это меня забавляет!

Но она этим чтением не забавлялась, а возмущалась, ожесточенно возмущалась. Вот опять в *Правде* упоминается имя того бостонского профессора, которого нет в нашей телефонной книге, он не существует... Как можно так лгать? И Робсон (певец негр) опять рассказывает в Москве сказки о Америке...

— А я вот советских газет никогда не читаю. Это вредно для здоровья... Я и так знаю, что там пишут.

Но госпожа Х., продолжая читать *Правду*, *Известия* и *Крокодил*, не уставала ими возмущаться, хотя явно покой предпочитала бурям.

Полчаса посвящались чтению, но не советских газет, которые госпожа Х. прекрасно понимала. Читались преимущественно русские драмы, сперва чеховские, ею очень ценимые.

— Был Шекспир, а потом ничего не было... триста лет... и вот появился Чехов!

Учитель прочитывал фразу, затем госпожа Х. тихо, робко повторяла. Особое пристрастие она питала к *Вишневому саду*. Выяснилось, что и у нее есть *эквивалент* вишневого сада: несколько сот акров около ее дома в этом городке, который именовался *спальней* Бостона. Дельцы всё утро проводили в своих бостонских конторах, а к вечеру возвращались в свои виллы, в этот самый городок. Предки госпожи Х. выстроили два дома в лесу, который до сих пор сохранялся и превратился в своего рода достопримечательность. Но госпожа Х. наследием этим не гордилась.

— Я ненавижу мой лес! Я ненавижу все вообще деревья! Полдюжины харвардских студентов очищали этот лес осенью, жгли сухие листья. Хворост вывозили полицейские, что нашего учителя удивляло. Об отхожих промыслах американских студентов он давно знал из мемуаров Витте, но понятия не имел, что полицейские занимаются тем же. Госпожа Х. лес свой не продавала, хотя не уставала им возмущаться, как и советскими газетами. В противоположность Гаеву, Любове Андреевне она своей фамильной собственностью нисколько не дорожила, но хозяйкой была самой рачительной. Один из ее

бесчисленных кузенов занимался генеалогией. Он доказывал, что ее предки приехали на знаменитом *Майском цветке*. А прапрадед хотел украсть Наполеона с острова Святой Елены и уже построил для него дом.

— Вся эта генеалогия, вся эта игра в американскую аристократию — чепуха... а всё-таки леса я не продам! Недавно приходил один ирландец и умолял продать ему место под дом и сад... а я не продала. Это глупо, очень глупо, а всё-таки не продам, никогда! Она почти упивалась своей досадой.

Не столько ситуация привлекала ее в *Вишневом саду*... Ей нравилось, что жизнь там тянется, как она на самом деле тянется. Ведь всюду та же рутина, инерция пискливого, раздражающего существования изо дня в день, того существования, которое нельзя изменить, хотя мы и желали бы его, даже очень страстно желали бы его изменить... «Это правда жизни!» Заметила она. Прочитав все пьесы Чехова, взялись за Островского, которого наш учитель терпеть не мог.

— У Островского женщины очень любят топиться в Волге, но всё это только забавные театральные эффекты мелодрамы...

— Уж во всяком случае более забавно, чем чтение советских газет... Всё меня раздражает одностороннее описание русского купечества, которое не состояло из одних только самодуров. К тому же очень примитивен механизм его пьес. Островский уже в первом акте разделяет своих героев на волков и овец. Кстати, его «темные силы» лучше говорят по-русски, чем жертвы этих «темных сил»! Как хорош иногда язык Кабанихи в *Грозе*. Вот она обращается к своему сыну: «вытащут — взглянешь!». Это значит: когда Катерину вытащат из Волги, тогда ты на нее и посмотришь. Какая выразительность в этих двух словах. А Катерина истерически визжит или сладко сюсюкает...

Минут через тридцать-сорок урок уже заканчивался и начиналась беседа на английском языке.

Сияющая негритянка приносила кофе. Серебряные кофейники еще долго всхлипывали и слегка тренькали их поднимающиеся крышечки. Звуки, производимые этими кофей-

никами, приятно нарушали тишину гостиной, имевшей свое особое измерение во времени.

III

Госпожа Джон Уильям Х., урожденная Марион Р., родилась лет семьдесят пять тому назад. Дед ее был «министром» унитариянской церкви, но «в Бога не верил», а только «проявлял интерес к религии» и обожал поэзию Байрона, которого внучка должна была выучивать наизусть.

Больше всего Марион любила свою мать, она была для нее сущей правдой. Ни деда, ни отца, ни мужа она так не любила.

— Мужчины ведь только забавляются, и я им часто подражала, веселее жить по-мужски... Но моя мать, — она жила не для забавы.

О матери она реже рассказывала: ведь о самом святом умалчивают. Всё же и мать, правдивая и праведная мать, ее обманула, как всё вообще в жизни обманывало. Мать вдруг умерла, когда Марион было шестнадцать лет. Марион очень рассердилась на Бога, которого когда-то вложила в ее сердце мать. «Хотя сердиться-то ведь не стоило! Бога нет». С тех пор она никогда не ходила в церковь и даже не любила осматривать европейские соборы. А статую Христа поместила в передней.

К Марион присватался один из ее кузенов, но не тот, который занимался генеалогией. Она влюблена не была, но «готова была выйти за него замуж». Отец сказал: «каждый жених прежде всего должен доказать, что он преуспевает в своем деле». Через два-три года кузен свою преуспеваемость сумел доказать. Тогда отец поставил Марион перед дилеммой: «хорошо, ты можешь выйти за него замуж, а можешь и не выходить, тогда мы поедем с тобой в кругосветное путешествие». Марион жениху предпочла путешествие. Отец любил контрасты. Так, оба они перенесли дизентерию, сидя на верблюдах, в Сахаре. Их вылечила знахарка, кажется из племени туарегов, а затем они отправились в Лондон, где в лифте отеля встретили принца Уэльского, любезно заговорившего с пуделем Марион. Потом они

ездили на лошадях по Албании. Гид предложил отцу купить его сестру. Отец, ударивший гида, с трудом вырвал у него пистолет. Прокляв Албанию, они покатали в Германию, где наняли замок около Вюрцбурга. Только после смерти отца Марион вышла замуж за кузена, не за генеалога, не за того, который доказал свое преуспеяние, а за третьего. Родной Бостон изобилдовал кузенами.

Ее муж скончался незадолго до появления нашего учителя русского языка. Повидимому Джон Уильям Х. был выбран в качестве заместителя отца. Но во вкусах она расходилась с мужем чаще, чем с отцом. Иногда они ездили порознь. Мужа тянуло в страну его предков, Шотландию, или в Прованс, где он начал писать историю дома Фуа. «Понимаете, Фуа, Фуа, кому это нужно...», и еще раздраженнее она добавила: «чем именно нужно заниматься — не знаю, не знаю, но только не историей Фуа, Фуа».

Как-то она вспомнила, что муж ее любил перечитывать две книги: *Гордость и предрассуждения* Джен Остен и *Войну и мир*. «Он говаривал, что герои и героини этих романов реальнее живых людей... Я с ним не соглашалась.»

Она отвернулась. Гладит кошку, а на глазах слезы.

Что в таких случаях говорят? Как утешают? — Учитель молчал.

Но вот она уже слабо улыбается:

«А Шекспира мы читали вместе: он все мужские роли, а я женские, например, лэди Макбет! Так мы иногда коротали вечера».

Марион Европе предпочитала Азию. Она побывала там пять раз. В 1904 году она вместе с мужем оказалась в осажденном Порт Артуре. Возмущенные желтой агрессией, они бежали во Владивосток. Вот еще одно приключение, еще одно «обогащение жизни в мужском вкусе». Позднее оба Х. что-то раскопали в Индо-Китае и все раскопанные ценности провезли через Сибирь в Москву. На вокзале они узнали о войне. Не было подвод и они на четырнадцати извозчиках проследовали в Европейскую гостиницу. Этого рода приключения, только забавные, госпожа Х. тоже очень ценила. Не желая оставаться в воюющей

стране, Х. переехали в Норвегию, где все индокитайские ценности сгорели на складе. «Это я выдумала... Индо-Китай, но муж больше жалел о сгоревших находках, чем я...». Плохо разбираясь в политике, они решили проехать в Голландию через Германию. Немцы, увидев русские визы, их задержали, и они целый год «жили по карточкам». После этого очень скучного приключения, в Германию, как в страну провинившуюся перед ними, они никогда не заглядывали. Так прожили свою жизнь Х.: смешивая неприятное с приятным и, тем самым, увеличивая наслаждение. Но мы в эпиллоге.

Учитель русского языка очень любил малые истории госпожи Х. Она рассказывала их с явным усилием, боясь увлечься собственным рассказом. Ведь всё уже почти кончилось.

1. Бостонская дама узнала, что ее сын, коммерсант, прижил с туземкой младенца в Корее. С неразлучным своим зонтиком она поехала в Сеул, где зонтик очень пригодился: угрожая им, она заставила сына жениться на корейской любовнице и после свадьбы сразу вернулась домой. Так пуританская чистота нравов была восстановлена при помощи зонтика.

2. Отец не позволил бостонской кузине выйти замуж за художника, и не потому, что «артисты» народ сомнительный, а потому, что скучно было бы ему, вдовцу, жить без дочери. Дочь повиновалась, но не потому, что боялась отца, а потому что жалела его... Прерывая рассказ, госпожа Х. неожиданно лукаво улыбнулась: «а в кругосветное путешествие он не догадался ее взять!» Дочь нервно заболела. Отец отправил ее на два года в Южную Америку, где она работала в протестантской миссии. «Не забавно ли», заметила госпожа Х., «что ухаживая за больными, она сама поправилась!» Ей было около пятидесяти лет, когда отец умер. Она вышла за своего художника, была очень счастлива, но вскоре лишилась мужа. Теперь она проживает в своем доме, в штате Вермонт, совсем одна, без прислуги, и накрывает стол на два прибора: себе и мужу. «И она почти счастлива, эта сведенборгианка, счастлива, потому что глупа. Я ей завидую... Но обманываться не могу. Что вы скажете о наших сведенборгианцах, которые общаются с дорогими покойниками?»

3. В Китае мы захотели быть первыми белыми в каком-нибудь городке... Приезжаем. За нами ходили толпы китайцев, заливавших тоненьким смехом. Мы очень устали и проголодались. Нас всё-таки поняли и повели к местному богачу, который неплохо угостил и от платы не отказался. По выходе нас пагнали слуги с большими кулями: оказывается, мы заплатили больше, чем нужно, и честный китаец послал нам снести... От этой придачи мы отказались, но китайские слуги неотступно следовали за нами до вокзала. Толпа всё увеличивалась, и их «концерт смеха» нас совсем оглушил. Мы сами поставили себя в смешное положение, всё же с тех пор я не люблю китайцев! Знаю, что я неправа, но терпеть их не могу... Эти признания в собственной несправедливости развлекали госпожу Х., но не надолго.

IV

— Сколько у вас кошек?

— Больше двадцати.

— Вы их верно очень любите?

— Я больше всего люблю собак, но теперь держу кошек. Я ведь скоро умру. Собаки бы обо мне горевали, а кошки плакать не будут и уж как-нибудь доживут свой век...

Соседи, предполагая, что госпожа Х. кошек обожает, приносили или подкидывали ей котят. Иногда же являлись мальчишки и угрожали: если не возьмете кошку, удавим, утопим! Этот шантаж всегда имел успех. Наконец, бездомные кошки сами находили дорогу к ее дому. Сперва им только выносили еду на крыльцо, а потом, тронутые кошачьим упорством и отчаянием, впускали в дом.

Кошки друг друга не любят. Кошка кошке — волчиха! Во избежание свары, их отделяли. Летом кошек выводили на большую веранду, затянутую сеткой. Когда учитель проходил по двору, все они медленно поворачивали головы на девяносто градусов. В зеленых и желтых глазах недоверие, страх, любопытство и еще что-то тихо-колдовское, затаенно-недоброе, но и очень печальное. Кошки — ведьмы, однако, ведьмы несчастные, обреченные, иногда безумные.

Белая кошка Бланш, любимица компаньонки госпожи Х., жила в подвале. «Она у нас полоумная... Однажды исчезла. Мы даже соседей позвали, искали ее с фонарями. А она вдруг как выскочит из угольной кучи, уже не белая, а черная Бланш!».

В хоромах проживали только три-четыре кошки, высшее сословие. Одна кошка именовалась Горки. «Что же, она у вас названа в честь Максима Горького?» Но оказалось, что Горки или Гоки по-английски *Неуклюжая*. Это была огромная пепельная кошка, тоже полоумная. Она страдала манией преследования и всегда робко выглядывала из-под стула или дивана. «Зачем вы меня обижаете», говорили ее страдальческие глаза, глаза Акакия Акакиевича.

Царицей была Клеопатра или Клиоп, маленькая непорочистая кошка с белыми пятнами. Ее глаза тоже говорили, но другое: «Я тебя очень хорошо понимаю, но мне нет до тебя никакого дела». Она отлично знала, что ее отличают и умела не прощать. Госпожа Х. повязала ей голубой бант на шею. После этого Клиоп несколько недель с хозяйкой своей «не разговаривала». Ее нельзя было не уважать. И она умиляла своими деликатными манерами. Как медленно, аккуратно вкушала она белую рыбку, которую нарезали ей кусочками. И как осторожно лизала она струйку воды, текущей из крана. Из чашки она отказывалась пить. Иногда в ее зеленых глазах можно было прочесть не одно презрение, но и сожаление: «зачем вы так много говорите, лежали бы, как я, свернувшись, и молчали бы». Клиоп никогда не мяукала. «Она считает, что мяуканье — дурной тон», поясняла госпожа Х. Клиоп превосходно собой владела. Ее душевное равновесие нарушалось только птичками, чирикавшими весной в саду. Цепенея на подоконнике, она часами пристально за птичками наблюдала. В зеленых глазах ядовитый купоросный огонек. «Я терпеть не могу птиц», жаловалась госпожа Х., «они так раздражают Клиоп!». Изредка sereneкая любимица вскакивала к ней на колени или же одаривала ее особенным неотразимым взглядом: «я нынче утомилась и позволяю себя ласкать, любить».

Какое событие: Клеопатра упала в обморок! Сразу вызвали врача. Брошенные им слова *ничего серьезного* госпожу Х.

не успокоили. Вскоре у Клиоп начали неметь задние ноги, а через год они уже были парализованы. Она с трудом волочила отнявшиеся конечности. Учитель присел около нее: «Клиоп!» Глаза — зеленые стекляшки. Она не показывает, что страдает. «Тебе всё равно, так дай же мне умереть спокойно». Шерстка уже не гладкая, а всклокоченная. Заострились ушки. Но то же безупречно-белое пятно на маленькой твердой макушке.

Кошки — ведьмы, несчастные ведьмы... Или Кассандры-пророчицы, которые слишком хорошо знают, что *всё не к добру*. Даже нежась, ласкаясь, они никому, ничему не доверяют и постоянно ждут беды, обмана. Госпожа Х. тоже видела везде обман и ждала беды. Она отлично понимала своих недоверчивых зверьков, надрывавших ей сердце. Всегда ведь какая-нибудь кошка умирала, и тогда ее выделяли, приближали. Запомнилась одна, рыженькая, ничего уже не евшая. Она страдания своего не скрывала, как Клиоп, но всё же стыдилась его. Вскинет чахоточные глаза Дамы с камеллиями и сейчас же отвернется.

— Никогда их, больных, не отравляю. Они же и так не доверяют... Как я их обману? А обо мне они сожалеть не будут. Это-то и хорошо! Тут обмана нет. Клиоп никогда не клялась мне в верности! Кошки не лгут, как люди, притворяющиеся, что они любят, и кошки умнее собак, которые на самом деле любят, доверяют, но... какой в этом толк?

Госпожа Х. показала учителю стихотворение — шести-стишие. «Кто автор?» — «Не помню, это неважно...» Может быть она сама это стихотворение написала? Переводим его прозой. Пусть перевод неловкий, но точность мы предпочли чистоте языка.

«Умрет человек: у его трупa читают, проповедуют, над его костями ставится памятник.

Умрет кошка: для нее — никакой другой помпы, кроме ритуала, совершаемого лопатой.

Он улыбнулся: разве милое-лелеемое исчезает?»

Госпожа Х. нахмурилась и, сердито отмахиваясь от возможных возражений, как от комаров, быстро заговорила:

— Вот видите, религия всегда утверждает, что душа бес-

смертна... А поэзия только спрашивает. Поэты пустые люди, но они честнее священников.

Госпожа Х. всегда сидит на диване и смотрит на Клиоп. Она ждет: взглянет ли на нее кошка, заговорит ли? Или всё еще мстит за ту голубую ленточку, не прощает ее?

V

Госпожа Х. постоянно читала не только пьесы, а и стихи, но несколько стеснялась этой своей слабости. «Мой дедушка меня развращал поэзией...» Это был тот унитарийский священник, который в Бога не верил, а только интересовался религией. Он читал ей стихи Байрона: и Марион выучивала их с голоса. Дед сам писал стихи, «плохие стихи», поспешно добавила госпожа Х. Одну «поэму» он посвятил внучке — еще пятилетней. Там есть припев: «*Расскажи же мне, почему?*». «Это я всегда приставала к дедушке: отчего, да почему». А мать ее обожала Браунинга. «А зачем же теперь Т. С. Элиот «и компания» так презирают этого поэта? Я ненавижу эти моды, это снижение...».

Ранние сатирические стихи Т. С. Элиота ей нравились. Она, смеясь, твердила две его строчки о дамах, разгуливающих взад и вперед и толкующих о Микельанджело. Сама зная многое и очень даже основательно, культуры своей она стеснялась, как и стихов, и ненавидела ученых дам. Богоискательство Т. С. Элиота было ей совершенно чуждо. «Он думает, что найдет Бога, если *затемнит* его!»

После гибели дикого гения и буйного пьяницы Дилана Томаса, она перечитывала его стихи. И его *темоту* она не одобряла, но предпочитала Элиоту: «да, тоже *темен* для меня, но вато он говорит о простых вещах: молодость, любовь, смерть...». Учитель, по ее желанию, перевел на русский язык его знаменитый стих, восхитивший Стравинского.

— Да, трудно... В прозе можно было бы сказать так: я прихожу в ярость, когда... когда смеркается.

— Этот стих мне напоминает шекспировский: помните король Лир вопит — дуй, ветер... лопайтесь щеки! Ярость! Дуй же!

— Какое тонкое замечание, госпожа Х.! — Конечно, у Лира та же лирическая ярость, то же лирическое неистовство, бешенство!

Госпожа Х. «сделала недовольное лицо»: — До смерти надоели мне все эти тонкие замечания... Я больше люблю забавные стихи или же самые простые...

Ее очень смешили стихи Д. С. Лоренса о русских модах в Англии двадцатых годов: мы увлекались Толстым, который обращался к русскому мужику со следующей покорнейшей просьбой: скупай меня! И русский мужик его скупал. Потом мы увлекались Достоевским, который говорил: давайте грешить, чтобы спастись... мы охотно последовали его совету, но разве мы спаслись?

— Ее очень смешила и блоковская *Незнакомка*:

И шляпа с траурными перьями...

— Я видела этих *незнакомок* в Париже, в Шанхае!..

Прикрывая лицо белейшим батистовым платочком-комочком, она долго, беззвучно смеялась.

Есенина она принимала всерьез. Учитель пытался было ее разубедить: «это русская экзотика, сентиментальная экзотика, он хулиган, который всё время вызывает: пожалей ты меня, дорогая!»

— Я люблю есенинские стихи о корове, он жалел не только себя, но и животных.

— В детстве оба они, Есенин и Томас, вероятно походили на тех сорванцов, которые бросают в ваш сад самодельные петарды.

— Я ненавижу их! Но Дилан и Сергей не могли мучить животных!

Учитель познакомил ее с поэзией Георгия Иванова. Ей нравились его сладчайшие стихи о смерти, о том, что всё бессмысленно: Хорошо, что ничего... Счастья нет, мой милый друг...

— Его жуткие колыбельные песни мне по душе. Он убаюкивает жутью. А вот стихи американского поэта, который похож на вашего Иванова. Учитель перевел их на русский язык:

Одиннадцать тридцать.
Будильник на восемь.
И кошка на кухне.
И кость у собаки.
Прилег бы ты рядом,
Уже зазывают
Меня мертвецы.

Прилег бы ты рядом,
Утешил, утишил.
Оркестр доиграет
Последний аккорд.
Звонарь отбивает
На башне двенадцать.
А всадник — он мчится
При полной луне.

О, поздняя осень,
Утраты, обиды.
И розы в окошке,
И смерть у дверей.
Прилег бы ты рядом:
Утешил, утишил.
А к небу мы ближе,
Чем были вчера.

— А в общем чепуха? Скажите, для чего стихи пишутся?

— Право не знаю, но я люблю их твердить.

— Где-то я читала, что поэзия иногда заменяет религию... может быть. Платон хотел выгнать из своего государства поэтов, а я выгнала бы священников. Поэты, конечно, лгут, но ведь все это знают. Я дурею на пять минут, когда читаю стихи, а религиозные люди всю жизнь живут дураками.

Невнятно, скороговоркой, желая показать пренебрежение к поэзии, она прочла одно из своих любимых стихотворений — Филиппа Сиднея:

У меня сердце возлюбленного, а у него — мое.

— И это ложь, но наша человеческая ложь, без которой обходятся кошки... Это можно понять, это бывает, это, к сожалению, случается!

Учитель вспомнил, что ренессансный сэр Филипп, умирая от ранений, полученных во Фландрии, кажется, велел своим музыкантам играть на флейте. Под ноющую колыбельную песенку смерти он тихо уходил в другой мир, в который вероятно верил; или же он ждал новых приключений на том свете, как приговоренный к смерти герой его современника, Марло, в трагедии *Эдуард Второй*. Сидел ли у смертного одра сэра Филиппа тот юноша, которому он посвятил эти стихи: — У меня сердце возлюбленного, а его у меня..?

А госпожа Х. сидит всё на том же удобнейшем диванчике, поглаживая любимую кошку и прислушивается к своей второй колыбельной песенке. То ли едва мурлыкает молчаливая Клеопатра, то ли бормочет о смерти поэт: по-английски или по-русски? или на языке неизвестном, но понятном? Флейта хороша, но флейтист помешал бы, как и юноша. А лира звучит и в отсутствии поэта.

VI

Не стоило бы обо всем этом писать, если бы не игра. Игру затеяла госпожа Х. Не была ли это игра в поддавки? Выигрывал поддающийся.

— Бедные люди, несчастные люди — нечестные люди! И она постоянно подтверждала свое мнение примерами. К ее тетке ходили два учителя, оба жили на очень маленькое жалованье. Им поручено было приводить в порядок библиотеку. Им хорошо платили, их баловали. Вдруг обнаружилось, что пропали редкие издания тех исторических хроник, которыми пользовался Шекспир. Муж госпожи Х. нашел эти фолианты в лучшем антикварном магазине Бостона *Добрая Воля*. Учителя продавали тетнины книги этой самой *Доброй Воле*. Тетка хроники выкупила, а учителей прогнала.

Не камешки ли это, бросаемые в его огород? Но учитель всегда знал, что обижаться — унижительно. Он сразу же рассказал госпоже Х., что в Германии украл у знакомых ножницы. «Я жил в бараке для Ди Пи и не мог купить ножниц уже потому, что они нигде не продавались». Он взглянул в глаза госпожи Х. и добавил: «Но теперь у меня две пары ножниц: незачем их красть! Пусть их украдут те, у которых ни одной пары». Госпожа Х. изумилась и растерялась.

Однако, последовала новая атака: — Меня удивляет, почему многие пришельцы из Европы обязательно хотят заниматься интеллигентным трудом. На фабрике они заработали бы больше...

— Когда-то Америка была страной бедной по сравнению с южноамериканскими эльдорадо. Сюда приезжали люди, желавшие трудиться. Они умирали от цынги, их убивали индейцы... И они убивали индейцев. Грязная работа! Я бы не приехал сюда в семнадцатом веке на знаменитом *Майском цветке*, на котором приехали ваши пуританские предки. Я приехал сюда после второй мировой войны, чтобы хорошо жить за счет поколений, которых убивали индейцы и которые убивали индейцев. Я эгоист, я *белый воротничок*, как у вас говорят...

Госпожа Х. весело засмеялась: — Признаюсь, и я бы не поехала на *Майском цветке*... Но мать решилась бы...

Учитель вспомнил, как в старой Москве охали-ахали: «бедные беженцы из Привислинского края, надо им помочь, они убежали от нашествия тевтонов». Им помогали, потом они надоели. Люди уже поговаривали: «знаете, они вороватые. Тащат, что плохо лежит.»

Иностранцев, инородцев в Москве любили, а всё же рассказывали армянские, еврейские анекдоты. А эти фразы: «поляки, они коварны!»

А теперь он сам в роли поляка-армянина-еврея! Всё в порядке! Еще одна роль: как объяснить госпоже Х., что эта роль может забавлять новизной! Она бы поняла.

Госпожа Х. осмеивала снобизм старых бостонцев, соглашалась с их обличителем, впрочем, очень добродушным, — Марканом. Но всё же она была бостонкой до мозга костей.

— Я больше не выхожу из дому: направо Мадонна, налево синагога... Разве не забавно, что она валила в одну кучу католиков и евреев, столь мало друг друга переносящих?

Госпожу Х. возмущало, что еще на ее памяти многие бостонские врачи отказывались лечить ирландцев. Но её забавлял поступок верной негритянки Эстер, которая гостье, — жене известного ирландца-архитектора, сказала: у вас ирландское имя, прошу вас пройти через заднее крыльцо. «Как я ругала Эстер, грозилась выгнать...». Но смех её был одобрительный.

Ирландцы были главным врагом старых бостонцев. И уже давно все твердыни старых англо-саксонских семей были заняты ирландцами: капитоль, сити холл. Ирландцы победили. В Москве же *эквивалентом* ирландцев были немцы.

Москва детства: это было больше тысячи лет тому назад, как говорил бунинский ямщик. И эта Москва детства вновь рождалась для нашего учителя. Уж так ли было там хорошо? Едва ли, но там *улыбалось счастье*.

Госпожа Х. не терпит ирландцев и доживает свой век с двадцатью кошками. А бабка учителя не терпела немцев и дожила свой век с десятью собаками. Бостонка читает *Вишневый сад*, стихи Есенина и Георгия Иванова, а москвичка зачитывалась *Историческим вестником*, *Русской стариной*. Обе избалованы и умны. Но москвичка была умнее, едва ли по природе своей, а в силу особого рода обстоятельств — русских обстоятельств!

Бабка знала, что богатство не гарантия. Она купила лишнее место в богадельне, на случай революции, которую считала неизбежной и которая мерещилась ей в виде пугачевщины. Всё же она прогадала бы, если дожила бы до Октября. Разве взяли бы в богадельню буржуйку, да еще на оплаченное место?

Бабка ненавидела революционеров и вообще нечесанных студентов, но выплачивала небольшую пенсию кузену-пьянчуге, которого еще в шестидесятых годах сослали в Читу. И это ведь легка на революцию! Она так же не терпела и правительство, гнушаясь казнями, как и террором.

А госпожа Х.? Покойная мать ей говаривала: «счастливая

Марион, ты будешь жить в двадцатом веке! Подумай, войн больше не будет, даже революций...».

Все несчастья, войны, революции, инфляции, большевики с бомбами, ирландцы с мадоннами, всё же не лишили ее основной гарантии — денег. Но она куксилась на своем диванчике и, к неудовольствию премудрой Клеопатры, возмущалась:

— Почему большевики в Москве, почему католики в Бостоне?

Неожиданно она проявляла жестокость. Зашла речь о процессе анархистов Сакко и Ванцетти. «Наши судьи — молодцы! Посадили-таки этих голубчиков на электрический стул!» Московская бабушка-миллионница от такого вот рода *убеждений* отмахнулась бы: «Все палачи для меня непонятные люди, как марсиане!» Но всё это голые рассуждения. Пусть лучше откроется дверь. Московская бабка сидит на своем диванчике, тоже некрасивом и удобном. Она читает книгу Семевского о царице Параскеве Федоровне. Ее забавляет хитрость этой лицемерной староверки: подладившись к ужасному своему деверю, она век свой доживала по старинке. Попахивает псиной: напатырный спирт с добавкой жженого волоса. Выше портрет прабабки с открытыми плечами, которые она велела прикрыть: и случайный богомаз, действительно, накинул зеленую шаль на покатые плечи красавицы в кринолине-колоколе. Викторианский пуританизм проник и в Россию.

Бабка, как всегда, скороговоркой, повторяет те же слова:

— Напрасно, напрасно вы думаете, что мой внук стащит у вас серебряную ложку, ложку!

Госпожа Х. смотрит на портрет своей испанской герцогини:

— Но он сам признался в краже ножниц.

— У вас настоящей революции не было, не было, но признайтесь, что среди ваших кузенов были злостные банкроты, банкроты.

— Хотя бы и так, но я их не принимаю.

— И хорошо делаете, делаете! А всё-таки вы ничего не понимаете, ничего! Вот вы несчастны, потому что не можете поехать в Россию Сталина или Египет Нассера. Чепуха, чепу-

ха! Вы кажется даже думаете, что деньги ваших пуританских предков должны были бы обеспечить вам бессмертие, бессмертие! Вы умрете, как и я умерла: ну, что в этом особенного? Ходить я не любила, ела конфеты, нажила сахарную болезнь, болезнь...

— Вы в России убивали ваших губернаторов, но для народа ничего не делали, не давали ему ходу. Я терпеть не могу ирландцев, они захватили наш Бостон: это скверно, но всё же лишний раз подтверждает, что у нас равные для всех возможности. У моей негрityняки Эстер есть акции.

— Скажите лучше, какие у вас были собаки?

— Разные. Чаще — пудели. В Париже я вышла прогуливать моих трех пуделей, а навстречу мне русская дама из вашей Москвы, тоже с тремя пуделями! Она улыбнулась: «не правда ли сценка из цирковой жизни!» Я никогда так не смеялась!

— А я никогда не выходила с собаками на улицу, чтобы не говорили: *дама с собачкой*...

— Скажите, а трудно было?

— Что? Что? Умирать? Конечно, нелегко. Но теперь, знаете, как гора с плеч, плеч!

— Дома?

— Да, да! Очень хотелось этого избежать. Знаете, за несколько лет до смерти я наняла квартиру, чтобы не лежать на том самом обеденном столе, на котором лежал мой муж, муж!

— У нас мертвых сразу вывозят.

— И хорошо делают, а у нас сразу на стол, стол!.. Но мои незамужние дочери очень мне досаждали: зачем нанимать квартиру, когда есть собственный дом, дом?

Бабушка, какая хитрая: зачем она притворилась умершей?

VII

Предчувствующие смерть склонны к перемене мест, как и московская бабка.

— Налево Мадонна, направо синагога, повторяла госпожа Х. Уеду из этого города! Она то собиралась купить виллу

в Ницце, то один из Оркнейских островов. Одно время ее соблазнял остров Пасхи. Но чаще всего она мечтала о Юкатане: «удобные отели и есть что раскапывать, руины Майи. Уеду!» Она уже обзаводилась заманчиво-пестрыми рекламными брошюрками, по никуда не уезжала. Понимала: не убежать! К тому же нигде нет таких хороших врачей, как «в этом ужасном ирландском Бостоне».

Учитель видел человека, умиравшего от голода, видел человека, умиравшего от ран, отсиживался в бомбоубежищах. Другие видели больше, но и у него был свой *нормальный* европейский опыт. А она испытывает мою честность, оставляя одного в комнате, около серебряного сервиза! Всё же она ближе многих других. Вот только что поспорила с бабкой, но обе они... одного поля ягоды! Теперешние дамы заставляют гостей передвигать столы, мыть посуду, а она ни разу не попросила его принести неподъемный словарь Вебстера и всегда сама тащила эту кнжищу, горбясь, оступаясь... Подарков она не делала. Но однажды выяснилось, что его телефонный счет был оплачен неизвестным лицом. Подозрение пало на госпожу Х.! Но как она великолепно разыграла свое удивление, непонимание: — при чем тут я!

А Клеопатра ни разу не вспрыгнула на его колени, как это делают более демократические кошки! Госпожа Х. — дама, Клеопатра тоже дама. Госпожа Х. и Клеопатра — две дамы. Это не из Ильфа-Петрова?

Она испытывает меня серебряными ложками: и права! — думал учитель. Всё-таки я украл ножницы, а бывало и похуже... Всё-таки я принадлежу к современному беззастенчивому человечеству, а когда-то принадлежал к миру или миру московско-бостонскому... Но к черту все ложки и ножницы! Я просто люблю бабку с ее таксами и госпожу Х. с ее кошками. Люблю эту сказку досужей жизни, которая тоже обрывается, как и жизнь советских обывателей, как и жизнь ирландцев, разбогатевших во враждебном им Бостоне.

Но что умирает? Лживый поэт улыбается:

— Разве милое-делеемое исчезает?

Путая измерения времени, учитель не заглянет в тот лагерь особого назначения, где он видел умирающего человека с лиловым лицом и белыми глазами: ему уже не хотелось есть, он страдал только от холода, а не от голода. Стоит отнять все серебряные ложки, чтобы накормить одного голодного, но «я не хочу в тот лагерь, не хочу!»

Учитель хочет говорить с бабкой о хитрой, лстивой царице Параскеве Федоровне, он хочет читать Георгия Иванова с госпожей Х. Он хочет еще раз увидеть молчаливую Клиоп. Стоило бы вообще жить, если бы ни разу не удалось встретиться с настоящей дамой, хотя бы в кошачьем облике?

VIII

Учитель должен был навсегда покинуть Новую Англию. Что делать с пригретым им котенком? Друзья обещали его взять, но только через месяц. Он позвонил. Послышался голос компаньонки. Потом она долго совещалась с госпожей Х.

— Хорошо, но не более как на месяц. У вас кот, его надо будет изолировать, чтобы он не приводил в смущение наших кошек!

Учитель ехал на такси. У него не кот, а котенок: огромное сердце, бьющееся в сереньком шерстяном мешочке. Его куда-то везут, обманывают. Они это с детства знают: *всюду беда и утраты...* но *косматый парус* кошки ставить не умеют, они стихов не пишут.

Учитель чувствовал себя преступником.

Колонна лириодендрона — тюльпанового дерева. Падают желтые бумажные листья: они, действительно похожи на лиры, но с лопастями у основания. Эти лиры беззвучные, но крылатые.

На крылечке сидит госпожа Х., в шубке. Она явно сердита:

— Мне так надоели мои собственные кошки!

— Котенка возьмут через месяц.

Наученная горьким опытом, госпожа Х. не верит, и уж лучше ее не разубеждать. Все ведь обманывают, в особенности, бедные люди, и она, конечно, права.

— Я надеюсь увидеть вас в следующем году.

— Вы меня не увидите.

— Жаль, если вы уедете.

— Я уеду.

— Уж не в Юкатан ли, о котором вы всегда мечтали?

— Да, я уеду в Юкатан, отчеканивает госпожа Х. Она очень постарела. Бумажное белое лицо: осенний лист, лишенный красящего вещества. Лист растения, выросшего в подвале. Какой уж там Юкатан. Но за одним бестактным вопросом, приводящим в смущение, обычно следует другой, еще более бестактный вопрос:

— Как здоровье Клеопатры, Горки?

— Клеопатра умерла, Горки умер, все вообще умерли. Благоденствует только новый полосатый кот. Госпожа Х., морщась, улыбается: — он настоящий тигр, очень красивый и злой!

Учитель цитирует известную строчку Уильяма Блэка:

— Тигр, тигр, ярко горящий...

Госпожа Х. опять недовольна: — не до стихов! Но на прощание она еще раз улыбнулась. Ее бумажно-белое лицо коробится, вот-вот треснет, рассыпется, распылится. Она почти шепчет: — а Клиоп была великая лэди!

Учитель был очень счастлив, что ему удалось сдержать обещание: котенка взяли его друзья. Он написал благодарственное письмо. Ответ последовал от компаньонки: госпожа Х. тихо скончалась в своем доме. Всё ее имущество завещано госпиталю.

Юкатан бывшее *место развития* таинственной Майи. Там, в отелях с замораживающей вентиляцией, проживает много старых американцев. Они иногда ездят в мертвые города с дикими названиями: Чичен-Итца, Ушмал. На безоблачном синем небе две-три точки: это орлы-стервятники, *содержащие Мексику в чистоте.*

Но разве мило-лелеемое исчезает?

Юрий Иваск

Ж М У Р К И

Сверчок на небеса попал.
Жалея землю цверенчит:
— Прыжок я плохо рассчитал —
И сам созвездием горит.
На землю льется лунный свет,
Со светом вместе дивный звон.
Выходит в сад седой поэт.
Сверчка не может видеть он.
В пустыне лунной никого,
Не слыша шелеста кругом
Он чувствует, что у него —
Глаза завязаны платком.
Он руки вытянул вперед,
За каждым шорохом следит,
То подойдет, то отойдет,
Прислушается, постоит.
Похожа явь на страшный сон:
Все кажется ему, что тот,
Кого сейчас поймает он,
Повязку с глаз его сорвет.
О, если б знал поэт седой,
Что только маленький сверчок,
Простой сверчок, никто иной,
С его лица сорвет платок.

П У Т А Н И Ц А

Лучи опустили свои молодые ресницы,
Сквозь листья густые, на спелый овес при дороге.
И дремлет природа. Ей может быть иначе снится
Всё, то, что и мне начинает казаться в итоге.
Я может быть сон для деревьев неясный и зыбкий.
И кажется им, что от этого сна не проснуться.
И каждая ветка качается в солнечной зыбке
И силится к сну своему наяву прикоснуться.

**
*

Куда ни ступит человек,
Где ни появится спросонья —
В озера, в воды чистых рек
Течет фабричное зловонье.

Всё рубит, пилит, косит, жжет,
Всё травит дымом, газом, чадом.
И смрад, и грязь, и смерть несет
Всепобеждающее стадо.

Но вместе с тем само оно
В воротничках, в рубахах чистых.
Вот баба вымыла окно,
Паркетный пол суконкой чистит.

На подоконниках цветы,
Безжизненны, не благовонны.
В домах собачки и коты:
Клочки природы угнетенной.

Есть к этим маленьким зверькам,
К цветочкам, к рыбкам тяготенье:
Убийцу тянет к тем местам,
Где совершилось преступление.

**
*

Мой брат серьезно уверял,
Что будто у себя в Савое
Однажды видел и слышал,
Как словно существо живое —
Перед рассветом в тишине,
Когда созвездия бледнели,
Уснули горы, и во сне
Дышали ровно и храпели.

**
*

Я вижу танцы, музыки не слышу,
Стою на улице, на тротуаре.
Руками машут и ногами пишат
В безмолвии танцующие пары.
И я свое выдумываю пенье,
Ритм подходящий танцу сочиняю
И в этом вижу олицетворенье
Того, что сам едва ли понимаю.

**
*

Когда к дождю, ты видел, дым из труб
Спадает вниз и стелется по травам,
Подумать можно: стал ему не люб
Небесный путь, мила земная слава.

Поэзии приземистый полет,
Быть может, тоже служит тайным знаком
Того, что связан неразрывным браком
С высокой тайной будущих погод.

**
*

Опять машина грузовая
Везет на бойню лошадей.
Всё глубже пропасть отделяет
Любовь к природе от людей:

Общаясь с неживым металлом
Мы никогда не возвратим
Той радости, что нам давало
Общенье с существом живым.

Есть проводник хороший звука
А также света и тепла
А лошадь! Знает ли наука
Каким проводником была?

А. Величковский

ПЕРЕВОД ПЕСНИ, КОТОРУЮ ПЕЛИ НА ТИТАНИКЕ

О Боже, я — к тебе
тесней — к тебе.
Заветный крест скорбей
встает в моей судьбе.
О Боже, я — к тебе,
тесней — к тебе.
Призыв любви моей:
к тебе — тесней.
В часы труда и муки
я простираю руки:
прими меня к себе.
Тесней — к тебе.
Тесней к тебе, Господь,
тесней — к тебе.
Возьми земную плоть
тесней — к себе.
Среди беды и страха
к тебе влекусь из праха.
Еще тесней — к тебе,
тесней — к тебе.

Александр Гингер

НИКА САМОФРАКИЙСКАЯ

Крылатый мрамор вставший рядом с вечностью
Свободен как движение кометы.
Полет души запечатлен и плещется
Туника развеваемая ветром.
Душа миров, развитие идеи,
Рождение мысли, воплощенье планов,
Она крыло к созвездиям возденет,
И ласково заглянет в океаны.
Среди планет и замыслов великих
Она царит уверенно легка
В тени крыла Самофракийской Ники
Летят миры и плещутся века.

**
*

Бродит луна в готических крышах,
Кошка по карнизу скользит как тень
Собор темнеет. Склонился в нише
Каменный рыцарь на каменную постель.

Готический город. Здесь похоронен
Какой-то король и какой-то граф,
Сияет застывшее море кровель,
Сияют стёкла, свет луны разобрал.

Застывшее в камне средневековое
Живет и дышит на гребнях крыш.
Не верь перинам. Не верь покою
Сапожных лавок и соборных ниш.

Дышит орган. Он плетет простую
Старую мелодию, он ведет диалог:
Слышишь как робкая душа тоскует,
Как бьется и плачет и не находит слов.

Помнишь жила за углом и после
Бросилась в реку с крутых перил,
А отец сапожник судачил с гостем,
Пиво отхлебывал и трубку курил.

Помнишь ее на рынке с корзиной
На узеньком локте в коротком рукаве.
Густым золотистым солнцем сквозили
Легкие пряди на светлой голове.

Что тебе граф и король в соборе,
Скульптурных надгробий угловатая тень,
В каждом лице беспомощность горя,
Круглая корзина и сборки у локтей...

Олег Ильинский

Борису Пастернаку

1

Товарищу, горящему в ночи
Печальным и единственным сияньем...
Железный занавес твои лучи
Смогли пробить! Какая мощь страданья!

Какая безысходная тщета
В твоём, тобой любимом подмосковье.
Но с дачи подмосковной, как с креста,
Стекает боль мечтою и любовью.

Товарищу... О, как бы я хотел
Сказать — мой друг! Но это так опасно.
Моя любовь тебе плохой удел,
Я не хочу, чтоб ты страдал напрасно.

Достаточно твоих страданий, друг!
Они равны твоей всемирной славе,
Ты посмотри, какая ложь вокруг,
Какое зло твоей Россией правит.

Ты чувствуешь косой, змеиный взгляд
За гордой, несогнувшейся спиной.
Палач и мне, и каждой жертве рад,
Но руки коротки — а ты ведь под рукою...

Господь с тобой! Страдай, мечтай, владей
Почти нечеловеческою силой
Писать о жизни, о сестре твоей,
Над братскою, бескрестною могилой.

Георгию Иванову

2

Тихо, тихо тает высь...

Помоги и помолись.

У кладбищенских ворот
Молча воскресенья ждет

Друг, его похорони,
Голову пред ним склони,

Помолись о том, чтоб он,
В вечности преображен,

Вспоминая и любя
Помолился за тебя.

3

Есть в умирании прозрачный свет
Которого в рожденье вовсе нет.

Есть в смерти жизнь, и есть в рожденье тленье,
Страданье, ужас, крик, недоуменье,

И боль, и зло, и холод, и тоска,
И матери страдающей рука.

Но все же человек живет, и вот
Его рождение иное ждет,

И та же боль и ужас и тоска.
Но где же материнская рука?

Ее уж нет, она давно в могиле.
Но знай, она в любви своей и силе

Вновь ждет тебя, чтоб снова и опять
Тебя перекрестить, тебя обнять.

4

Страхом, грязью и кровью...
— Боже мой, почему?
Что мне делать с любовью,
Как прорваться сквозь тьму?

Что мне делать с душою,
Что замучили вы
Ненавистью — и какою! —
Так плененные львы,

Так Ивáнов на юге,
Так на севере Блок,
Так и мне, на досуге,
Этот страшный стишок

Не прощаю — простите —
Не прощу никогда...
Улетайте, летите
Эти строки туда,

Где и хриstopродавец
(Грязь и кровь на снегу),
Где последний мерзавец...
— О, прости, не могу...

В центре страшного круга,
Крест сжимая в руке,
В губы мертвого друга
А врага — по щеке.

5

Никогда со мною ты не будешь,
Даже в смертный час, в последнем вздохе,
Как живого, мертвого забудешь,
Имя славой, а могила мохом

Прорастут, а ты всё будешь где-то
В пустоте, безмолвии, незнание...
Счастьем не смогла ты стать поэта,
Всё ж смогла ты стать его страданием.

Ты молчишь. Безмолвной пустотою
На мое ты отвечаешь слово.
Любишь ты любовь простою
Смертного, счастливого, немого.

Я не смертен, я несчастен, голос
Мой летит к тебе, но даже эха
Нет в ответ — и счастье раскололось —
— В скалах ни рыдания, ни смеха.

Тишина. Но смутное виденье
Всё ведет меня по струнам звука.
И звучат, уже в преображенье,
Смерть как жизнь и счастье как мука.

Это всё любовь. В какие бездны
На какие страшные высоты,
Силой этой рифмы бесполезной
Долетят тяжелые полеты.

Вл. Смоленский

I

Ни работы,
Ни заботы —
Ни тоски, ни суеты:
Только лилии долины,
Только горные вершины,
Только птицы и цветы.

Хорошо бы стать закатом,
Летним небом розоватым —
Вот о чем мои мечты:

Знаю, каждый бы охотно
Жил прозрачно — беззаботно,
Жил сияюще — легко,
Так заоблачно — свободно,
Так небесно — широко.

II

Полугрусть предосеннего шелеста,
Но в закате над серым Ассизи
Озаренное облако светится
Обещаньем заоблачной жизни -

И становится в мире печальнее,
Хоть лучи не совсем догорели,
И под ветром плывет обещание
В холодеющие эмпиреи.

Игорь Чиннов

НАБОКОВ И ЕГО “ЛОЛИТА”

1

Есть книги, которые целиком умещаются в своей обложке, в ней остаются, из нее не выходят. Есть другие, которые не умещаются в ней, как бы переливаются через нее, годами живут с нами, меняя нас, меняя наше сознание. Есть, наконец, третьи, которые влияют на сознание (и бытие) целого литературного поколения, или нескольких, кладут свой отпечаток на столетие. Их «тело» стоит на полке, но «душа» их в воздухе, окружающем нас, мы ими дышим и они в нас. Все знают их — они с нами, написанные в XIX, XVIII, XVII веке или тысячу лет тому назад. XX век тоже имеет такие книги, и люди, родившиеся вместе с веком (и с ним стареющие), созрели благодаря им, срослись с ними, питаются ими и любят их.

XX век дал нам литературу, отличающуюся от всего, что было написано раньше, четырьмя элементами и в «литературной периодической системе» они теперь стоят на своих местах. Большие современные книги не всегда основаны на всех четырех элементах, бывают исключения, когда три из них взяты как стиль, метод или основание, а четвертый только намечен. Но без этих элементов книга выпадает из времени — вне зависимости, хороша она или плоха, она выпадает в прошлое, не в будущее, и тем самым можно сказать, что, вне этих элементов, великих книг XX века не существует, они — непременное условие новой литературы.

Эти четыре элемента — интуиция разъятого мира, открытые «шлюзы» подсознания, непрерывная текучесть сознания и новая поэтика, вышедшая из символизма — можно найти в слабой степени и в книгах ушедших веков, но они не получили развития и были даны лишь в намеках. Интуиция разъятого мира была, например, у Достоевского и не только в его романах, но и в некоторых страницах «Дневника Писателя»; открытыми «шлюзами» он пользовался в «Исповеди Николая Ставрогина» и вообще умел ими оперировать мастерски, как умел это делать уже Сервантес. В «Тристраме Шенди» Стерна

можно найти попытки дать непрерывную текучесть сознания, которую позже можно встретить и у великих романистов XIX века Франции и России. Наиболее близкий нам пример — мыслительный процесс Анны Карениной во время ее последней поездки на извозчике, где «куафер Тюткин» нашел свое незабываемое место. Стриндберг, в некотором смысле, раз открыв «шлюзы» так никогда и не закрыл их, видимо уже не чувствуя в этом потребности. Может быть поэтому он и не устарел, как устарел, например, Ибсен, всю жизнь просидевший за собственным «железным занавесом», не подозревая, что можно выйти из-за него и продолжать говорить перед ним, а не за ним. Новая поэтика, пришедшая на смену изжитым формам классицизма, романтизма и реализма (все эти факторы были как бы испепелены символизмом, чтобы дать из пепла возродиться Фениксу), в противоположность трем первым элементам, продукт современности, что естественно: новая поэтика наметилась в первые годы нашего столетия, стала ощутимой в середине десятых годов, была понята и оценена в конце двадцатых. Ее путь отчасти совпадает с переменами, происшедшими в живописи и музыке.

Если мы проследим по книгам Набокова (за тридцать лет) возникновение, рост и развитие этих четырех элементов, то первое, что бросится в глаза, это гармония, с которой эти элементы возникали, росли и развивались. Робкая интуиция разъятого мира сквозит в первых попытках дать непрерывную текучесть сознания, одновременно с приоткрытыми неопытной, но сильной молодой рукой «шлюзами»; в то же время творческая основа уже начинает отсвечивать новой поэтикой в ритме, звуке, тоне произведения и еще не совсем оперившийся Феникс пытается забить крылами. «Молодые книги» Набокова, из которых «Защита Лужина» и «Подвиг» — лучшие, привели его к поворотному пункту в 1930 году, когда был написан «Соглядатай». В этом рассказе Набоков созрел, и с этой поры для него открылся путь одного из крупнейших писателей нашего времени.*

Молодость кончилась и началась зрелость именно с «Соглядатай», где все четыре элемента обрели громадную значимость, не говоря уже о возникновении оригинальных творческих методов Набокова, приемов, им созданных, о которых речь впереди. Его зрелость принесла ему освобождение от

* И «Подвиг» и «Соглядатай» — оба были опубликованы в 1930 году.

старых канонов, которым он, с яркостью и талантом, следовал; были изжиты некоторые навыки, первородного, если можно так выразиться, свойства. И в тридцатых годах в русскую литературу хлынул, с вольной силой могучего воображения, движимый глубоко индивидуальным талантом, образующий и организованный поток произведений, полных ума, вкуса, стиля, увлекая нас туда, где стоял открытый, готовый для нас, сложный и красочный мир писателя.

Очарование ранних романов не уменьшено зрелыми книгами Набокова. Душистость и влажная солнечность «Подвига», смелость и увлекательность «Защиты Лужина» живы, конечно, и сейчас. Но «Соглядатай» что-то в корне изменил в калибре произведений — они перестали уместиться под своими обложками. От «Соглядатая» — к «Отчаянию», и от «Отчаяния» к «Приглашению на казнь» — таков был путь Набокова. Вторая мировая война заставила его переселиться из Европы в Америку. В 1952 г. вышел «Дар», написанный еще в Париже.

«Приглашение на казнь» есть интуиция разъятого мира в ее чистом виде. Здесь пересеклись все кошмары и раздробленные видения прежних его писаний, «шлюзы» открыты, для читателя нет скрытых углов, Набоков владеет всеми своими прежними приемами и создает новые, непрерывность психологической текучести связана с окружающим героя адом. Но в этом аду линия поэзии не прервалась — она сопровождала Набокова и тут, оттеняя иные, прелестные в своем природном очаровании, детали. Разъятый мир будто шелестел садами, благоухал цветами... В этом смешении красоты и ужаса была сила книги.

Набоков долго ходил вокруг одного своего воплощения — он как будто годами примеривался написать роман, где бы «герой» был поэтом или писателем; в «Подвиге» как будто намечался к этому путь, можно было себе представить, что это произойдет (в виде гротеска) в «Отчаянии», и в виде личной трагедии — в «Казни». В. Ф. Ходасевич в 1937 году пророчил: «Сирин (Набоков) когда-нибудь даст себе волю и подарит нас безжалостно сатирическим изображением писателя», — и таким образом, «Дар» не оказался неожиданностью. Но что оказалось неожиданностью, так это его многопланность, богатство его тем и вольное течение повествования, где с такой силой сказался дар иронии Набокова, дар его сатиры, (перекликающийся с «Лужиным»), дар поэзии (перекликающийся с «Подвигом»), дар чувствовать распадающийся мир (перекликающийся с «Казнью»), дар памяти (о России) и

дар познания самого себя, своего собственного творческого процесса.

Первый роман на английском языке, «Подлинная жизнь Себастиана Найта», и второй — «Зловещий изгиб» (в несколько неточном переводе) — были оба остановкой на пути и, если и не неудачами, то во всяком случае — торможением того движения, которое было свойственно Набокову с самого начала писательского пути. Обаятельные мелочи не могли скрасить некоторой напряженности тона и слабости сюжетной линии, и хотя все основные четыре элемента были налицо (в особенности в «Зловещем изгибе»), не чувствовалось эволюции творческих приемов и той прочности и совершенства словесной ткани, которая была в прежних книгах. В трактовке темы «Подлинной жизни» были сделаны ошибки, в «Зловещем изгибе» были реминисценции «Приглашения на казнь», несколько обедненные. Но как в первом романе чувствовалось, что он был органически необходим Набокову, так во втором всё было достаточно «страшно», чтобы остаться в памяти. И как обещали эти книги! На каждой странице они как бы давали нам слово, что скоро за ними придут другие. Но обещание было сдержано не непосредственно: Набокова потянуло на время в сторону реализма, которому он отдал дань книгой своих воспоминаний и романом «Пнин», — это был отход в сторону, вероятно, нужный ему, но о котором почти нечего сказать: эти книги останутся на полках, но никогда не выйдут из своих обложек, обе они бессознательно подрезали собственную судьбу.

«Пнин» (эту фамилию носил между прочим русский поэт и прозаик XVIII века, автор книги «Вопль невинности») опоздал лет на двадцать-двадцать пять, он должен был быть написан в эпоху первой книги Набокова, «Машенька», — в те времена (будем рассуждать реалистически, как того требует реалистическая повесть-роман) существовали еще рассеянные профессора и молодые, блестящие ученые, с таким энтузиазмом шедшие им на смену. В воспоминаниях, вышедших порусски под названием «Другие берега», где половина книги состоит из рассказов о гувернантках, а на обложке почему-то изображена царская корона, сделан тот же упор на ценность факта и его объективное значение; обе книги — вне своего времени, и сейчас, в свете происшедшего позднее, кажутся вне самого Набокова. Мимо них, вне их, однако, обещания, данные двумя американскими романами, были сдержаны.

«Лолита» появилась впервые в Париже, в 1955 г. на

английском языке, на котором и была написана. В 1958 г. она была издана в Соединенных Штатах. Сейчас она вышла по-французски, готовится английское издание. Она переведена на многие языки. Успех ее — шумный, исключительный и долгий. По-русски, как можно легко угадать, в этом столетии выхода книги не предвидится. В послесловии к американскому изданию мы можем прочесть следующие строчки:

«Я не пишу и не читаю нравоучительной литературы и «Лолита» не тянет за собой нравственных поучений. Для меня литературное произведение существует постольку, поскольку оно дает мне то, что я простейшим образом называю эстетическим наслаждением, т. е. такое ощущение, при котором я где-то как-то нахожусь в соприкосновении с иными состояниями сознания, для которых искусство (иначе говоря: любопытство, нежность, доброта и восторг) является нормой. Таких книг немного. Всё же остальное либо хлам, имеющий местное значение, либо то, что некоторые называют «идейной литературой», и что очень часто опять-таки тот же хлам, представляющийся в виде громадных глыб старой штукатурки, которые со всеми предосторожностями передаются одним поколением другому до тех пор, пока кто-нибудь не придет с молотком и не трахнет по Бальзаку, Горькому и Манну».

Так говорит Набоков в своем послесловии, и так как он до сих пор никогда прямо не говорил о том, для чего он пишет, эти строки для его русских читателей будут особенно важны. Признание сделано: он пишет для наслаждения, т. е. так, как писали Сервантес и Шекспир, Пушкин и Шиллер, Бодлэр и Блок. Шиллер именно этими же словами говорил о своем творчестве: цель искусства для меня есть особого рода наслаждение. Вспомнить эти слова Шиллера, прочесть строки Набокова — всё равно что распахнуть окно из душного, пропахнувшего мышами и нафталином, затянутого паутиной дома. Скоро сто лет как целые толпы людей, от Чернышевского до Дудинцева, в России, пишут так, как если бы не было никогда никакого Шиллера, и будут вероятно еще долго писать, как если бы не было никакого Набокова. Но когда-нибудь... когда-нибудь... несомненно придет человек с молотком и трахнет по нравоучительному хламу, копаясь в котором люди сто лет пытались разрешить вопросы: что делать? и кто виноват? И окажется, что при русской литературе целое столетие состоял еще какой-то приросток, словно в честной семье — побочный сын, отравивший вкусы и умы несколькими поколениями.

Д. Г. Лоуренс, один из замечательных писателей и поэтов Англии, говорил не раз о том, что в любви должен быть элемент игры и в искусстве, конечно, тоже — искусство без игры задушит нас скукой. Элемент комического присутствует в творениях гениев любой эпохи, только бесталанные люди принимают полностью всерьез и писания свои, и себя, без того «зерна соли», без которого нет живого творчества. Пушкин, Гоголь, Достоевский это хорошо знали, но это не всегда было дано Лермонтову, который при всем чудесном строе своего таланта, когда переводил Гейне, не мог передать его печальной иронии, о чем свидетельствует «На севере диком», где от «зерна соли» не осталось ничего и где кажется, будто две особы женского пола скучают и хотели бы поговорить друг с другом. Начиная с Лермонтова (к слову сказать) русские переводчики почти всегда делали иностранный текст более вялым, пуританским, скучным — безотносительно к качеству перевода — лишали его улыбки, если она была, или намек на нее, если она только подразумевалась. Это продолжается по сей день, когда переводят, почему-то особенно полюбившегося нашим поэтам 50-ых годов, умершего 30 лет тому назад Рильке, отнюдь не пуританина и человека весьма иронического. Можно представить себе, что и «Лолита» по-русски будет звучать иначе, чем она звучит по-английски, без того жесткого и смешного «духа Аристофана», который нескольких критиков заставил назвать роман «комической книгой».

Всё это сказано для того, чтобы перейти к иронии Набокова, обернувшейся в «Лолите» одним из основных элементов романа, связывающим его с гениями нашего прошлого, с Достоевским не меньше, чем с Гоголем, и — глубочайшими и сложнейшими нитями — с Андреем Белым. Юмор уже в первых книгах был присущ Набокову, о связи его с Гоголем несколько раз писалось, но после «Лолиты» сомнений не может быть, что (тихую сапою, незаметно для самого Набокова) Достоевский заразил его самой субстанцией своего комизма и что такие строчки Достоевского, как история сооружения водосточной трубы в городе Карлсруэ или рассуждение о красоте русского женского лица («несколько на блин сводится и возбуждает в мужьях печальный индифферентизм, который столь способствует развитию женского вопроса») звучат из того же источника, что и юмор «Лолиты». Что касается «Петербурга» Белого, то этот роман послужил неким катализатором для всего творчества Набокова, и это особая большая литературно-исследовательская тема, которой ка-

саться мимоходом я не смею. Можно только констатировать тот факт, что налицо имеется цепь: Гоголь-Достоевский-Белый-Набоков. Как бы сам Набоков ни относился к «Петербург», этому сумбурнейшему из русских романов, кстати не имеющему окончательной редакции и существующему в четырех различных видах, пора признать, наконец, что, написанный до великих романов нашего века или в то же время, что и они, «Петербург» не только может выдержать сравнение с ними, но он кое в чем и предвосхитил их, содержа все четыре новых элемента литературной периодической системы. Но в то время, как Дороти Ричардсон, Пруста, Джойса, первый роман Сартра (особенно близкий «Петербург») можно найти во всех библиотеках мира, о них пишутся диссертации, три поколения приняли их, как нечто драгоценное, нужное и в высшем смысле современное, Белый забыт у себя на родине и только-только начинает проникать на Запад. «Петербург», отраженный в «Приглашении на казнь», в некоторых рассказах Набокова и, наконец, в «Лолите», — это то, что крепко связывает Набокова с великой русской литературой прошлого.

Значит ли это, что я рассматриваю «Лолиту», как русский роман, а Набокова — всё еще как русского писателя? Ответить на этот вопрос хочется с полным чувством ответственности.

За последние двадцать-тридцать лет в западной литературе, вернее — на верхах ее, нет больше «французских», «английских» или «американских» романов. То, что выходит в свет лучшего — стало интернациональным. Оно не только тотчас же переводится на другие языки, оно часто издается сразу на двух языках, и — больше того — оно нередко пишется не на том языке, на котором оно как будто должно было бы писаться. Уже в конце прошлого века были такие писатели, как Конрад, но причины того, что он никогда не писал по-польски и начал писать по-английски не совсем те, какие были у Уайльда — когда он писал по-французски, у Стриндберга — когда он писал по-немецки; в этом смысле Уайльд и Стриндберг настоящие предтечи нынешних космополитических писателей; в свое время, если бы Джойс знал в совершенстве французский язык, он вероятно написал бы своего «Улисса» по-французски, как сейчас по-французски пишет Беккет. Но никому в голову не придет задать вопрос: потерял ли Беккет для английской литературы? Он — там, он — здесь, и в конце концов дело больше не в языке — язык перестал играть ту узко-национальную роль, какую играл 80

или 100 лет тому назад, границы европейских языков постепенно стираются и вероятно через тысячу лет... Но это к нашей теме не относится.

Четыре элемента проходят мимо языка, не задевая его органической сущности. Конечно, материалом язык остается, но не в той степени, в какой это было когда-то. Писателей типа Лескова, Ремизова, Замятина, писателей чистого «сказа» трудно себе сейчас представить — не эти узоры существенны, существенным стало что-то совсем другое и вряд ли можно ожидать «наслаждения» — как для самого творца, так и для читателей — от языкового и только языкового эффекта, не поддержанного ничем другим. Нельзя забывать и того факта, которого вовсе не знали в прежние времена, что многие книги гораздо больше читаются и ценятся в переводах, чем в оригиналах, что по различным причинам в Ирландии не читается Джойс, в Соединенных Штатах — Миллер, в России — Набоков. Но для нас, живущих на Западе не в качестве туристов, не так как жила здесь Тургенев и Гоголь, Набоков — и русский, и не русский писатель, европейский, западный, наш, сегодня случайно пишущий по-английски, позавчера написавший повесть по-французски и завтра — снова автор русских книг. И «Лолита» столько же европейский роман, сколько и американский, сколько и русский — для того, кто не перестает, несмотря ни на что, считать Россию частью Европы, и непременно, и существенной ее частью.

2

От Аристотеля до советского профессора Л. Тимофеева (ныне благополучно здравствующего) философы, теоретики и историки литературы стояли на той точке зрения, что форма и содержание литературного произведения неотделимы друг от друга и не могут рассматриваться отдельно и независимо друг от друга, но побочные дети русской литературы (о которых было говорено выше), вооружившись ножницами, вот уже более столетия режут по живому телу всё, что им ни попадает под руку. Я не хочу сказать, что мы, рассуждая о литературном произведении, непременно должны принять формулу Аристотеля (фабула, характеры, разумность, словесное выражение, музыкальность) или Тимофеева (содержание есть переход формы в содержание, форма есть переход содержания в форму), но мы не можем не признать, что и в той, и в другой есть истина. Форма-содержание, в своем единстве, может быть рассмотрена в нескольких отрезках — пяти, десяти

или двадцати, — где переход от одного отрезка к другому будет тем незаметнее, чем больше будет число отрезков, и так постепенно наметится путь, по которому пройдет анализ. Вся цепь образует некий лабиринт сцеплений, который поведет от первой ступени рассуждений — сюжета — к последней — раскрытию мифа. Размеры этой статьи ограничат анализ «Лолиты» шестью ступенями, где второй ступенью будет «внешнее содержание», третьей — «внутреннее содержание», четвертой — «внешняя форма» и пятой — «форма внутренняя», когда придет время сказать о том, каким символом, образом, какой идеей произрастает произведение, или может быть не произрастает, а только указывает направление, где лежит одна из названных категорий.

Сюжет может быть передан в нескольких словах. В н е ш н е е с о д е р ж а н и е лежит сейчас же непосредственно за сюжетом, оно «содержит» в себе больше, чем сюжет, оно связано с чем-то, что было до данной книги и будет после нее, это — смысл, который виден простым глазом. В т о в р е м я, к а к в н у т р е н н е е с о д е р ж а н и е простым глазом видно не всегда, и оно раскрывается в некоторой траектории побуждений и действий героев, в том зерне, которое каждый раскрывает для себя. В н е ш н я я ф о р м а касается стиля, тона, словаря и композиции вещи, это тот первый слой, который выявляет индивидуальность автора и его героев. В н у т р е н н я я форма есть вскрытие приемов, вскрытие второго слоя, вскрытие момента, когда из «глыбы» появляется «профиль», после чего остается один шаг до раскрытия интуиции раздробленного (или целостного) мира, до полного обнажения неразрывности формы-содержания.

Сюжет «Лолиты» — любовь сорокалетнего человека к двенадцатилетней девочке-нимфе, вернее — сладострастие, переходящее в любовь. Некоторые американские критики считают, что Набоков нуждается в оправдании, и выражали мнение, что так как «адюльтер», т. е. измена в браке, отпал, как литературная тема, среди многих других, и больше не задевает ни наших чувств, ни нашего воображения, то позволительно искать новые драматические положения. Действительно, время от времени литературные темы отпадают, подрезанные самой жизнью, и «адюльтер» — одна из таких тем, хотя ее еще п о н и м а ю т. Из ситуаций, которые всё труднее понять, можно к примеру назвать ситуацию Декамерона: удалившись из зараженной чумой Флоренции, кавалеры и дамы стали рассказывать друг другу забавные истории — насколько

интереснее было бы, если бы они в этой Флоренции остались и рассказали нам про чуму! Но раз отпал «адюльтер», то писатель ищет новых положений. И критики пытались объяснить сюжет «Лолиты» поисками автором оригинального сюжета. Вряд ли это звучит убедительно. Во первых, у Набокова и раньше мелькала, если не склонность героев к слишком молодым героиням, то во всяком случае — некоторый интерес к ним. Во вторых, как бы ни относиться к этой теме, она не нова и вряд ли у Набокова было желание поразить нас новизной. Достоевский, с которым Набокова связывает, как мы видели, природа его иронии, два раза писал о том же, при чем во второй раз, в «Исповеди Николая Ставрогина», мы поставлены перед лицом наиболее «набоковского» героя из всех героев Достоевского, — в том смысле, как позволительно героев «Крейцеровой сонаты» определить как наиболее «достоевских» героев Толстого.

Достоевский пишет:

«Я тихо сел подле нее (Матрешы) на полу... Она вздрогнула... Я взял ее руку и тихо поцеловал... Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами, а губы стали дергаться, чтобы заплакать, но всё-таки не закричала. Я опять поцеловал ее руку и взял ее к себе на колени... Я что-то всё шептал ей, как пьяный. Наконец, вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление: девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама... Когда всё кончилось, она была смущена».

И эту же самую ответственность девочки, только в более обнаженном виде, мы встречаем в ранее написанном «Преступлении и наказании»:

«Ему вдруг показалось, что длинные черные ресницы ее как будто вздрагивают и мигают, как бы приподнимаются и из-под них выглядывает лукавый, острый, какой-то недетский подмигивающий глазок... Что-то нахальное, вызывающее светится в этом совсем не детском лице... Вот уже совсем не таясь открываются оба глаза, они обводят его огненным и бесстыдным взглядом, они зовут его...».

Ту же ответственность, хотя и менее простодушную, встретил и Гумберт Гумберт в Лолите.

Чтобы быть с ней, он женится на ее матери. Мать умирает — он остается с Лолитой вдвоем, но она уходит от него к сопернику. После долгих поисков, он снова находит ее: она замужем, она ждет ребенка. Он понимает, что любит ее и

предлагает ей вернуться к нему. Она отказывается. Он убивает человека, который взял ее у него. Его арестовывают.

Таков сюжет. Но за ним открывается второй план романа — и в этом плане мы видим, что «Лолита», как многие другие книги Набокова, книга о двойнике. Двойник — громадная, жизненная, внутренняя тема Набокова, о двойниках его мы знали до «Лолиты», в «Соглядатае» был двойник-идеал, двойник-совершенство, в «Отчаянии» была как бы мечта о двойнике, которая рассыпалась прахом, которая оказалась миражем, в «Приглашении на казнь» есть раздвоенность, которую невозможно доказать, можно только почувствовать, в «Подлинной жизни Себастиана Найта» два автора пишут одну и ту же «жизнь» — на самом деле, конечно, всего один, но в двух своих аспектах. И даже в «Зловещем изгибе» имеется тетка, который принадлежит к той же серии кошмаров, таинственно соединенных между собой и с тем, сто лет тому назад жившим призраком, о котором было сказано: «Он хотел закричать, но не мог, — протестовать каким-нибудь образом, но сил не хватило. Волосы встали на голове его дыбом, и он присел без чувств на месте от ужаса. Да и было от чего, впрочем. Он совершенно узнал своего ночного приятеля. Ночной приятель был не кто иной, как он сам, ...совершенно такой же, как и он сам, — одним словом, что называется, двойник его во всех отношениях».

И дальше: «Тот, кто сидел теперь напротив господина Голядкина, был — ужас господина Голядкина, был — стыд господина Голядкина, был вчерашний кошмар господина Голядкина, одним словом — был сам господин Голядкин».

Последнее звено в цепи двойников Набокова — Гумберт Гумберт и его соперник; второго невозможно мысленно оторвать от первого, ни когда Гумберт впервые видит его в приемной гостиницы, ни когда он следит за ним на теннисе, ни когда он, наконец, убивает его. И когда Гумберт Гумберт спускается по лестнице вниз, сперва измучив, а потом застрелив противника, кажется, что он сам залит своею собственной кровью, и теперь идет умирать куда глаза глядят. «Лолита» — не только роман о любви, но и роман о двойнике, о двойнике-сопернике, о двойнике-враге, которого убивают не в честном бою, не на благородном поединке, но после гротескно-комической сцены, как животное, в полубессознательном состоянии, почти в присутствии других таких же полубессознательных животных; и всё это для того, чтобы освободиться от него в себе самом, чтобы выйти из ада, чтобы в двойнике убить себя.

Освобождение. Очищение. Современная литература за последние десятилетия «отменила катарсис», но Набоков возвращает нас к нему. Сладострастие переходит в любовь и соперники сливаются в одно целое, пока один не уничтожает другого. Гумберт выходит к своему автомобилю, он никогда больше не увидит свою Долорес, свою Ло, Лолиту, Долли, ехать ему некуда и делать ему нечего. Он даже не знает, в сущности, ехать ли вообще куда-нибудь, и как это делается, и если есть правила управления автомобилем и законы езды, они более для него не существуют. Не существует мира, всё соскочило со своих мест и треплется по ветру, вся солнечная система требует отвертки, чтобы ее подвинтить заново. А пока, по развинченной вселенной, Гумберт Гумберт тихонько едет не по той стороне, по какой надо, и его останавливают, останавливается машина, заведенная более сорока лет тому назад. «Взгляните на эти тернии, господа судьи!».

В этом третьем плане явственным видится момент катарсиса, который до Набокова писатели XX века (в том числе и Андрей Белый) не могли сочетать с интуицией разъяренного мира, и который у Набокова не только не противоречит ей, но глубочайшим образом поддерживает и осмысливает ее.

Первая нота, и может быть — самая пронзительная — дана с магической силой в самом конце первой части романа, первый намек на очищение, которое вдруг начинает брезжить в будущем. Лолита узнает о смерти своей матери, у нее на свете нет никого, кроме Гумберта. Он с ней — отчим, опекун, развратитель, любовник, — и они занимают в гостинице два смежных номера. И вот Лолита среди ночи сама приходит к нему рыдая: «Вы понимаете, — ей абсолютно больше некуда было идти».

Дана нота, из которой начинает расти мелодия — жалости, страдания, обожания, ревности, сладострастия, безумия и нежности. Мы уже знаем, что Гумберт Гумберт на пути к величайшей жалости от величайшего эгоизма (в смысле онтологическом, не психологическом) и мы знаем, что он это знает, потому что именно здесь начинается тема двойника. И тут исповедь Гумберта (которую он пишет в тюрьме) медленно начинает переходить в рыдание, в вой. В этом мире, где в сё можно делать, где воистину в сё позволено, если осталось неузнанным, в мире где не только никто не верит в Бога, но никто даже не задает себе вопроса, есть ли он или нет его, в этом мире, где так легко скрыться в огромных простран-

ствах, где никому не надо давать отчета в своих поступках, где нет больше голоса совести, потому что при полном одиночестве, какая же совесть? — в этом мире вдруг начинается таинство жалости, ужас перед тем, что сделано, начинает кровоточить совесть, пока всё не кончается в дикой схватке с самим собой.

Но что же это за вселенная, в которой можно жить, как хочешь, вне законов, вне людей, вне «неба», без дома для дочери и отца, без школы для девочек, без постоянного труда, забот, обязанностей? Где врага убивают, не приведя его в чувство, где можно шагнуть через всё и остаться целым? Да это всё тот же наш мир, к которому мы приучены через интуицию его разъятости за 30-40 лет. Это тот же мир, о котором мы столько читали, старый наш мир, в котором мы родились (с веком вместе) — только у Набокова он получил с м ы с л, потому что ему возвращен теперь катарсис. Всё зло, весь ужас, все преступления вдруг оказались призрачными и, как в «Приглашении на казнь» Цинциннат, так и Гумберт Гумберт пошел наконец мимо всех декораций туды, где встало над ним «неподвижное солнце любви».

Таково то зерно романа, о котором было сказано в связи с третьей ступенью моего плана, зерно, заложенное в побуждениях и действиях героев, и которое составляет «внутреннее содержание» «Лолиты». Перейдем к тому, что можно назвать стилем книги.

Принимая во внимание, что каждый отрезок рассматриваемого пути от сюжета к мифу сложной сетью соединен со всеми другими, не удивительно, что кое о чем уже было говорено из того, что имеет отношение к тону, языку, и обрамлению «Лолиты».

Тон может быть ведущий и подсобный — т. е. играть важную роль в окраске всей вещи или только быть необходимым связующим началом в повествовании. В «Лолите» он — ведущий, он придает ей основную интонацию и даже мимику, и сливаясь с сюжетом делает книгу тем, что она есть. Рассказ ведется от первого лица и мы столько же знаем о герое по его тону, сколько и по событиям, в которых он был действующим лицом. За интонацией и мимикой следует жест. Все три фактора дают нам человека, Гумберта Гумберта, пишущего в тюремном заключении свою исповедь. Ирония, как уже было сказано, играет здесь громадную роль. Ее дают нам очень часто контрасты. О себе Гумберт говорит то как о мученике в терновом венце, то как о волосатой обезьяне. Само его имя иронично, в то время, как имя Лолиты Хэз вы-

зывает поэтические ассоциации (дымка, легкий туман). Слова и фразы соединены не столько по принципу логики, сколько по принципу звукового жеста, звуковых и иных ассоциаций, игра слов, каламбур, паронимазия следует иногда в тесном соседстве, образуя особенность словесной ткани. В иронию врывается патетика, нечто мелодраматическое, которое в контрасте действует особенно сильно и которое часто заканчивается скрытым языковым абсурдом, придавая пряность рассказу. Всё это неслучайно, во всем этом есть построение, без которого нет искусства, которое делается, как известно, не из искренних чувств, а из слов и приемов, точно так же, как музыка делается из звуков и их сочетаний. У Гумберта Гумберта есть колоссальная произносительная сила, которой мы подчиняемся с первой страницы, она дана в первой фразе, она почти не нарастает, а ирония, наоборот, уменьшается к кульминационному пункту романа, чтобы затем, к концу, опять подняться до прежнего уровня. Временами сквозь иронический, патетический, мелодраматический тон начинает сквозить нечто уродливое, звериное, страшное, а иногда (как у Белого) и идиотическое. Все эти элементы слиты, и в конце появляется несколько даже преувеличенно спокойная «кода». Через весь роман проходит струя поэзии, к которой Набоков приучил нас в прежних своих романах, эта поэзия не привносится извне, она присутствует всё время, как подземный ключ, временами выходящий наружу. И всё это существует слитно и сложно, образуя единство музыкальное и живописное.

Если в «Лужине» и в «Отчаянии» всё было построено на ошибке, то здесь есть фатум, рок, и о нем сказано с большой силой. Если во многих прежних вещах Набокова сквозила громадной мощи жажда собственного разрушения, то здесь мы видим жажду разрушения двойника-соперника, то есть ту же жажду, но замаскированную. Для этого найдены слова и английский язык не только творчески изучен и усвоен, но и сотворен как бы впервые — о чем многие критики писали, констатируя исключительность этого факта. Темп и ритм повествования носят на себе следы авторской личности, словесная основа дает нам юмор и драму, сливая чувства героя, факты романа и творческий напор автора в одно. Набоков сам ставит себе пределы и дает законы (как делали это Джойс, Матисс, Шенберг) и сам, когда надо, преступает их. Из этих законов в будущем возникнут новые приемы — у него и у других — как возникли они у Набокова, рядом с уже существовавшими прежде.

Важнее рассмотреть именно эти новые приемы, чем говорить об эволюции прежних. Нас интересует, как из «глыбы» появляется «профиль» — приемами Набокова, собственными, его. И тут надо сказать, что он создал их немало, из которых три основных постепенно оформились в течение всего его писательского пути. Их мы теперь находим и в «Лолите». Он придумал их и о них здесь пишется впервые и поэтому мне придется давать им названия.

Первый назовем «растворенный эпиграф». Эпиграфа у «Лолиты» нет, но он сквозит на каждой странице, он играл у Набокова в мозгу, когда писался роман. Он без остатка растворился в тексте, а мог бы стоять под заглавием — но нет, он там не стоит. Откроем книгу на любом месте — и мы видим, как растворенный эпиграф окрашивает его, как обогащает, как поэтизирует книгу. Вспомним фабулу: человек зрелый, носящий в себе «порчу», которую он сам сознает, с дикой, необузданной силой влюбляется в двенадцатилетнюю девочку, олицетворение прелести, очарования и женственности, но не невинности — об этом не сказано нигде и это Гумберта Гумберта не интересует. Где-то в памяти его живет, не переставая, не умирая ни на один день, и даже не бледнея, образ — миф его первой любви. Лолита, Ло, Лола, Долорес, Долли — воплощение когда-то не до конца осуществленного счастья «у края приморской земли», в некоем «королевстве». Там жила Аннабель Ли (только не Lee, а Leigh), ребенок, как и он сам, и было детское чувство, прерванное разлукой, объятие, прерванное людьми, смерть девочки в Греции. И через всё это пущена как бы стрела ассоциаций, которая мчит нас до цели — самого Эдгара По и его ребенка-жены. Привкус эпиграфа мы ощущаем всё время, он присутствует в книге и в ней присутствует сотворенный им миф. Это растворение эпиграфа — один из трех главных приемов Набокова, которые были открыты и использованы им. До сих пор мы знали два рода эпиграфов: прямой (к «Анне Карениной») и под углом (к «Пиковой Даме»). Теперь у нас есть третий, растворенный в тексте эпиграф.

Второй прием Набокова тоже требует названия. Это — «образы-гурии». Все писатели хранят в своих кладовых малые и большие образы, символы, метафоры — и многое другое, чему названия можно найти в учебниках теории литературы. Самый известный пример Пушкин: один раз, два раза, три раза пользовался он своими реминисценциями, наконец — пародировал их, и они умирали. Но Набоков берет в свои книги уже использованное им, словно в первый раз,

мы узнаем этот знакомый образ, ему двадцать, а может быть и тридцать лет, но мы рады встретиться с ним опять — как будто впервые — он не только не потерял свою свежесть, он свежее прежнего, он знаком нам, и одновременно волнует нас новизной. Значителен он, или совсем мал — он носит на себе ту же благодать. Нет причины, чтобы эти образы-гурии лишились жизни и прелести, превратились в пыль и исчезли, — они сохраняют свою первозданную силу, будто появляясь в первый раз. Среди них есть основные, важные, идущие во всеоружии своей яркости и звучности, своего поэтического и драматического смысла, и есть другие, которые стараются тихонько пробежать мимо, едва задев наше внимание. Мы ловим их и заново любимся ими, не потускневшими на свету, не помятыми вихрем, который несет их из книги в книгу; они невинны, как в первый день творения, и даже малые — значительны в повествовании. Вот некоторые из них: миф страшной силы детских впечатлений, обид, желаний, играющих роль позже, в определенный момент; влечение пожилого человека к подростку; миф выдуманного языка никогда не бывшей народности, упавшего в книгу из несуществующего словаря; образ бабочки с замысловатым названием, порхающей здесь и там на протяжении трех десятков лет всё с той же нетронутой пылью на крыльях; символ шахматной игры, как путь в математический мир, пересекающий мир вещный; образ «первого лица» или героя, возникающего в конце (или имени, раскрытого в финале); таинственный (для непосвященных) спелый фрукт, имеющий важный смысл в разворачивании сюжета, замененный в «Зловещем изгибе» фонарем; образ райского блаженства меры, точности и благородства — игра в теннис; подземный ход по принципу «туда — далеко, обратно — близко», мучительное проползание ночных мыслей, в inferнальный путь которых захвачен читатель, превращенный на это время в ползущее, безногое и безрукое существо. И более мелкие: женские зубы, испачканные губной помадой; сильные и прыщавые молодые люди, враги автора, на границе начинающегося кошмара; разговоры героев с читателем, а иногда (как в «Лолите») и с наборщиком. И многие другие, идущие из романа в роман и частью дошедшие до последней книги, показанные нам с разных точек своей трех-и четырехмерности.

Третий прием — «рифмо-ритмический», в прежних романах Набокова он был нам хорошо знаком, в «Лолите» он занимает гораздо большее место и не столь прочно связан с лирической минутой героя, но он связан с мифом о том, что

каждый человек может быть поэтом. В «Даре» Годунов-Чердынцев выпадает на минуту из нашего мира в другой, блаженных звуков и райских слов, когда говорит о своей любви к Зине Мерц словами такой поэтической нежности и каламбурной прелести, которые не легко забыть («полумерцанье в имени твоём»). В «Лолите» Гумберт Гумберт дает читать свою поэму двойнику-сопернику, прежде чем убить его, — он писал стихи и прежде, но то было в минуту волшебства и безумства, теперь же перед нами комическая поэма о преступлении и страдании, которую невозможно читать без смеха, зная уже, как всё должно кончиться для каждого из действующих лиц. Но ощущение такое, словно обезумевший маятник летает над нашей головой, от комического к трагическому, от Аристофана к Софоклу и обратно, нас бросают то в лед, то в кипяток, вверх и вниз, пока всё наконец не прерывается сценой убийства в этом странном доме, где люди еле двигаются в тяжелом дурмане, хозяева и гости, будто не прикреплённые ни к чему, сквозные омертвевшие ненужности.

Эти рифмо-ритмические интермедии, прерывающие исключительной силы мимико-произносительную возможность Гумберта Гумберта — последний прием Набокова, на который мне хотелось указать здесь. Размеры статьи ограничивают этот разбор тремя приемами.

3

Последняя ступень, на которую теперь предстоит подняться: осмысление формы-содержания романа, указание направления, куда произрастают символы и идеи произведения, — как ни странно это сказать — наименее «демократическое» место в разборе литературного произведения, или даже — наиболее «анти-демократическое» его место. Это странно потому, что приходится констатировать любопытный факт, что в то время, как жизнь в государственном, бытовом и личном своем строе на наших глазах определенно «демократизируется», современная литература не следует этому пути и всё более развивается по принципу: «кто может — тот поймет, а кто не может — тому и объяснять нечего». Напрасно было бы скрывать, что пятнадцать томов Пруста доступны не всякому, даже превосходно владеющему французским языком, а из книг Джойса одна требует нескольких месяцев напряженного внимания, а другая — нескольких лет изучения и нескольких томов комментариев.

Приходится признать, что для современной литературы нужна некоторая подготовленность. «Дубровского» понимают все, а «Мемуары Мартынова» — один из двадцати, вне зависимости, что «лучше» и что «хуже». Есть люди, которые живут целиком вне современного искусства, полагая, что Бетховена и Шопена в XX веке заменил джаз, обсуждая устно и в печати, кто из двух — Гладков или Фадеев — наследники Тургенева и Толстого, и горюя о том, что ни у Шишкина, ни у Айвазовского не нашлось достойных последователей. Их вовсе не так мало. «Лолита» может попасть в руки и им. Книга, конечно, не требует ни комментария, ни специальной подготовки, но некоторая подготовленность к ней несомненно необходима, и если ее нет, трудно вообразить себе читателя, который с первого раза всё поймет, всё заметит, всё оценит и всё разгадает. Но нельзя забывать, что чем больше будет в этой книге разгадано и понято, тем больше будет и наслаждение от нее.

Что стоит, например, одно имя Квилти, незаметно промелькнувшее в первый раз, потом пробежавшее в тексте, как яркая шерстинка в домотканном сукне, потом вспыхнувшее, как молния, в нужном месте, и наконец прозвучавшее раскрытым ребусом в кульминационном пункте романа? Или одна из самых острых сатир на современную жизнь — деятельность детектива, механически рассчитанная на среднего человека, как автомат, работающий, когда в него бросают деньги, но оказывающийся совершенно бессмысленным, если в него бросить пуговицу? Механизация не-механизируемых явлений оказывается абсурдом в последней, можно сказать, дурацкой своей сущности. Или уже упомянутый разговор с наборщиком, который, при невнимательном чтении может не дойти до читателя, хотя именно в этом месте в нас просыпается первое сочувствие к страданию и — параллельно с ним — наслаждение этим сочувствием, неперенное условие читательской реакции на произведение с трагической основой? Каждый ли заметит героя предисловия, о котором сказано вполне достаточно, чтобы его не забыть. Набоков выпустил его из той самой клетки, где хранятся и другие члены интернационала пошляков, целеустремленных молодых людей, воплощающих скуку и здравый смысл мира. И наконец, сможет ли каждый читатель с первого чтения уследить, когда Гумберт Гумберт начинает превращаться в свою противоположность, когда он начинает выходить из ада желаний и круга преступлений и переходить на ту сторону жизни, где он не только может свободно желать гибели, но и искать, и найти ее.

Всё это происходит в мире, не имеющем никакого смысла, и вместе с тем — Набоков есть оправдание целого поколения. Быть может, это звучит, как парадокс, но это не парадокс. Он принадлежит к поколению, для которого граница между Аристофаном и Софоклом стерта, как она стерта для Ануя, Стравинского и Мило. В последней главе «Улисса», в бессмертном монологе Молли, по щемлящему комизму напоминающему разговоры Дон Кихота Ламанчского, также стерта граница, и в исповеди Гумберта Гумберта этой границы нет, но есть трубы рока, которые слышит «тварь дрожащая», та «тварь дрожащая», которая одновременно есть и некий одушевленный мотор внутреннего сгорания.

В этих «трубах рока» надо искать то направление, где лежит одна из упомянутых выше (в связи с последней ступенью анализа) искомым категориям. Когда мы говорим о современной литературе, необходимо различать две группы ее создателей: одни «отменили катарсис», другие — к которым принадлежит и Набоков — возрождают его. Одни ищут несуществования, другие существуют в хаосе, но существуют. Одни ничего не хотят, другие хотят всего и от каждой минуты требуют абсолюта. Одни испытывают тошноту при виде мира и себя, других мир возбуждает и они хотят и слиться с ним и взорвать его, а вместе с ним и себя. Одни не желают даже самоубийства, потому что лопух-то ведь всё-таки вырастет, а значит будет продолжаться и жизнь, другие идут в борьбу с двойниками, с самим собой, с кошмарами до конца, и обычно погибают, не заботясь о лопухе. Сила желаний, жажда, жадность ведут их в страсти и борьбу, а страсть и борьба приводят к очищению. Мужественность, бие пульса, страдание характеризуют их, и мы видим бесстрашие их в мире, где всё — недоразумение, всё — случайность; но мир не может не существовать и потому тем ответственнее, тем интенсивнее и даже тем веселее жить в нем. Герои первой группы утратили жизненную потенцию, потеряли вкус и способность выбора, они становятся некой «метафизической гадостью», которая ничем не может прервать мерзкого для них, отвратительного произрастания во времени, поступательного движения, закона необходимости. Герои второй группы живы в своем беззаконии, расщеплены в раздробленном мире, и в них материя находится в процессе перехода в энергию. Новые Тезеи, Тристаны, Прометеи — они создают собственные мифы, а если не всякий увидит их, то по крайней мере почувствует направление, куда нужно смотреть. Если для самого Набокова его искусство: любопытство,

нежность, доброта и восторг, то для нас его искусство: символ, мера, ирония и судорога.

К этому нас приводят намеки и ребусы, которые не всегда легко обнаружить. Вспоминается другая книга, которая состоит исключительно из ребусов — «Бдение у гроба Финнегана» Джойса. Но Джойс занят коллективным опытом всего человечества за пять тысяч лет, читая его приходит на ум и «Одиссея», и «Чистилище», и Периодическая система Менделеева, и «Дева Радужных Ворот» Соловьева; он отрицает ассоциации идей и идет от одного словесного каламбура к другому. Набоков же не интересуется коллективным опытом, для него цепь ассоциаций всех возможных родов есть основа творчества, как и память, и он не ставит перед собой контрапунктных задач. И в то время, как Джойс на каждой странице своего романа вплетает китайский и санскритский языки в общую систему индо-европейских языков, Набоков говорит: «Я оставил мой родной язык, мой вольный, богатый и бесконечно послушный русский язык для английского, лишенного всей этой аппаратуры — зеркала, полного загадок, заднего фона из черного бархата, всех подразумеваемых ассоциаций и традиций, — аппаратуры, которой туземный фокусник с развевающимися фрачными фалдами умеет волшебным пользоваться, переступая пределы унаследованного им сокровища так, как ему вздумается».

Но несмотря на эту разницу, у обоих авторов под текстом, за текстом, между текстом и над текстом больше, чем в тексте самом. Оба ушли от старой поэтики, для обоих реалистическая основа искусства расшатана (отчасти, конечно, ими же самими), разложилась, и из этого тлена возникла другая (с их помощью, конечно). «Такие, как мы с тобой, старят мир», — сказал однажды влюбленный герой своей подруге, и Джойс, и Набоков оба «старят мир». Но не пора ли миру и в самом деле выйти из пеленок? И тогда может быть понятнее станет тот «культ настоящего», о котором еще Герцен говорил в первой главе «С того берега». Он не был услышан в должную меру, как не был услышан и Белый, тоже — в стихах и прозе — мятущийся между мерой и судорогой и тоже, как и Набоков, каждой строкой своей свидетельствующий о цельном и свободном эстетическом замысле своих вещей, об их динамике, когда акт творчества несется сам и несет нас своей силой. Мы присутствуем при тайне, которая для нас становится явной: вот создается слово, вот символ, вот мысль, которая еще никогда не была выражена, и

мы убеждаемся, что материал обладает своей истиной, когда он сливается с замыслом.

Американская критика была разноречива в оценке «Лолиты» и напоминает слегка записи современников о внешности Гоголя: голубые глаза, серые глаза, темные глаза, небольшой рост, маленький рост, приятный голос, необыкновенно противный голос, одушевленное мыслью лицо, совершенно неподвижное лицо и т. д. Первым изданием по-английски роман вышел в Париже, вторым — в США. Успех книги был исключительным. В Париже издатель был привлечен к суду и выиграл дело, в Англии книга выходит после дебатов в английском парламенте. Она разошлась во многих сотнях тысяч экземпляров. Вот что писала критика:

«Единственное классическое произведение, вышедшее на моем веку».

«Жалею, что это издали, жалею, что это написали».

«Сатирическая комедия, очаровательно написанная».

«Благородный роман».

«Символическая книга».

«Великая книга».

«Во многих смыслах самый замечательный и конечно самый оригинальный роман, написанный по-английски за последние годы».

«Воистину, очень смешная книга. Один из самых смешных серьезных романов, какие я читал».

«Большое литературное событие».

«Сильная книга. Беспокойная книга».

«Первоклассная сатира на европейские привычки и американские вкусы».

«Если ужас — доминирующая нота в этой книге, то она далеко не единственная. Величайший виртуоз стиля, Набоков написал исключительно комическое произведение и его юмор весьма многогранен».

«Необыкновенная книга, неотвязная, страшная. Дьявольский шедевр».

«‘Лолита’ — не о поле, но о любви. Это делает книгу исключением среди современных романов».

Из этих высказываний ничего нельзя вывести, кроме того, что книга шумит, беспокоит, что ее читают, что ее любят и не любят. Споров о том, что это роман — нет, хотя в свое время, лет двадцать тому назад, Сартр утверждал, что Набоков пишет «анти-романы», т. е. как и многие его современники, писатели Запада, «изнутри разрушает» сам свои книги; романы Жида, Набокова, Вога, по мнению Сартра, хотя и

продолжают бытийствовать, как творческий комплекс, в то же время разлагают сами себя, и по сравнению с ними романы Толстого и Мередит то же, что картины Рубенса и Рембрандта по сравнению с абстрактной живописью. По мысли Сартра, роман в прежнем смысле уже не единственная возможность, но есть новая — роман, как бы рассуждающий, как бы сам размышляющий о своем собственном существовании.

Это захватывает только ничтожную часть того, о чем можно было бы сказать в связи с творчеством Набокова, но статья Сартра, написанная как бы набегу, и не пытается заглянуть глубже. Сартр сам слишком яркий представитель «идейной литературы» (ненавистной Набокову), чтобы вникнуть в творчество русского писателя, да и симпатии его уж слишком явно на той стороне, так что он даже попрекает Набокова за то, что он «эмигрант» — что звучит комично в приложении к пишущему на трех языках Набокову. Сартр читает набегу и очевидно не имеет времени как следует разобраться в том, что читает, однако здесь будет уместно упомянуть, что из одной фразы «Соглядатая» вышла целая пьеса Сартра, одна из его капитальных вещей...

Не лишним, мне кажется, будет сказать и о том, что мысль о призрачности и нелепости мира, о которой говорится в том же «Соглядатая» («Человек, решившийся на самоистребление, далек от житейских дел и засесть, скажем, писать завещание было бы столь же нелепым, как принять в такую минуту средство против выпадения волос, ибо вместе с человеком истребляется и весь мир, в пыль рассыпается предсмертное письмо и с ним все почтальоны, и как дым исчезает доходный дом, завещанный несуществующему потомству»), эта мысль была впоследствии выражена на 300 страницах Жюльеном Грином, а из другого абзаца той же повести вышла целая серия книг, о которой писать сейчас было бы слишком длинно. Вот этот абзац (или, вернее, часть абзаца):

«...Не сдобровать отдельному индивидууму, с его двумя бедными «у», безнадежно аукающимися в чащобе экономических причин. К счастью, закона никакого нет, — зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж, — всё зыбко, всё от случая, и напрасно старался тот расхлябанный и брюзгливый буржуа в клетчатых штанах времен Виктории, написавший темный труд «Капитал» — плод бессонницы и мигрени».

Всё это — малые примеры того, как богат и щедр Набоков, и сколько может дать его ткань (напоминающая плотно-

стью сине-коричневые обюссоны Громэра) тому, кто захочет ее разглядеть. Тогда он увидит и путь развития характеров, и все приемы, и неслучайность и связность интонаций, и ему станет ясно многое из того, по чему он скользнул при первом чтении. Он увидит тогда, что Гумберт Гумберт был заложен уже и в Смурове, и в Лужине, и в Германе; что образ Долли, быть может бессознательно, развился из запавшего в память автора одного детского образа («вороватого бесенка с огненными глазками, с прелестной улыбкой, хотя часто и злой, с удивительными губками и зубками, тоненького, стройненького, с зачинавшейся мыслью в горячем выражении лица»), или еще из другого, на него похожего («детского лица ребенка, девочки, идеально-прелестного, поражающей, сверкающей красоты; локоны ее были словно вихрем разметаны... глаза сверкали»). Он также найдет генезис той раздвоенности, которая есть в «Лолите», на которой был построен незаконченный отрывок «Solus Rex» (1939), где перекрещивались два плана в строгом геометрическом бытии — план несуществующего королевства и план душной, пыльной квартиры, полной мебели и родственников. И голос, и мимика Гумберта Гумберта уведут читателя не только к шуточкам и анекдотам «Отчаяния», но и куда-то гораздо дальше — прямо в мифологическую русскую хламиду — гоголевскую «Шинель» — из которой, как видно, не все еще вышло, чему выйти положено, и которая по прежнему хранит сюрпризы, так что когда Тургенев и Толстой будут забыты (несправедливо, конечно), сукно, выбранное Петровичем, всё еще будет цело.

Да: та же торжественность «мысленных оборотов», та же смесь мелодрамы и пафоса, те же эффекты контрастов, невозмутимого спокойствия и истерических ноток, ужаса и смешка. Та же подпочва жалости, сострадания и наслаждения от сострадания. Кто-то носился по Петербургу, как Гумберт Гумберт по Америке, и все это — в странном, зыбком, но для нас бессмертном мире, где земля кружится в сообществе других планет и все похоже на зверей из зоологического сада. И если стон Акакия Акакиевича мог заставить содрогнуться небеса, то зубовный скрежет Гумберта Гумберта может наполнить преисподнюю.

Лет двадцать тому назад, после одного литературного вечера в Париже, в кафе собрались Бунин, Алданов, Ходасевич, Набоков и я. Разговор зашел о «Севастопольских рассказах». Набоков сказал, что он никогда их не читал. Бунин в приступе ярости потерял дар речи, слезы горести встали в глазах Ал-

данова. Ходасевич засмеялся и сказал, что он этому не верит. Но я поверила, и верю сейчас, что Набоков читает только то, что ему необходимо. Он конечно никогда не читает биографий. Он никогда не читает переписки знаменитых людей. Ни политических прокламаций. Он также никогда и ни при каких условиях не читает статей о самом себе. Но он много и часто читает Гоголя.

Н. Берберова

Маленькие деревья
Не выше моего роста.
Боже, помоги неверью,
Спаси от погоста.
Карликовые березы,
Сосны их не выше.
Видишь ли эти слезы?
Боже, плач мой услыши!
Жесткие, горькие травы
И песок под ногами.
Если слова Твои правы,
Смилуйся над нами.
Бледно-линялое небо
Над водой сине-черной.
Дай мне небесного хлеба,
Смири дух непокорный.
В вечность уходит море,
Небо уходит в вечность;
Но песок, березы, горе, —
Ведь это Твоя человечность.
Господи, дай мне силы,
Спаси и помилуй.

Л. Страховский

АРАБЕСК ИЛИ АПОКАЛИПСИС?

«Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки, но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикой удовольствием, которое доставила нам его рукопись». Таким редакторским примечанием снабдил Пушкин «Нос», впервые появившийся в «Современнике», в 1836 г.

Вероятно, отсюда и пошел прочно утвердившийся взгляд на эту повесть, как на забавный анекдот, на юмореск. Через восемьдесят лет Н. А. Котляревский¹ прямо заявил, что в ней «странно было бы доискиваться какой-нибудь идеи». Не потому ли редко кто читал «Нос» больше одного раза в жизни, и то в школьном возрасте? По той же причине и исследователи мало удостаивали его вниманием. Только около сорока лет тому назад появилась первая работа специально ему посвященная. Но самым методом изучения она укрепляла тезис Котляревского и исходила из него. Речь идет о статье Виктора Виноградова «Сюжет и композиция повести Гоголя 'Нос'».² Как все работы «формалистов», она даже не ставит вопроса об идейном замысле, выводит рассказ из материала, накопившегося в литературе до Гоголя. Во всем усматривается «ходячий анекдот, объединивший те обывательские толки и каламбуры об исчезновении и появлении носа, которые у литературно образованных людей начала XIX столетия осложнялись еще реминисценциями из области художественного творчества». Виноградов обратил внимание на роль романа Стерна «Тристрам Шенди», положившего начало «носологии» в России. Он установил в гоголевской новелле наличие ряда мотивов, встречающихся не только у Стерна и его русских подражателей, но у Цшоке («Похвала носу»), у Карлгофа («Панегирик носу»), среди заметок в «Сыне Отечества», в «Прибавлениях к Русскому Инвалиду», в «Библиотеке для Чтения».

¹ «Н. В. Гоголь» 1916, стр. 235.

² «Начала» № 1 ПБ. 1921.

Эти разыскания важны и необходимы, но далеко не столь бесспорна ценность попытки вывести механизм и структуру произведения из этой газетно-журнальной литературы первой трети XIX века, которую Гоголь называл «ярмаркой и биржей, ворочающей вкусом толпы». Здесь не место распространяться о порочности и несостоятельности формального метода, усматривающего в приеме и материале самодовлеющее начало, сущность и единственный ключ к пониманию художественного произведения. В. Виноградов, один из первых «опоязовцев» понял эту несостоятельность. Но в упомянутой статье, где он выступает еще совершенным формалистом, ему не удалось показать, будто открытая им носология обусловила сюжет и композицию рассказа в большей степени, чем камешки смальты обуславливают мозаичную композицию. «Носология» оказалась не столь уж яркой и значительной, а добрая половина приведенных примеров ее относится ко времени после написания «Носа», следовательно, не была известна Гоголю. Будь Гоголь бароном Брамбеусом, Марлинским или Вельтманом, изучение курса биржевых и ярмарочных литературных ценностей может быть и способно было бы кое-что дать для его понимания, но творец «Носа» чеканил монету, не имевшую хождения на ярмарке и не котиравшуюся на бирже «вкусов толпы».

**
*

«Нос» Гоголь начал писать, по всем данным, в 1833 году. Сведения, которыми мы располагаем о его переживаниях в это время, не допускают возможности появления из под его пера ни анекдота, ни шутки. «Какой ужасный для меня этот 1833 год!» — читаем в одном письме. Душевное его смятение навело Кулиша на мысль о несчастной любви. Но письма свидетельствуют о другом. Гоголь переживал в этом году большой внутренний перелом, выразившийся в пересмотре взгляда на смысл своего творчества. «Сколько я начинал, сколько пережег, сколько бросил! Понимаешь ли ты ужасное чувство быть недовольну самим собой?» Совершался переход от непосредственного, бессознательного писательства к продуманному, мессианистическому, религиозному; начинался тот период, что привел к сочинению специальной молитвы о благополучном завершении «Мертвых Душ», а потом к сожжению этого произведения. Именно в этот период Гоголю стали ясны невидимые глазом «порождения злого духа, возмущающие

мир». С 1833 г. он начал беспощадно гильотинировать замыслы не отвечающие новым требованиям и, видимо, создал себе настоящий ад. Ни одного рассказа не отмеченного знаком служения, ни одной «пустой» вещи, не проникнутой большой идеей. В результате, — тот «умственный запор», о котором говорится в письме к Погодину: «Я стою в бездействии, в неподвижности. Мелкого не хочется, великое не выдумывается». Датировано это письмо февралем 1833 г., т. е. временем, к которому относятся первые сохранившиеся наброски «Носа». Трудно допустить, чтобы они избегли сожжения, если бы хоть в какой-то степени вызывали подозрение, как «мелкое». «Носология» могла пригодиться Гоголю, как привычная читателю материя, но сюжет и композиция продиктованы, в главных чертах, не ею, а чем-то другим.

Над уяснением этого другого не мало потрудились позднее два автора, принадлежавшие к различным школам — Д. И. Ермаков³ и В. Ермилов.⁴ Первый — «последователь Фрейда», другой — марксист сталинской эпохи. Как и полагается, у одного — сплошное царство «анального невроза», эротической символики, сексуальных комплексов, у другого — «крепостническая действительность барского Петербурга», классовые противоречия, рабовладичество. Грубое насилие над изучаемым материалом в угоду методу до такой степени отличает обе эти работы, что говорить об их серьезном вкладе в исследования о Гоголе не приходится. И все же, если в повести «Нос» действительно можно набрать крупницы материала для психоаналитических рассуждений, то абсолютно невозможно найти мотив задирания носов вышестоящего чиновничества перед нижестоящими. Гоголь не дает никакого повода для понимания своего рассказа как возмездия Ковалеву за то, что тот «слишком высоко задирает нос — вот он у него и слетел». Ермилов сам наносит удар своему «классовому» пониманию идеи повести, приписав Гоголю отвращение к крепостническому «миру Ковалевых», но объявив, в то же время, этот мир фантастическим, нереальным, «в котором реальностью признаются фантомы». Фантом может пугать, но вызывать отвращение — не в его природе.

Фрейдизмом Ермакова и формализмом Виноградова навеяны замечания о «Носе» В. В. Набокова.

³ «Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя». Гос. Изд. 1924.

⁴ «Н. В. Гоголь». М. 1952.

**
*

Гоголя очень занимало объяснение события. В рукописной редакции значилось: «всё, что ни описано здесь, виделось майору во сне». Но то ли устыдившись затасканности такого приема, то ли не желая давать повода к плоскому толкованию рассказа, он как в «Современнике», так и в III томе «Сочинений», вышедшем в 1842 г., порвал с мотивировкой сновидения. Чем он ее заменил, не так легко разобраться. На первый взгляд — ничем. Конец рассказа заполнен балагурством, в котором Виноградов усмотрел пародию на тогдашние рецензии: «Не может быть, никоим образом не может быть, чтобы нос один, сам собою ездил в мундире и притом еще в ранге статского советника!» «Как авторы могут брать подобные сюжеты!» Наговорив, однако, добрых полстраницы о «несообразности» приключения, он уже в первом издании, как бы невзначай роняет: «действительно, случается в свете много совершенно неизъяснимых происшествий». В редакции 1842 г. еще смелее: «А все однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете; редко, но бывают». Видно по всему, что эти фразы являются истинным зерном, спрятанным в шелухе напускного пустозвонства. Они настаивают на действительности всего описанного и не считают необыкновенность происшествия за доказательство его невозможности.

Надо ли говорить, что все существующие толкования повести отпадают при таком взгляде? Ее невозможно будет отнести ни к гофмановской фантастике, ни к социально-обличительной сатире, ни к «смеху сквозь слезы», ни к сексуальному бреду, но это и не «шутка», не «арабеск, небрежно набросанный карандашом великого мастера», как выразился Белинский.

**
*

Если приключения майора Ковалева — «истинное происшествие», то и нос его — особое действующее лицо. Ни аллегорически, ни психоаналитически, ни как бы то ни было на другой манер его нельзя понимать. Как ни соблазнительно фрейдисту представить его «эмансипировавшимся фаллическим символом», это возможно только во сне. Потому Ермаков и настаивает на сновидении, как на эмпирии, в которой развивается действие рассказа. Он полагает, что самое слово

«нос» — не что иное, как перевернутое «сон». И всё-таки, как быть с явным желанием Гоголя, выраженным во всех печатных редакциях, представить повесть, как реальное событие?

Мы обязаны видеть в ней случай, когда у человека действительно, не во сне, а наяву сошел нос с лица и начал самостоятельную жизнь в виде человекоподобного существа.

В эпоху позитивизма трудно было открыто настаивать на истинности такого случая. Понадобилось не мало усилий, чтобы завуалировать намерения автора, предупредить рецензентов из «Северной Пчелы» и самому заранее наговорить в их тоне с три короба о «несообразности» рассказа. Надо было и действующим лицам вложить в уста негодующие реплики: «как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки!»

Но сделано это так, что читателю внушается не недоверие к «нелепой выдумке», а ирония к просвещенному веку. Прокатилось же в этот хваленый век по Невскому настоящее чудовище в карете! Сказавши, что это редко, но бывает, Гоголь приковывает наше любопытство к слову «редко». Что это за редкие случаи такие, и надо ли видеть в них какую-нибудь закономерность? Можно ли, по крайней мере, в самой повести найти ответ на этот вопрос?

На первый взгляд ничего «редкостного» во времени действия усмотреть невозможно — время, как время: на Невском обычное оживление, чиновники заняты в присутствиях и в канцеляриях, доктора лечат, квартальные следят за порядком, штаб и обер-офицерши стараются выдать дочек за майоров.

Но есть сцена в рассказе про которую не скажешь, что тут дела идут своим чередом. Напротив, — картина явной катастрофы. Имеется в виду знаменитый диалог Ковалева с собственным носом в Казанском Соборе. Гоголю очень не повезло с этой частью повести. Требование цензуры перенести диалог из собора в другое место было для него, как можно догадываться, сущим ударом. Еще в начале 1835 года, когда он пытался устроить рукопись в «Московский Наблюдатель», он писал Погодину: «Если в случае, ваша глупая цензура привяжется к тому, что нос не может быть в Казанской церкви, то можно его перенести в католическую.» В конце концов, ему пришлось заменить собор Гостиным Двором. Не подлежит сомнению, что сделано это было скрепя сердце и не без уговоров со стороны Пушкина, иначе чем объяснить, что Гоголь «долго не соглашался на напечатание этой шутки». Годом раньше сам ведь искал возможности издания повести. Неже-

ление печататься в «Современнике» ничем другим объяснить невозможно как только цензурным вмешательством, которое он предвидел и которого боялся. Быть может, не одна цензура, но и Пушкин не усматривали ущерба для произведения в замене собора Гостиным Двором. Для «шутки» Гостинный Двор подходил куда лучше православной или католической церкви. Если же Гоголь настроен был скорее отказаться от опубликования рассказа, чем согласиться на такую замену, то не потому ли, что придавал сцене в соборе исключительную важность с точки зрения авторского замысла?

Можно бесконечно удивляться тому, что в течение столетия никто не обратил внимания на вид, в котором представлен в «Носе» Казанский Собор. В 1930 году в Михайловском театре, в Ленинграде, поставили оперу «Нос» Шостаковича (лучшее, на мой взгляд, произведение этого композитора), и сцена в Казанском Соборе получилась одной из наиболее удачных: — золото паникадил, тающая в дымке глубь храма, долетающее пение хора. Но ни Шостакович, ни режиссер Смолич, оба внимательно относившиеся к Гоголю, не заметили, что их картина ничего общего с гоголевской не имела. У того — ни лампад, ни ладана, ни певчих, ни возгласов из алтаря, ни намек на богослужение. Не будь сказано, что действие происходит в церкви, читателю и в голову бы это не пришло. Собор попросту никак не описан. Упомянуто лишь что «мольщики внутри церкви было немного; они все стояли только при входе в двери». Зато снаружи «на Невском народу было тьма. Дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару начиная от Полицейского до Аничкина моста». Надо ли пояснять смысл такого противопоставления многолюдного нарядного Невского запустевшему Казанскому Собору? Про майора Ковалева сказано, что он «никак не в силах был молиться». Но он оказался «в силах» тут же, в храме, приударить за хорошенькой барышней подошедшей вместе с матерью и вставшей поблизости от него. В эту минуту он и про нос забыл, и про всё случившееся. Значит не тяжелые переживания отвлекали его от благочестия, скорее стихия Невского Проспекта. Майор и раньше посещал церковь и тоже, видимо, не для молитвы. Об этом заключаем по его смеху над нищенками стоявшими перед собором. Душевное движение, не отделимое от такого смеха, вряд ли свидетельствовало об устремлении к Богу в момент вступления в церковь. Не **домом** молитвы, а филиалом Гостинного Двора представлен у **Гоголя** Казанский Собор.

Здесь, важно заглянуть в первоначальный набросок повести. В нем, происшествие с носом отнесено к 23-му февраля: «сего февраля 23 числа...» Потом эта дата менялась. Но исследователь имеет право заинтересоваться 23-м февраля: почему именно оно первое пришло на ум? Сюжет рассказа, видимо, тут не при чем, число это возникло в тот период, когда еще ни общая композиция не устоялась, ни детали не были ясны, когда Иван Яковлевич носил еще имя Ивана Федоровича. Но дату творческой истории произведения оно могло означать. 23 февраля, в день священномученика Поликарпа, преподобных Иоанна и Александра, на шестом часу читается первая глава пророка Исаии, текст которой мог взволновать достаточно подготовленного к его восприятию Гоголя: «Господь говорит... вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев сыны погибельные! Оставили Господа, презрели святого израилева — повернулись назад». Не в этот ли день зародилось видение праздной, нарядной толпы на Невском, забывшей Бога, отвернувшейся от его храма? И не ясно ли, что только в церкви, а не в Гостином Дворе можно было разыграть главную сцену повести, родившейся из первоначального озарения?



Мир, забывший Бога, утрачивает образ своего Творца. Происходит незримая, трудно улавливаемая перемена: что-то отлетает, какое-то затмение наступает. Люди продолжают считать деньги, брать взятки, служить в канцеляриях, жениться, ухаживать, но всё это, как в муравьиной куче, — ошупью, нюхом, от предмета к предмету, уткнувшись в землю, не поднимая глаз к небу. Мышление начинает определяться данными примитивного эмпирического опыта, разница между реальным и ирреальным, разумным и иррациональным перестает различаться, «реальностью признаются фантомы». Цирульник Иван Яковлевич с супругой, обнаружившие нос запеченный в хлебе, испуганы не сверхъестественностью события, а ответственностью перед полицией. Первым движением самого Ковалева, когда он, проснувшись утром, не нашел носа на месте, было тоже — махнуть к обер-полициеместеру. Очень это похоже на молюеровского Лепорелло, у которого при виде барина, проваливающегося в преисподнюю, не шевель-

нулся ни один волос на голове; он только кричал ему вслед: А мое жалованье? Мое жалованье!

Казалось бы, случай «эмансипации» части человеческого тела должен был до дна всколыхнуть умы и души, но образованный Петербург увидел в нем «стрannую игру природы». Студенты медико-хирургической академии заинтересовались им с естественно-исторической точки зрения, какая-то дама просила показать этот редкий феномен ее детям и сопровождать показ объяснением наставительным и назидательным для юношей. Доктор, приглашенный майором, чтобы приростить нос к прежнему месту, приступает к делу так, будто перед ним обыкновенный медицинский случай, вроде прыща или насморка. «Спросивши, как давно случилось несчастье, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос». Потом вертел ему голову туда и сюда, сказал «Гм!» и, дав напоследок еще раз щелчка, заявил: «Нет нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже». Он посоветовал чаще мыть плоское место холодной водой, а нос положить в банку со спиртом и взять за него хорошие деньги. Сам майор, увидев собственный нос в мундире и в треуголке с плюмажем, вступает с ним в вежливый разговор, называет «милостивым государем». А квартальный? Он принес сбежавший нос завернутым в бумажку, как если бы возвращал потерянные часы или кошелек. При этом сам же рассказал, что нос чуть было не уехал в Ригу, ему и паспорт был выписан на имя одного чиновника, он уже сажился в дилижанс и лишь случайно был опознан.

Здесь, слепота не делающая различия между людьми нашего мира и существами нездешними — доведена до предела. Обращаясь с такими существами, как себе подобными, люди сами приобретают черты явлений нездешнего мира. Низменный житейский опыт, не озаренный светом отвлеченного мышления, идей, теорий, априорного знания, интуитивного постижения — главная причина умственного затмения, под знаком которого проходит действие повести «Нос». Гениальность рассказа заключается в подаче этого затмения, сделанного с непередаваемой тонкостью. Гоголь, как искусный колорист, не заливает полотно одной какой-нибудь краской, но достигает общего тона соподчинением окраски каждого отдельного предмета. Нет ни пугающих слов, ни указаний на поврежденность, — всё на своих местах, всё как будто нормально, но читателю этот мир оборачивается тя-

желым видением, точно посмотрели на него в закопченное стекло. Есть труднораспознаваемые виды помешательства; можно часами разговаривать с человеком, ничего не подозревая, и вдруг почувствовать, что перед вами сумасшедший. Это страшнее вида буйно-помешанного. Такое же волнующее открытие посещает, когда начинаешь замечать безумный облик мира, глядящий со страниц гоголевской повести, — ничтожные существа, лишенные высших познавательных способностей, сутолоку пустоты, великую ярмарку глупости.

Глупость для Гоголя — грех, отступление от Бога и наказание Божие. Кувшинное рыло — одна из стадий деградации человеческого образа в направлении к свиному рылу. Когда глупость и пошлость в своем развитии вступают в стадию бестиальности, когда модусом умственной жизни становится некое подобие силлогизма вроде: «хлеб дело печеное, а нос совсем не то», — тогда и настает время событий, что «редко, но бывают». Тогда и нос может прокатиться по Невскому в чине статского советника.

В русской литературе есть еще одно произведение, выпускающее при таких же обстоятельствах загадочное чудовище явно инфернального происхождения: это «Мелкий Бес» Сологуба. Пусть его Недотыкомка мало похожа на Нос и выглядит скорей стилистическим приемом, чем конструктивным моментом романа, — ее появление вызвано той же идеей, что и у Гоголя: глупость и пошлость суть условия пришествия в мир темных сил.

**
*

Не Гоголь открыл эту истину, ее знала библейская мудрость, отцы церкви, христианская теология. Она и в искусстве нашла отражение задолго до Гоголя, — не столько в литературе, сколько в живописи, графике, пластике. Около пятидесяти лет тому назад высказан взгляд на родственность произведений Гоголя с картинами и офортами Гойи.⁵ Но совершенно очевидно, что одного этого имени недостаточно; к нему необходимо прибавить два других, может быть, более характерных — Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего. Особенно интересен Босх, представивший в своих карти-

⁵ С. Шамбинаго — «Трилогия Романтизма (Н. В. Гоголь)». М. 1911.

нах страшную историю гибели человечества. Ни у кого торжество нечистой силы, ее завладение миром не показаны с такой наивной простотой и экспрессией. Лес, поле, вода, воздух полны чудовищами, отовсюду лезут гады, фантастические гибриды, полулошади-полукувшины, дома с выпученными глазами и разверстыми пастьми, рыбы-птицы, звериные скелеты в монашеских рясах, ухмыляющееся дупло гнилого дерева, женщина со змеиным хвостом верхом на крысе. Адское нашествие совершается на фоне разврата, пороков и всяческого падения человека. «Царь природы» представлен мерзкими рожами с узким и низким лбом, большим вытянутым носом, широко разинутым ртом. В изображении этих скотоподобных существ, преследуется задача показа утраты разума человеческим родом. По мысли комментаторов, это главная пружина мировой драмы, разыгрывающейся на полотнах Босха. Адские силы не властны над лицом, озаренным божественным светом разума, но слепота и безумие открывают им двери, превращают реальность в сон, в наваждение.⁶ Картины Босха — кошмарные видения.

Видением является и «Нос» Гоголя. Все, даже Ермилов, наговоривший столько пошлости и соцреалистического вздора о Гоголе, характеризуют общий тон его повести, как «колорит сна». Гоголь и сам, как мы видели, хотел первоначально объявить всё сном, но ему нужен был сон, от которого нет спасения в пробуждении — сон наяву. Для него и для Босха, люди, действующие наяву, как во сне, знаменуют настоящее светопредставление: мир — творение Бога, становится иллюзией и подменяется созданием дьявола. Оставляемый Богом, он, как очищаемая крепость, немедленно занимает неприятелем, грядущим со своей inferнальной свитой.

Где же, спросят нас, эта чудовищность в повести «Нос»? Она есть. Это, конечно, не свиньи в монашеских накидках, не яичная скорлупа с человеческой головой и в шляпе, не женщины со змеиными хвостами. Такими страхами в XIX веке нельзя было пугать. Чудовищность у Гоголя подана тонко, сдержанно, как малозаметное отступление от нормального вида вещей, она выполнена по «известному рецепту хоро-

⁶ У Гойи, под одним из рисунков его серии «*Caprichos*» стоит подпись: «Когда спит разум, являются чудища» (*El sueño de la razon produce los monstrous*).

шей фантастической сказки», о котором пишет Мериме в своей статье о Гоголе: «Начните с точных портретов какихнибудь странных, но реальных личностей и придайте им черты самого мелочного правдоподобия. Переход от странного к чудесному почти незаметен, и читатель таким образом окажется в области фантастики раньше, чем успеет заметить, что покинул действительный мир».

Таким приемом создается для «Носа» фон, достойный Босха и Брейгеля. Чего стоит, например, толпа старух у Казанского Собора, которую встречает майор Ковалев! Лица у них завязаны, виднеются одни отверстия для глаз. Ни бытовыми, ни социальными, ни другими реалистическими мотивами невозможно объяснить такой маскарад. Ермилов берет на себя величайшую ответственность, утверждая, будто нищенки закутали лица потому, что у них, как у самого Ковалева, не было носов. Родиться такая догадка могла из чего угодно, только не из текста Гоголя. Там и намек нет на такое объяснение, нужное Ермилову для того, чтобы представить смысл сцены, как «сопоставление образов чистеньких господ с образами нищих». Не открыв причины странного одевания нищенок, Гоголь зарождает сомнение у читателя: те ли это самые нищенки, над которыми когда-то смеялся майор Ковалев? Ведь никто не знает, чьи глаза глядели на него сквозь отверстия. А разве не чудовищна лошадь извозчика, везшая Ковалева к полицмейстеру? Она поросла длинной, как на болонке, шерстью. Далее, один за другим мелькают: частный пристав, живущий в квартире заставленной сахарными головами, старик чиновник с пером в зубах, считающий кучи денег, гайдук с большими бакенбардами и с целой дюжиной воротников, слуга Иван, лежащий на диване, плюющий в потолок в одну точку, сбежавший черный пудель, оказавшийся казначеем; даже простая шерстяная фуфайка, выставленная в витрине магазина, чем-то волнует. К числу чудовищных образов надо отнести доктора. Лица его Ковалев не заметил — одни выглядывавшие из рукавов фрака манжеты белой и чистой, как снег, рубашки. Но как раз на белоснежности, стерильности и построена вся жуть этой фигуры. Доктор был «видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных родов щеточками». Такое гигиеническое исступление могло бы восприниматься, как про-

стой шарж, не будь в нем настоящей животности — наличия в списке предметов обихода «свежей здоровой докторши».

**
*

Но верхом чудовищности является, конечно, «Нос», сбежавший с лица майора и разъезжавший в карете по Петербургу. В плане всё тех же параллелей Гоголь-Босх, нельзя не упомянуть, что кроме полотен Босха и Брейгеля, вряд ли где еще встречаются ублюдки представленные отдельной частью тела, превратившейся в самостоятельное существо. У них можно видеть живые головы на крошечных ножках, гигантские животы, уши, а на средней части знаменитого триптиха Босха, именуемого «Воз сена», есть фигура, вызывающая большой соблазн принять ее за нос.

Появление Носа — высшая степень затмения умов и наиболее яркое выражение призрачности мира. Кто же он? Мы ничего почти не знаем о его похождениях. Сойдя утром с лица майора, он к вечеру возвращен был своему владельцу. В чине статского советника пребывал следовательно один день. Но из всего, что он за день делал, Гоголь счел нужным показать нам один эпизод — приезд его в Казанский Собор. Остальное его поведение покрыто мраком. И это, разумеется, не случайно. Показано то, что надо было показать. В посещении собора — весь смысл короткой биографии Носа. Там он был, оказывается, единственным молящимся. Про остальных «молельщиков» сказано только, что они «стояли при входе», и больше ничего. Мы не знаем даже, кто они были, так же, как не знаем, кто были нищенки с завязанными лицами на паперти. Нос же «спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился». Когда майор, подойдя близко к нему, начал слегка покашливать, Нос «ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвечивал поклоны». «Выражение набожности», «набожное положение»... Чудовище явно пародирует молитву и молящихся. Это едкая насмешка над христианским благочестием.

Смысл ее усугубляется датой события — 25 марта. Упорное желание Гоголя приурочить происшествие к определенному числу не может остаться без внимания. Хотя в его время это была литературная мода, но сам он не принадлежал к тем писателям, которые в первом акте вешают на стенку ружье и потом из него не стреляют. Датировка у

него связана с фабулой произведения. На первый взгляд это кажется неверным: от начала работы над повестью до ее окончательной редакции 1842 года Гоголь трижды менял даты. В самом раннем наброске значится: «сего февраля 23 числа», но в первом издании «Носа» («Современник» 1836 г.) стоит уже: «сего апреля 23 числа». Только в издании 1842 г. событие помечено 25-м марта. Быть может это произвольные числа? Относительно 23 февраля говорилось уже, как о дне зарождения самого зерна повести. Зато два других числа представляются связанными с замыслом произведения. 23 апреля — день Георгия Победоносца — святого, боровшегося со змеем, с чудовищем. Выпустить именно в этот день чудовищное существо в мир — значило придать рассказу особую остроту. Но Гоголь добивался большего эффекта, ему нужен был такой христианский праздник, на фоне которого появление Носа было бы предельным выражением идеи победного наступления дьявола. Таким праздником он избрал Благовещение 25 марта, — день, когда возвещается о скором пришествии Спасителя. Чудовище Босха — Брейгеля — Гойи, вступающее в храм в этот день и насмехающееся над святостью места, над его запустением, заброшенностью, приобретает символическое, апокалипсическое значение.

Кое-кто, вероятно, поднимет голос против именования Носа «чудовищем», тем более против сближения его с нечистой силой. Он ведь так забавен, уморителен! Самое сочетание слов «нос в чине статского советника» ничего кроме смеха не вызывает. Какая тут чертовщина? Однако, у Босха почти вся его нечисть комична, каждое воплощение сатаны исполнено в манере гротеска. И мы знаем откуда эта традиция, — она средневекового происхождения. В мираклях, разыгрывавшихся на площадных подмостках, чорт должен был вызывать смех, он был комическим персонажем тогдашнего театра. А Иероним Босх, согласно сохранившейся в Буа Ле Дюк надписи, причастен был в молодости к этим представлениям, очевидно, в роли декоратора, костюмера, изготовителя масок.⁷

⁷ Исследователям предстоит изучить пути, которыми дошла до нашего писателя эта старинная манера изображения черта. Быть может, через школьную драму, распространенную в Малороссии, а может быть через прямое знакомство с европейским искусством. Гоголь обладал обширными сведениями по истории искусства, знакомился с ним как по оригиналам, так и по репродукциям; Аннен-

Комизм Носа — не только не свидетельство против его диaboличности, но как раз наоборот — выдает его фигуру с головой. Он самый настоящий черт — «главный герой почти всех произведений Гоголя», как выразился Д. И. Чижевский.

Майору Ковалеву и в голову не приходило, как близок он был к истине, когда говорил: «Черт хотел подшутить над мною». По отношению к нему это была, действительно, шутка, но совсем не шуточным представляется выезд в карете на Невский проспект и победное вступление в Казанский Собор. Демонстрация силы, торжество над противником, о котором благовествуют, желание показать, что не Ему Грядущему принадлежит мир — вот мотивы явления черта в повести «Нос».

Гоголь, в самом деле, не оставляет сомнений в принадлежности мира дьяволу. Если у Босха иногда над сатанинским миражем вселенной всё-таки явлен бывает высоко на небе образ Христа, то у Гоголя ни одним лучом с небес, ни одним ударом колокола не пронизывается призрачный мир людей, утративших свою божественную природу. Нечистая сила начинает проступать в каждом образе, в каждом предмете. Всё во власти наваждения, всё подготовлено для торжества злого духа. Д. И. Чижевский обратил внимание на связь другой повести Гоголя, «Портрет», с ожидавшимся приходом Антихриста, который, по вычислениям мистика XVIII века Бенгеля, должен был явиться в 1837 г. Если это ожидание отразилось в «Портрете», то совершенно закономерно предположить его в «Носе», который создавался почти одновременно с «Портретом».

**
*

В. В. Розанов полагал, что кроме «Тараса» да «малороссийских вещиц», весь остальной Гоголь — «есть пошлость в смысле постижения, в смысле содержания. И — г е н и й по форме, по тому, «как» сказано и рассказано». Трудно что бы то ни было говорить по поводу таких замечаний, но и отбра-

ков видел у него много альбомов с гравюрами. Мы ничего не знаем о прямом влиянии на него Босха, но сходство их приемов, их общего взгляда на мир заслуживают быть отмеченными. Оба, несмотря на разделяющие их века и страны, идут в русле одной художественной концепции.

сывать их вовсе нельзя. Может быть и впрямь, «в смысле постижения», Гоголь был не велик. О каком постижении можно говорить при рассмотрении того же «Носа»? Лежащая в его основе религиозно-философская концепция общеизвестна и насчитывает сотни лет существования. Освободите ее скелет от изумительной повествовательной ткани и вы получите проповедь с амвона не очень высокого уровня. Никаких духовных и религиозных глубин тут не явлено. Гоголь жил не своими идеями и откровениями, он не был мистиком, вопреки распространенному мнению. Религиозность его аскетическая, и, как всяким аскетом, им владела идея спасения. Он был запуган Страшным Судом, возмездием за грехи земной жизни. Можно лишь догадываться о тяжести духовных и физических вериг, наложенных им на себя. С. Т. Аксаков считал его святым и мучеником. И не разгадал ли он истинную драму Гоголя словами: «мученик христианства»? Не считал ли он кошмар, которым всю жизнь мучился Гоголь, созданием христианства, церкви?

До XV века этого кошмара не было, средние века не знали той нечисти, что появилась в Толедском соборе и оттуда перешла на полотна Босха, Брейгеля, Метсиса, Патионера. Она зародилась в процессах ведъм, в сожжениях еретиков, в церковном контрнаступлении на реформацию и гуманизм. В Прадо есть картина Тициана, заказанная ему, видимо, самим Филиппом II: прекрасная женщина-Испания опускается на колени перед армадой мечей, шлемов и копий, надвигающейся на нее воинствующей церкви. За спиной у «грешницы» извиваются гады, чудовища. В изображении нечистой силы Тициан оказался жалким и плоским в сравнении с мастерами Толедского собора и Иеронимом Босхом; кроме вульгарных змей да драконов, ничего не мог придумать. Но смысл включения их в композицию ясен: они — оправдание инквизиторского похода против Испании. Монахи, преследовавшие ведъм, должны были убедить мир в их существовании. Демонология и демонография получили необычайное развитие. Старые простецкие средневековые дьяволы выглядят почти умирительно по сравнению с заново сочиненными чудовищами, один вид которых останавливал кровь в жилах. Европе наваян был страшный сон, заморозивший ее на сотни лет. Эта страшная клевета на человека, на мир, то замирая, то усиливаясь, дошла до XIX века, до эпохи реставрации. Мрачная католическая реакция того времени, совпавшая с мистическими и романтическими увлечениями общества, может счи-

таться самой яркой, после эпохи Возрождения, вспышкой устрашающей апокалипсической идеологии. У Юнга Штиллинга она причудливым образом переплелась с мистическим приближением к Христу. С идеей совершенствования и проникновения в Бога уживалось грубое запугивание адом, кипящей смолой, чертом. Если прав Д. И. Чижевский, установивший знакомство Гоголя с Юнгом Штиллингом, то незачем далеко и ходить в поисках путей, которыми наш писатель получил католическое наследие XV-XVI вв.

Можно было бы прибавить к этому унаследованную от матери болезненную религиозность, выразившуюся как раз в боязни Судного Дня. Гоголя, как Катерину из «Грозы» Островского, погубила грубо намалеванная картина вечных мук.

Н. Ульянов

Я от Родины так далеко
В неизвестные скрылся пустыни.
Здесь туманами заволкло
Мой шатер необъятный и синий.

Тут чужие мне звезды блещут,
По иному цветы мне тут дышат,
И другие закаты горят,
Ветер пальмы чужие колышет.

И я с посохом длинным хожу
И блуждаю от края до края;
Моей Родины не нахожу
И под солнцем чужим я сгораю.

Семен Лифтон

“АНАТЕМА” ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА *

Моей жене — Надежде

Трагедия «Анатома» связана по настроению, по некоторым из главных идей и по стилистической манере с «Жизнью человека».

Ее конкретно-фабульное развитие обрамлено философско-аллегорическими прологом и эпилогом (1-ая и 7-ая картины), где опять присутствует Некто, но на этот раз не «в сером», а «Некто, ограждающий входы»; в ремарке автора читаем:

«Облаченный в широкие одежды, в неподвижности складок и изломов своих подобные камню, Он скрывает лицо свое под темным покрывалом, и Сам являет собою величайшую тайну. Единый мыслимый, един Он предстоит земле; стоящий на грани двух миров, Он двойствен своим составом: по виду человек, по сущности Он Дух. Посредник двух миров, Он словно щит огромный, собирающий все стрелы, все взоры, все мольбы, все чаяния, укоры и хулы. Носитель двух начал, Он облакает речь свою в безмолвие... и в человеческое слово»...

Уже этот короткий фрагмент из грандиозной, патетической, напыщенной ремарки, куда щедро брошены славянизмы, архаические словарные конструкции, далекие от разговорной речи, дает понятие о том, какую эмоциональную настроенность хочет вызвать писатель, полагавший, что театр сценическими средствами еще более усилит важность, величавость, торжественность и таинственность его замысла — приблизить к тому, что не имеет ни начала, ни конца, что непостижимо человеческой мысли... Где-то, в извечном Космосе, охраняет Некто «огромные, железные, наглухо закрытые врата, знаменующие собою предел умопостигаемого мира. За железными вратами, угнетающими землю своею неимоверной тяжестью, в безмолвии и тайне, обитает Начало всякого бытия, Великий Разум вселенной».

*) Глава из неизданной работы П. Е. Ершова «Театр русских символистов». *Ред.*

Однако, Андрееву не чудится некое бездонное межзвездное пространство, он всё же неразрывно связан с земными образами:

«Сцена представляет собою пустынную, дикую местность, как бы склон некой горы, поднимающейся в беспредельную высь». Некто стоит у железных врат в полной неподвижности, опершись на длинный меч. Ему противопоставлен другой Некто, «преданный закланию», именующийся «Анатэма».

Диалог между этими двумя мистическими существами и открывает трагедию. Говорит главным образом Анатэма, он томится мировой скукой (вряд ли скорбью!), он изнемогает от неведения сокровенных и изначальных тайн, он от дерзости и угроз переходит к просьбам, мольбам, неистовствует, унижается, бравивирует, трагический пафос сменяет на вульгарную шутку, но... тайна бытия всё равно закрыта навеки для него так же, как и для людей. *Что* за железными вратами? — вот жгучий вопрос Анатэмы, — есть «там» что-нибудь, или Некто охраняет входы в... *ничто*?

Анатэма — новый вариант, вариант начала 20-го века, духа сомнения и отрицания, так полюбившегося человеческой мысли, создавшей длинный ряд демонов в течение 19-го века.

У Анатэмы нет сердца, поэтому он и не убит страданиями, как убиты глухие люди, но у него нестерпимая жажда *знать*, *яснее* страдают люди, существует ли высшая справедливость, оправдывающая человеческие страдания, придающая им смысл.

Анатэма «просто гуляет по свету», он среди людей, он видит, что они подобны марионеткам и что «жизнь пустая и глупая шутка».

Не сделать ли Анатэме «опыт», не проверить ли, возможно ли через благую любовь принести людям счастье, гармонию жизни, может ли мыслимое абстрактное добро воплотиться в конкретные земные формы?

Выбор Анатэмы падает на бедного старого еврея Давида Лейзера, исстрадавшегося, потерявшего любимых детей, видящего горестное умирание сына Наума, унылую долю красавицы-дочки, тоску своей жены Суры. Лейзер не бунтует, он, نابوذيный, продолжает на пустынном берегу моря обращаться к Богу с покорными мольбами и ждет только одного — смерти; непослуженные мучения принимаются им со смирением, но и с подомсением.

Уголок на краю южного русского города с группой ничтожных мелочных лавченков (одна из них принадлежит Лейзеру) и с людьми, копошащимися там, жадными людьми, встре-

воженными от вечной нужды, этот уголок, после абстрактного пролога, кажется сугубо реалистическим, ничтожные разговоры — также. Но как только появляется в виде «честного адвоката», в строгом черном костюме и цилиндре, вполне «антропоморфный» Нуллюс (Анатэма), реалистическая улица, залитая горячим летним солнцем, оборачивается символическим «базаром житейской суеты», фразы приобретают двуплановость, и простая шарманка нищего музыканта, визгливая шарманка, наигрывающая фальшивую какофоническую музыку, превращается в иронический символ «мировой гармонии», — недаром Анатэма с восторгом насвистывает этот страшный мотив не раз на протяжении пьесы.

Адвокат Нуллюс принес потрясающую весть: одинокий брат Лейзера, богач, когда-то толкнувший Давида к несчастью, умер в далекой Америке, и два миллиона долларов по наследству теперь принадлежат Лейзеру. Богатство резко меняет положение семьи, отношение к ним людей, проявляет характеры дочки-Розы и сына-Наума и, главное, превращает самого Давида Лейзера в еще более страстного искателя правды. Он становится воплощением любви и добра. Эти моральные качества всегда были его сущностью, но раньше они оставались в латентном состоянии. Теперь же при богатстве, по *подсказке производителя «опыт» Анатэмы*, они достигают предельной силы и ведут к конкретным действиям: Лейзер всё свое богатство раздает бедным, которые со всех сторон земли стекаются к нему. Приносит ли это счастье людям и самому Лейзеру? Нет: *добро оборачивается злом*; всех людей осчастливить Лейзер не может; у людей, ждущих от него чуда, наступает разочарование; получившим от него какую-то долю завидуют те, для которых не хватило богатств Лейзера. Начинается злая борьба. В отчаянии Лейзер бежит от людей в сопровождении Анатэмы, но его узнают, за ним следуют толпы людей, его, добряка, готовы побить камнями... Совершенно истерзанный безвыходностью своего положения, раздавленный сознанием, что любовь бессильна, что она — обманщица, Лейзер умирает. Анатэма считает, что проделанный им «опыт» доказал бесплодность любви и добра, а потому торжествующе восклицает: «Смирись, земля, и дары принеси мне покорно: убивай — жги — предательствуй, человек, во имя господина твоего. По морю крови, пахнущей так сладко, на красных парусах, сверкающих так жарко, направляю я мою ладью (...) (К небу быстро)... к тебе за ответом. Не собакою, ползающей на брюхе, — знатным гостем, владетельным князем земли причаляю я к твоим немым берегам.

(Величественно) — Приготовься. Я точного потребую ответа. Ха-ха-ха!»

Последняя картина трагедии — опять мистическая абстракция; опять Анатэма перед Некто, ограждающим входы. Его появление так описывается в ремарке: «Но так как никогда не может быть правдивым Дьявол и нет предела сомнениям его, то и сюда он вносит вечную раздвоенность свою: идет как победитель, а сам боится, закидывает голову кверху как властелин, а сам смеется над преувеличенной важностью своей; ирачный и злой шут — он тоскует о величии и, принужденный к смеху, ненавидит смех».

Анатэма обращается с вопросом к Некто: «Скажи, не ты ли погубил Давида?»

И Некто разверзает уста: «Давид достиг бессмертия, и живет бессмертно в бессмертии огня. Давид достиг бессмертия и живет бессмертно в бессмертии света, который есть жизнь».

Анатэма в гневе; Анатэма не верит: «Ты лжешь. Прости меня за дерзость, но ты лжешь (...) весь твой мир одна сплошная ложь, — жестокая и дикая игра в законы, злой смех деспота над безгласием и покорностью раба». «Где истина?» повторяет он многократно и получает ответ от Некто, что он, Анатэма, никогда не узнает истины и никогда не увидит врага открытыми; Некто вещает: «Мое лицо открыто — но ты его не видишь. Моя речь громка — но ты ее не слышишь. Мои веления ясны — но ты их не знаешь. И не увидишь никогда — и не услышишь никогда — и не узнаешь никогда, Анатэма — несчастный дух».

Анатэма не выдерживает и осыпает Некто, ограждающего входы, кощунственными проклятиями: «Ты лжешь — молчаливый пес, грабитель, укравший истину у мира, железом заградивший входы (...) Ведь у тебя такая скверная репутация: лжеца — обманщика — убийцы».

Пьеса кончается ремаркой: «Уходит со смехом. Еще раз из глубины доносится его хохот. И безмолвие оковывает всё...»

Если для Андреева Анатэма не субстанциональное зло, а символ человеческих извечных сомнений, бесплодных попыток прорваться в тайны бытия, ответить на терзающие вопросы «зачем» и «почему», то весь замысел трагедии — страстный бунт против агностицизма, частично же это и скепсис в отношении благодати величайшей христианской заповеди любви к ближнему. Но вместе с тем, по каким-то скрытым от нас соображениям (по внутренним импульсам или для смягчения разрушительной мысли) Андреев очень туманно и, в сущности, совсем не убедительно (и не утешительно) дает понять, что люд-

ской разум (а внутри него и Анатэма) не в состоянии по своей ограниченности постигнуть предназначения высшего начала:

«Нет числа, которым можно исчислить, нет меры, которою можно измерить, нет весов, которыми можно взвесить то, о чем ты спрашиваешь, Анатэма. Всякий, сказавший слово: любовь — солгал. Всякий, сказавший слово: — разум — солгал. И даже тот, кто произнес имя: Бог — солгал ложью последней и страшной. Ибо нет числа — нет весов — нет имени у того, о чем ты спрашиваешь...» (монолог Некто, 1-ая картина).

Поэтому постигнуть, в каком смысле Давид Лейзер «достиг бессмертия (...) в бессмертии света» невозможно, в это надо *поверить*, но это недоступно Анатэме. Доступно ли это людям? Хотя бы некоторым?.. Андреев всё это окутывает мистическим флёром, который для него самого, может быть, был фикцией.

Действительно, пьеса была «вопросительным знаком».

«Трагедией добра» назвал пьесу К. Чуковский; он писал: «Всмотритесь в Давида Лейзера: это огромная глыба испуганного, чрезмерного добра, и под нею где-то, как жалкая мошка барахтается он сам, Давид Лейзер, раздавленный ею. Он вовсе не человек с сердцем, а сердце с человеком — огромное, необъятное сердце и при нем пигмей-человек».¹ Такой художественный прием не удовлетворяет Чуковского, т. к. он давно уже приметил «плакатно-гремящий стиль», стиль «афинского маэстро».

Имя Андреева уже гремело, постановка вопросов «вечных», «проклятых» соответствовала интересам публики, эти проблемы напрашивались сами собой после революции 1905 г., принесшей разочарования. Неудивительно поэтому, что новаторские театры очень заинтересовались пьесой и немедленно вступили с автором в переговоры. Их, повидимому, не испугали ремарки Андреева, в которых он снова требовал от сцены невероятных эффектов.

Достаточно привести здесь хотя бы две ремарки, чтобы убедиться в этом: в первой картине, после того, как Анатэма удалился и воцарилось безмолвие, надлежит *показать*:

«Тишина. Безмолвны камни, безмолвны глухие врата, подавляющие землю безмерной тяжестью своею, безмолвен застывший окаменевший страж. Тишина.

Но не шаги ли Анатэмы разбудили тревожное гулкое эхо? Раз, два — идет кто-то тяжелый. Раз, два — грузно ступает кто-то тяжелый; шаг один, а идущих много; молчит идущий — а уже дрожит тишина, и *зыблется безмолвие*. Мгновение звуковой трево-

ги, бессилия и трепетных порывов. Сразу загорается безмолвие желтыми высокими огнями: то где-то внизу, в *невидимой* земной дали медно-звонким бунтующим криком кричат длинные трубы, которые несут в высоко приподнятых руках: ибо к земле и небу обращен их призывный, мятежный вопль.

Раз, два — теперь уже ясно, что это движется толпа: ее чудовищный голос, ее *слитно-раздельные* вопли, шумливая и бурная речь; и на низинах ее, в лабиринте ломанных и темных переходов, зарождается первый, отчетливый звук, скорее слово, скорее имя: Да-а-ви-и-д. Вычерчивается резче, поднимается выше, и уже над головами плывет оно на крыльях медных воплей, на тяжких ударах переступающих ног.

— Да-а-ви-и-д. Да-а-ви-и-д. Да-а-ви-и-д.

Сливается в аккорды. Становится песней миллионов.

Завывают трубы — звоном звенят медные, хрипом хрипят уставшие — зовут.

Слышит ли их Некто, ограждающий входы? Покрылись стенами серые камни — к ногам поднимаются страстные вопли — но неподвижен Страж, но безмолвен Страж, и немые железные врата.

Грохочет бездна.

Единым ударом, *раскалывающим землю*, обрывается рев медный и крик — и из обломков, как ключ из скалы, разбитой молнией, выбивается нежная, певуче-светлая мелодия.

Смолкает.

Безмолвие. Неподвижность. И ожидание — и ожидание — и ожидание.

Занавес».

Этой ремарке, с литературной точки зрения, нельзя отказать в композиционной и словарной изобретательности, но театр? Можно ли на сцене воспроизвести в полном соответствии с авторскими словами исполняющую, сверхграндиозную *звуковую симфонию*, которая должна вызывать непременно такие *зрительные* образы: *длинные* медные трубы, *высоко приподнятые* руки в *невидимой* земной дали? В какой мере возможен на сцене «единый удар, раскалывающий землю»?

При чтении — в силу авторских стилистических приемов, речевых повторов, даже особой расстановки знаков препинания — воображение читателя играет в унисон с авторским, в театре же, даже самом изощренном, всё это неизбежно станет бледнее, несовершеннее, и даже музыкальные эффекты (которыми с тех пор всё чаще стали пользоваться театр и драматурги, как органической «игровой» частью спектакля) не смогут вызвать *зрительные* образы.

Второй пример: ремарка, совершенно сценически неосуществимая, а между тем для автора очень нужная, — своеобразный, лирический воспринятый им «пейзаж», чуть ли не стихотворение в прозе: улица, где с ликованием стекается народ к Лейзеру,

«Уже близко к закату солнце и обнимает землю тенями. Великой тишиной прощания исполнен воздух, и сонно ложится пыль, — розовая, теплая, познавшая солнце. Завтра, серую, поднимут ее тяжелые колеса, немые таинственные шаги шествующих призрачно явятся и исчезнут, и развеет ее ветер и унесет вода — сегодня она лучится, расцветает пышно, покоится в мире и красоте, розовая, теплая, познавшая солнце» (4-ая картина).

Если бы эта поэтическая картина была вложена в уста кого-нибудь из говорящих на сцене, она, может быть, «дошла бы» до зрителей в театре, но ведь это только ремарка, т. е. то, что не произносится, а то, что надлежит показать, — как же, какими способами постановщик передаст «игру пыли» и ее судьбу «завтра», которое в пьесе «не участвует»?

Не легче и требования относительно грима, напр., у старика-странника «глаза... без блеска — как раскрытые окна в жилом доме, среди ночи».

Не прав ли был А. Белый, в сборнике «Театр» призывавший ради сохранения поэтической прелести символических драм не показывать их на сцене? Л. Андреев, очевидно, думал иначе: он очень заботился о постановках своих пьес, не слишком огорчаясь упрощениями и видоизменениями, невольно вносившимися режиссерами.

(Актриса В. Юренева вспоминает, как вообще вел себя Леонид Андреев на репетициях. Он любил их посещать: «Часто приезжает автор, усаживается рядом с суфлером; у него в руках появляется носовой платок, и он откровенно плачет... Присутствие Андреева на репетициях смущает и расколаживает актеров. Они понимают, что авторские слезы относятся не к их игре, а к самой пьесе, которую Андреев так любит»).

В мае 1909 г. пресса оповестила, что «Анатэма» принята Московским Художественным Театром, в конце лета стало известно, что в Одессе предполагают ее включить в репертуар, а осенью в петербургском Новом Драматическом Театре, образовавшемся взамен закрывшегося театра Коммиссаржевской, стали репетировать пьесу под наблюдением автора, что было сильно разрекламировано.³

2-го октября 1909 года состоялась премьера «Анатэмы» в МХТ. Трагедию на этот раз ставил Вл. Ив. Немирович-Данченко в сотрудничестве с В. Лужским и художником В. А. Сивым.

Сразу же возник горячий и шумный спор между театрами-критиками, которые, однако, почти все сходились на одном: «таланты режиссеров и исполнителей поглотили талант Л. Андреева».

Газета «Голос Москвы» так прямо и говорила: «Анатэма» Немировича-Данченко».⁴

Против общего мнения выступил Эм. Бескин. Он признавал, что философская драма произвела на него «впечатление до жуткости большое», но «драма символа не терпит расцвечивания. Она — схема. Она гравюра. А Художественный Театр — как бытовой, натуралистический, пригнул к земле пьесу, за исключением Качалова-Анатэмы; у автора дана «готика еврейства», а в театре — «паспорт местечкового еврейства»; не нравится критику и Анатэма, после пролога появляющийся в бытовом костюме (но это от автора! И. Е.), это мешает, потому что в пьесе проблема надбытовая.⁵

Очень может быть, что упреки критиков в чрезмерной схематичности его прежней пьесы «Жизнь Человека» подтолкнули Андреева дать в «Анатэме» побольше именно реалистических фигур, а театр охотно воспользовался этим.

«Русские Ведомости» отзывались скептически: «Это всё — экскурсии около глубин, занимающих человечество, но не попытки проникнуть в них». В «Русском Слове» Сергей Яблоновский назвал игру Качалова «гениальным воспроизведением Анатэмы».⁶

В специальный журнал «Театр и Искусство» стали с некоторым опозданием поступать корреспонденции (из Москвы), напечатание которых почти совпало и с петербургской премьерой «Анатэмы» (в середине ноября): актер Н. Россов считал, что в пьесе явственно желание «побольше нагрубить тому, что выше нашего разума», она «символическое изображение нашего века, терзаемого внутренней пустотой», в Качалове он не почувствовал демонизма, а режиссерская работа приглянулась Россову именно в бытовых сценах, где Вишневский-Лейзер и Бутова-Сура создали яркие образы, впадая, впрочем, иногда в «еврейский жанр».⁷

Выступил, наконец, после петербургского спектакля и редактор журнала «Театр и Искусство» (№ 48) А. Р. Кугель. Он стремился поглубже разобраться в новой пьесе и пришел

к выводу, что «Аватэма» — это лучшее из всего, что написал Л. Андреев. Кугель защищает мрачный тон трагедии, полагая, что «религиозная мысль не может быть радостна — по-человечески радостна; она всегда скорбна, уныла, печальна. Она ведет экстазы, но не радости». Не согласен критик с А. В. Амфитеатовым, обозвавшим «Анатэму» — «Фаустом для малограмотных», он готов согласиться, что «банальная идея», будто «добро» являет собою положительное начало, — сомнительна.

Вместе с похвалами смешаны и порицания у Кугеля: основной «грех» автора — при большой образности и силе сравнительно мало изящества. Конечно, Кугель мог говорить только о постановке в Новом Драматическом Театре, он полагал, что спектакль режиссера Санина, кое в чем интересный, имел много погрешностей, что-то похожее на «мейерхольдовскую карикатуру», а главный недостаток — не в декадентских декорациях, костюмах и малоподвижных группах, а в «монотонном и скучном темпе». Ни Муратов-Анатэма, ни Александровский-Лейзер не подходят к ролям.

Л. Андреев был не вполне доволен Московским Художественным Театром, он, как и Бескин, нашел, что в спектакле снижены героика и патетика и выдвинут быт. Может быть, от Мейерхольда и его статьи в сборнике «Театр» Андреев воспринял идею условного театра, театра где «картонные намеки» должны будить фантазию зрителя, а МХТ со всей тщательностью старался дать привычный ему «бытовизм». Мы узнаем об этих пререканиях от В. И. Немировича-Данченко, который, изъясняя свои принципы постановки «Анатэмы», сообщал: «Наше столкновение с Л. Андреевым произошло... Он говорит, что предпочитает хотя бы картонное геройство на сцене, — лишь бы геройство, а мы говорим, что ничего картонного мы не допускаем у нас на сцене. И геройство должно быть у нас в жизненной и простой передаче. И в «Анатэме» мы этого достигли, в этом наша внутренняя победа. И это особенно проявилось во 2-ой картине, где характерное еврейство и будничная простота, и в то же время — глубина трагических переживаний... И мне кажется, что только таким путем можно не только по форме, но и по существу разрешить спор о символизме, реализме и натурализме, т. к. в данном случае актер, путем внутренних переживаний, идет от быта к символу..., найдя высшие точки своего возвышенного образа... Если актер не пройдет через реальные переживания образа..., он будет трафаретным, картонным».⁸

Взаимное недовольство режиссера и автора могло бы

разыгаться и по вопросу о гриме, напр., самого Анатэмы. Достаточно сравнить ремарку в пьесе, где дается воображаемый автором «портрет» Анатэмы, и действительный портрет Качалова-Анатэмы, чтобы увидеть, как театр видоизменил замысел писателя.

Андреев описывает Анатэму так: «Голова преданного заклятию кажется огромной; особенно велик его куполообразный лоб, изрезанный морщинами бесплодных дум и неразрешимых, из века поставленных вопросов. Реденькая борода Анатэмы совершенно седа; побелены сединою и его волосы, некогда черные как смоль, теперь же серыми, дикими лохмами вздымающиеся на голове его».

У Качалова-Анатэмы совершенно голый, странной формы череп, с необыкновенными впадинами, выпуклостями, без переносицы, нет никаких диких лохм волос и реденькой бородки (которая Андреевым, конечно, заимствована — по традиции — у Мефистофеля). В петербургском театре у Муратова-Анатэмы бородака имеетя, форма головы ближе к требованиям автора — куполообразная, но волос тоже нет.

Вопрос не в том, что лучше — авторское или театральное воплощение, примечателен самый факт, напоминающий слова А. Белого о сценических искажениях «ткани» символических пьес. Можно думать, что абстрагированная постановка Санина была больше по душе автору, сценически же пьеса выигрывала в постановке МХТ.

Однако, недоразумения литературно-театрального характера были отодвинуты на задний план иными и очень значительными неприятностями.

В крайне-консервативной газете «Русское Знамя» вскоре после московской премьеры появился грозный сигнал: «Анатэма» была названа «кошунственной пьесой» и «жидовским шедевром»,⁹ затем московская администрация распорядилась выбросить из 4-ой картины сцену, где ликующая толпа бросает под ноги добряка-Лейзера цветы и пальмовые ветви;¹⁰ из «сфер» стало известно, что московское, а затем и всероссийское духовенство ополчилось на пьесу, усматривая в ней своеобразную пародию: Лейзер — Христос; литератору Сергею Яблоновскому (Потресову), собиравшемуся читать публичную лекцию об «Анатэме», градоначальство сообщило, что для этого требуется разрешение духовной власти, к которой, по понятным причинам, бесполезно было обращаться;¹¹ в Саратове

епископ Гермоген в соборе предал проклятию Андреева и его пьесы;¹² в Могилеве вице-губернатор Шидловский, несмотря на предъявление цензурного экземпляра пьесы, запретил второе представление;¹³ в Одессе градоначальник Толмачев разрешил поставить пьесу лишь под условием исключения первой и последней картины (т. е. устранения образа Некто).¹⁴

В середине ноября Главное Управление по делам печати под давлением церковных и правых кругов предприняло новый пересмотр «Анатэмы» и не находя в ней, так сказать, «состава преступления», вторично разрешило пьесу к представлению, но в свое решение включило следующую фразу: «во всяком случае, губернаторам предлагается каждый раз при запрещении сообщать в Главное Управление по делам печати мотивы, повлекшие за собой запрещение».¹⁵ Внешне таким образом пьеса бралась под защиту, внутренние же — осторожно давалось понять губернаторам, что их запрещения должны быть серьезно мотивированы, чтобы Управление, в случае надобности, могло их поддержать.

Провинция спешила показать зрителям новинку и преодолела не мало препятствий, в основном пользуясь приемами постановки МХТ, иногда просто копируя ее (в Саратове и в Тифлисе).

Интерес публики был большой; достаточно указать, что, напр., в Саратове, где после запрета, последовавшего за первым спектаклем, добились нового разрешения, пьеса прошла 9 раз, в Елизаветграде — 5 раз, в Вологде 2 раза, шла в Киеве и Харькове много раз с большим успехом, в Оренбурге 4 раза, а в Риге (в хорошей постановке молодого Таирова, в незлобинской антрепризе) 10 раз!¹⁶

Как это нередко бывало, ущемления со стороны губернских, уездных и городских властей только разжигали интерес публики и становились хорошей рекламой.

«Союз русского народа» усилил свои «выступления» против пьесы; так, напр., в саратовском отделении Союза 22 ноября произошел «Суд над Анатэмой»; присутствовало человек 60 (половина не членов Союза), — докладчик Гришин с огорчением сетовал, что обращение Союза к местной администрации не подействовало, пьеса всё-таки разрешена; тогда на собрании раздались призывы пойти на спектакль и запустить бутылками в Анатэму, а еще лучше бутылками и солеными огурцами. Подогретый такими увлекательными перспективами, некий член Союза — Чистяков — тут же пожертвовал несколько рублей на бутылки и соленые огурцы: «Пойдем спасать

православную веру!» Кроме того, решено было послать в центр телеграмму с просьбой скорейшего запрещения подобных пьес, а также «сказать жиду Струйскому (антрепренеру), чтобы он более не смел ставить эту пьесу!»¹⁷

Зарегистрированы были и другие эпизоды деятельности Союза: в киевском соловцовском театре на представлении «Анатэмы» «союзники» наскандалили и рассыпали среди зрителей нюхательный табак, при чем один из хулиганов был некий Лебедев, ученик киевского художественного училища; в харьковском городском театре какой-то скандалист свистал и был выведен и отправлен в полицейский участок.

Тем временем среди группы православного духовенства нарастало возмущение «кошунственными» спектаклями, призывался на помощь Св. Синод, ходили не вполне проверенные слухи о том, что в Синоде состоялся доклад епископа Гермогена по вопросу о разрешении Главным Управлением по делам печати «Анатэмы», что будто бы Синод постановил также изъять из продажи пьесу и сообщил об этом министру внутренних дел; однако, петербургской газете «Биржевые Ведомости» удалось разузнать, что такого синодального постановления не было, и доклад еп. Гермогена не был заслушан, а только зарегистрирован.¹⁸

В самом начале января 1910 г. в ультра-консервативной газете «Русское Знамя» (№ 3) печатно выступил епископ Гермоген со специальной статьей против «Анатэмы» (и новой пьесы Андреева «Анфиса»). В статье указывались аналогии между именами и ситуациями «Анатэмы» и Евангелия и делался следующий вывод:

«Цель сочинения «Анатэмы» та, чтобы самым кошунственным образом осмеять Господа нашего Иисуса Христа, а вместе с Ним и всё Его дело, т. е. христианство... Другая цель — осмеяв любовь и делание добра, положить в основу жизни современного человечества так называемый демонизм или почитание днавола». Усматривается это из положения: «Анатэма — злой дух — ищет только правды». Вывод епископа: «Современный театр превзошел даже языческий своею возмутительнейшей гнусностью» (между прочим, еп. Гермоген в статье защищался от укоров, что он будто бы делал земные поклоны губернатору, умоляя его запретить «Анатэму»). Позже, в феврале 1910 г. еп. Гермоген произнес в саратовской церкви св. ап. Петра и Павла проповедь, в которой грозно предупредил паству, что не будет допускать к причастию тех, кто ходит в театр, а 12 февраля отменил в кафедральном соборе панихи-

ду по Коммиссаржевской, внезапно скончавшейся в Туркестане 9-го февраля; смерть эта потрясла всю интеллигентскую Россию.¹⁹

Борьба духовенства против кощунственных пассажей в литературе и театре вполне понятна, но обращение его за помощью к полиции — мера, конечно, сомнительная.

Давление на МХТ становилось всё сильнее. Московский корреспондент газеты «Речь» (СПБ) сообщал, что, очевидно, по жалобе духовенства один из рядовых спектаклей просмотрел московский градоначальник с пьесой в руках и нашел, что «вознегодовали на нее совершенно напрасно» и снимать ее с репертуара незачем, но дело пошло дальше, — в Петербург.²⁰

Вл. И. Немирович-Данченко поехал в столицу с целью личного свидания со Столыпиным, но премьер-министр в этот момент был в отъезде, где-то на юге. Казалось, что через директоров департаментов министерства дело пошло к успокоительной развязке.

Начальник Главного Управления по делам печати — Бельгардт — лично вскоре приехал в Москву, просмотрел спектакль МХТ, интересовался, не меняли ли после первых спектаклей грим Лейзера, убедился по предъявленным фотографиям, что никаких изменений не произошло, и в результате этого посещения было убрано из текста только *одно* слово (к сожалению, сейчас трудно установить, какое именно).²¹

После всего этого явилось совершенной неожиданностью окончательное запрещение пьесы 10 января 1910 года.

«Анатэма» была одной из самых недолговечных пьес в репертуаре МХТ; она, потребовавшая при подготовке 89-ти репетиций, за три месяца и одну неделю прошла 37 раз и, несмотря на полные сборы, не покрыла больших расходов по постановке: театр понес убытку около 30 тысяч рублей, потеряли и все прочие театры.

Из нескольких путанных, как бы зашифрованных сведений прессы того времени можно понять, что запрещение «Анатэмы» было результатом весьма активной деятельности епископа Феофана, в то время — ректора СПБ-ской духовной Академии. Он поддержал протесты еп. Гермогена и, пользуясь из всех духовных лиц наибольшим влиянием в придворных сферах, добился там нужного верховного распоряжения.²²

В конце концов, вникнув в позицию духовенства, охранявшего устои православия, нетрудно понять последовательность его действий: пьеса, в самом деле, давала ему основание для решительной борьбы с нею. Важно отметить другое: свет-

ская администрация, хотя бы и при «кущей конституции», как тогда говорили. при власти Столыпина, теперь не кажется уж столь реакционной и «зажимистой», об этом свидетельствует поведение московского градоначальника и Главного Управления по делам печати. «Анатэма» в какой-то степени подрывала и основы существовавшего тогда государственного строя. Иначе говоря, пьеса могла быть квалифицирована, как революционизирующая народное сознание.

Более чем любопытно сопоставить с указанными фактами неизменную пока оценку в советском литературоведении «Жизни Человека» и, в особенности, «Анатэмы», как пьес, оказывавших якобы пользу *реакционным* тенденциям русской жизни между двумя революциями; например, «Объективно Андреев при всей своей субъективной антибуржуазности играл роль могильщика революционных порывов интеллигенции, убеждая ее, что не стоит бороться, верить, любить — нужно либо умереть, либо спокойно существовать в столыпинской России»;²³ ««Философия» индивидуализма и пессимизма, усугубленная мистикой»... «Сближение с антиреалистической драматургией символизма»;²⁴ «В эпоху столыпинской реакции Л. Андреев стал выразителем реакционных настроений».²⁵ Эти «приговоры» датируются 1929-1954 гг.

Едва ли нужно объяснять, насколько такими сведениями в весьма ученых по облику советских изданиях упрощается, если не сказать больше, истинное «звучание» пьес (да и всего творчества) Л. Андреева. В действительности это было очень сложное, многосоставное явление, оценить которое в двух-трех схематических фразах совершенно невозможно, и заносить Андреева в разряд «объективно-служивших реакции» — значит дезинформировать читателей, в представлении которых писатель невольно оказывается чуть ли не в содружестве с «Союзом Русского Народа».

Киевский корреспондент М. Рабинович горячо писал в «Театр и Искусство» (1910, № 2): «Леонид Андреев — единственный автор, владеющий тайной волновать умы», взволнован он и этой пьесой, в которой ясно выражено: «есть лишь два полюса, два враждующих начала: вера и мысль. Всё остальное несущественно. Добро и Зло пустые слова, условные понятия»... Пьеса, может быть, чрезмерно очаровала критика, но он же берет под сомнение сценическую реализацию в киевском соловцовском театре; он пишет:

«Пьеса... поставлена громоздко и грубо (режиссер Н. Савинов), угнетала темнота в прологе и эпилоге, Анатэма в ис-

полнении хорошего актера, но бытовика — Леонтьева, ничего inferнального в себе не имел, Лейзер (тоже хороший актер — Павленков) — сух и резок». Из отзывов с мест было известно, что в Тифлисе постановка Зиновьева смахивала на карикатуру спектакля МХТ, Зиновьев неудачно играл Анатэму, а актеру Беляеву не удался Лейзер. Повидимому, в Риге только актер Харламов — с подвижным и впечатлительным темпераментом — одолел, подобно Качалову, образ Анатэмы, другие же были слабоваты. В конце концов, прав был А. Белый, заметивший, что для исполнения символических ролей нужны особые актеры со своеобразной психологией. Таких актеров в то время почти не было. Да и есть ли они теперь?

В итоге — еще раз вывод: символические драмы, как правило, не приобретают, а теряют на театральных подмостках.

Неудивительно поэтому, что новых *больших* опытов (все-российского масштаба) сценического воплощения русских символических пьес мы после 1910 года не встретим. Да и Л. Андреев, на долю которого выпала самая громкая слава драматурга-символиста, вскоре возвращается к психологической драме с реальными образами. «Дни нашей жизни», «Гаудеамус», «Катерина Ивановна», «Профессор Сторицын», «Тот, кто получает пощечины», «Король, закон и свобода», «Милые призраки» — всё это пьесы, где изредка можно принять тот или другой персонаж за символический, но «фактура» пьес совершенно иная, *удобная* для театра, поддающаяся «вещному» изображению.

Петр Ершов

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1) К. Чуковский, «Лица и Маски», изд. «Шиповник» (1914 ?), стр. 72.
- 2) В. Юренева, Записки актрисы, изд. «Искусство», М., 1946, стр. 149-50.
- 3) «Театр и Искусство», 1909, №№ 20, 30, 36, 38 (отдел «Хроника»).
- 4) Там же, 1909, № 41, стр. 694.
- 5) Там же, стр. 702-3.
- 6) Там же, стр. 694.
- 7) Там же, 1909, № 47, стр. 829-832.
- 8) Сборник-альбом «Московский Художественный Театр», изд. журн. «Рампа и Жизнь», том 2-ой, М., 1914, стр. 73.
- 9) Там же, стр. 71.

- 10) Там же.
- 11) «Театр и Искусство», 1909, № 44, стр. 755.
- 12) Там же, № 47 (телеграмма).
- 13) Там же, № 45, стр. 794-5.
- 14) Там же, стр. 796.
- 15) Там же, № 47, передовая от 22 ноября, стр. 826.
- 16) Там же, №№ 48, 49, 51, 52 (Хроника).
- 17) Там же, № 48, стр. 868 («По провинции»).
- 18) Там же, 1909, № 49, стр. 874, и 1910, № 3, стр. 50-1.
- 19) Там же, 1910, № 3, стр. 50-51; о проповеди еп. Гермогена и запрещении панихиды см. № 7, передовая стр. 146.
- 20) Там же, 1910, № 3, передовая статья с цитатами из газ. «Речь».
- 21) Там же, стр. 50-1.
- 22) Там же.
- 23) Г. Горбачев, статья «Л. Н. Андреев» в «Литературной Энциклопедии», том 1, М., 1929, стр. 156.
- 24) «История русской литературы», изд. Академии Наук СССР (Институт русской литературы 'Пушкинский Дом'), М., 1954, том 10 (Л-ра 1890-1917 гг.), глава 9-ая: проза буржуазного упадка, стр. 615.
- 25) А. Волков, Очерки русской литературы конца 19 и начала 20 веков, ГИХЛ, М., 1952, стр. 419.

ПИСЬМА О. Л. КНИППЕР-ЧЕХОВОЙ

Много, много, много лет тому назад, чудесным весенним петербургским днем, один из моих друзей, владевший автомобилем, что в те времена являлось сравнительной редкостью, предложил мне проехаться с ним на Острова. Оставив машину неподалеку от Стрелки, мы отправились прогуляться и только что остановились, чтобы полюбоваться видом сверкавшего на солнце взморья, как за нами раздался женский голос: «Молодые люди, покатайте нас на автомобиле». Мы обернулись и увидели двух нарядных дам, которые оказались артистками гостившего тогда в Петербурге Московского Художественного Театра О. Л. Книппер-Чеховой и М. П. Лилиной. С Лилиной и ее мужем К. С. Станиславским я уже был знаком — они оба были пациентами моего отца и бывали в нашем доме как друзья. Книппер же я знал только по сцене и был большим поклонником ее таланта, так же как и таланта Лилиной. Я поспешил назвать фамилию моего друга, Мария Петровна представила нас Ольге Леонардовне, мы усадили дам в автомобиль и проехали несколько раз вокруг Стрелки. На наше предложение отвезти их обратно в город они ответили отказом, потому что их ждал нанятый ими извозчик. Конечно, мы оба остались очень довольны неожиданной встречей с первыми артистками театра, который петербуржцы любили и ценили не меньше москвичей.

Печальная весть о кончине О. Л. Книппер-Чеховой напомнила мне об этом первом моем знакомстве с чудесной актрисой, которая с годами стала близким моим и моих родных другом. Я лично подружился с нею во время десятилетней моей административной работы в Художественном Театре между 1918 и 1928 годами как в Москве, так и за границей, когда сперва часть Театра гастролировала на юге России и в Европе, а затем весь театр полностью играл в Европе и США. Не мало содействовал нашему приятельскому сближению квартирный вопрос в Москве. Когда жилищное дело находилось там в самом плачевном состоянии и найти свободную комнату было невозможно, Ольга Леонардовна выручила меня и предложила мне поселиться в ее квартире. Там имелась «дополнительная

жилищная площадь», т. е. столовая, на которую «народная артистка Книппер-Чехова» имела право. В этой столовой был поставлен большой шкаф и ширма, за которыми мне было отведено место «углового жильца». Включенный в состав книпперовской семьи, я почувствовал себя как дома и стал жить общими интересами всего «окружения» Ольги Леонардовны. Возможность проводить немногие свободные от театральной работы часы в чеховской атмосфере квартиры на Пречистенском бульваре близ памятника Гоголю была для меня большой радостью. В квартире этой, помимо самой хозяйки, жили ее тетка, милейшая и добрейшая полуглухая немка, напоминавшая персонаж из сказок Гримма, которая вела всё хозяйство и кормила нас и которую мы звали «тантэ», племянник Ольги Леонардовны молодой композитор Л. К. Книппер, чьи произведения тогда только начали исполняться и издаваться, и С. В. Чехова, вдова брата Антона Павловича Ивана Павловича. Нередко приезжала гостить из Ялты сестра Чехова Мария Павловна. Женщина эта посвятила жизнь служению своему великому брату и своей мягкостью, чуткостью, наблюдательностью и тонким юмором напоминала Антона Павловича. Общение с нею одухотворяло и радовало. Частыми гостями бывали научная сотрудница Румянцевского Музея Е. Н. Коншина, работавшая над исследованием рукописей Чехова, театроведы П. А. Марков и Н. Д. Волков, театральный художник В. В. Дмитриев. Заходил к нам М. А. Булгаков, талантливый автор романа «Белая Гвардия», переделанного им в пьесу «Дни Турбиных». Нередко, после спектаклей, мы собирались вместе за чайным столом и подолгу беседовали о театре, литературе, музыке...

Летом 1928 г. я расстался с Художественным Театром, покинул Россию и переселился в Голливуд, откуда переписывался с Ольгой Леонардовной. Продолжалось это до 1935 г., затем она перестала писать мне, вероятно из чувства предосторожности, заставлявшего избегать «сношений с заграницей». На корреспонденцию она была скупа, я же писал ей довольно регулярно, получая ответы изредка, так что в моем распоряжении сохранилось, к сожалению, очень мало писем. Мне думается, что, несмотря на свою незначительность, письма эти всё же представляют известный интерес для опубликования. Они являются материалом и для биографии Книппер-Чеховой, и для истории Художественного Театра периода между 1928 и 1935 годами, когда в этом театре, всегда знаменитом своей внутренней спайкой и организованностью, начали ощущаться признаки распада творческой дисциплины и объ-

единения художественного руководства. Предлагая письма вниманию читателей, я пропускаю некоторые излишне, так сказать, «семейные» подробности, только изредка воспроизводя кое-какие бытовые мелочи, иллюстрирующие обстановку домашней жизни Ольги Леонардовны и ее близких.

Первое письмо датировано 16 декабря 1928 г. и является ответом на несколько моих писем из Холливуда после того, как я прочно обосновался там. Главная часть содержания этого и последовавшего за ним письма посвящена празднованию тридцатилетия Художественного Театра, о котором мне подробно уже сообщили В. Ив. Немирович-Данченко и секретарша дирекции Театра О. С. Бокшанская.

«Вы меня знаете и потому не клянете», писала Ольга Леонардовна. «Скажу вам, что имеет свою остроту нечистая совесть — каждый день укоряешь себя и думаешь о человеке, перед которым совесть нечиста: резюме — каждый день вспоминаешь того далекого человека, а напишешь — и успокоишься... Вы улыбаетесь! Как вам хорошо наверно в вашем очаровательном домике — тепло, чисто, уютно! А я вечерами взгляну за ширмочки и вспоминаю «барина» за ширмочками и наши уютные обеды и ужины... Жизнь идет тихо. Самое интересное для меня — это работа над «Дядюшкиным Сном», которая ведется теперь довольно энергично Сахновским, с которым мне приятно работать. Он чувствует, любит и понимает Достоевского. Вероятно этот спектакль окажется никому не нужным по теперешним временам, но всё равно приятно работать, приятно думать о нем, и то слава Богу. Ну-с, о юбилее вы наверное уже наслушались. Было очень торжественно, по хорошему и со вкусом. Очень волнительно. За юбилеями ездила молодежь в автомобиле. За мной приехали Ершов и Масальский, как женихи, с цветами. Около театра стояла толпища народа, двор весь освещен, гремела музыка, встречали аплодисментами, вся молодежь — это всё было очень волнительно, до слёз... За кулисами суета, приготовления, чаепитие, нарядные женщины, ожидание. Конечно Луначарский опоздал чуть не на час, было отвратительно. Но вот мы забрались по лесенке наверх на середину сцены и стали за занавесом... Загремели фанфары, занавес раздвинулся, и мы стали спускаться по широкой белой лестнице, устланной золотым ковром. По бокам огромные вазы с большими красными цветами. На сцене амфитеатром сидела вся труппа и весь организм театра, налево президиум, а направо разместились юбилеры. Впереди шла Раевская, налево Лилина, на-

право я, затем все дамы юбилярши. Когда показались наши «два», весь театр встал. Начал длинную речь Луначарский, затем приветствия, подношения длились до 12 часов. Целая комната в музее занята подарками. В час сели за ужин, который целиком погиб от невероятного наплыва людей, оставшихся сверх комплекта. С Алексеем Александровичем¹ сделался сердечный припадок от волнения, даже доктора призывали, во! Было тесно, распорядители растерялись, одним словом не вышло, хотя сидели потом и танцевали, и пили до утра. На другой день было открытие выставки в музее. Да, после всех приветствий накануне были ответные речи наших «двух». Не очень вышло. Константин Сергеевич слишком много благодарил и кланялся и слишком долго говорил. Вообще, хотя «они» и обменивались любезностями и называли друг друга мужем и женой, но сквозившая пикировка не ускользнула от публики. 29-го был юбилейный спектакль. Шла сцена примирения из «Федора», сцена с актерами из «Гамлега», две сцены из «Карамазовых», первый акт из «Трех Сестер» и «Колокольня» из «Бронепоезда». Была сплошная овация. После «Трех сестер» занавес не закрывался. Кончился вечер печально — был еще в театре сердечный припадок у К. С., так что вся неделя торжеств прошла, увы, без него. Это грустное обстоятельство отняло много радости у всех нас. Был прием в Академии и Обществе Российской Словесности, куда мы попали почетными членами. Там хорошо говорил Н. Д. Волков и Сахновский, говоривший очень горячо, но не совсем ясно о чем. Были мы на «файв о'клоке» в Обществе культурной связи с заграницей, где пела Зоя Лодий, где был милый Бранко Гавелла, приехавший только к 29-му. Ах, как я была ему рада!»

Бранко Гавелла, высоко талантливый хорватский режиссер, был одним из тех представителей сценического искусства Югославии, которые горячо полюбили Московский Художественный Театр и его актеров во время двукратных гастролей москвичей в Загребе. Между ним, его сотоварищами по правительственному Загребскому театру и московскими артистами установились сердечные, дружеские отношения, и потому Ольга Леонардовна так обрадовалась его приезду в Москву на юбилей Художественного Театра. О Загребе у москвичей остались самые восторженные воспоминания. Да и неудивительно: Художественный Театр видел на своем веку

¹ А. А. Прокофьев, буфетчик МХАТ со дня его основания.

много оваций, но такой теплоты и сердечности, какой подарил его Загреб, он еще никогда не испытывал.

Письмо свое Ольге Леонардовне пришлось прервать и вернуться к нему она смогла лишь через неделю: «Видите, за всю неделю не было возможности кончить письмо — я три раза за короткое время целые дни проводила в театре — по две репетиции в день плюс спектакли и концерты, и я начала сильно уставать. И когда случается быть дома — лежу на своем коротеньком диванчике, а по воскресеньям лежу в постели до трех часов. Прибавились репетиции «Вишневого Сада», в который вводится Ершов-Гаев. Лужский и Качалов отказались. 4 января начинаем играть. Болезнь К. С. внесла смятение в сезон. Он должен был выпускать и работать «Дядюшкин Сон» и «Плоды просвещения». Мы должны были ехать за границу, и из этой поездки, увы, теперь ничего не выйдет без него. Вл. Ив. работает теперь «Блокаду» Вс. Иванова и будет заниматься пьесой «Бег» Булгакова, которую ведет пока Литовцева. «Квадратура круга» Катаева имеет огромный успех на Малой сцене. Декорации к «Дядюшкину Сну» делает Зандин, ваш Петербургский. Настроение в театре очень рабочее я бы сказала. Есть еще пьеса «Три Толстяка» Олеши, о которой мечтает К. С. и которую заготавливает Горчаков. Пьеса очень интересная. Читал у нас недавно свою пьесу Ал. Толстой с фигурами Петра Первого и Алексея, но ничего не сказал, а язык его блестящий, красочный. Не знаю как Вл. Ив. справится с сезоном. Еще отдает силы и в свой Музыкальный Театр. Читал Киршон, очень приятный, молодой, пьеса хорошая, с лирикой, сентиментализмом,² но... опять меньшевики, большевики, социал-революционеры и т. д. Гавелла обедал у нас два раза, я была в Обществе культурной связи с заграницей на его лекции. Он уезжал полный впечатлений. Очень вспоминал и расспрашивал про вас. Возвращаюсь к юбилею: принимали нас в Консерватории писатели и артисты. Очень смешил Пантелеймон Романов своими рассказами, танцевала Гельцер в черных газах, Саня Яблочкина читала Татьяну с большим волнением, кривлялась Гоголева, читала Пашенная. Чудесный вечер был в Малом Театре — замечательно было радушно, заботливо, уютно, весело, все театры подносили нам по прекрасно сделанному с подходящим текстом отрывку. Очень было печально, что К. С. всюду отсутствовал. Были бес-

² «Хлеб» — пьеса Киршона, исчезнувшая из репертуара по политическим причинам.

конечные консилиумы. Сейчас ему лучше. Думают отправлять его за границу, но ему, кажется, это не улыбается. Я это лето решила ехать в Берлин — не смейтесь, прошу вас. Вчера пришла ваша открытка с апельсиновой рощей — спасибо! И особенно ценю, что ни одного упрека, ни укора за мое непонятное молчание. Поздравляю вас с Новым Годом! Рождества, по моему, нет, по крайней мере у нас — все учатся. Наша елка будет 6 января. Наши домочадцы все вас вспоминают и всегда радуются весточке от вас... Смотрела «Митькино Царство» (Липскерова) во втором МХТ. Высмеивать всё можно, но или с умом, или со злостью. Здесь же всё плохо, глупо, похабно. Наплевать на историю, на человека, на Пушкина, на поэзию — ужасный спектакль! Умно Миша сделал, что ушел от них».

Так возмущившая Ольгу Леонардовну пьеса Липскерова, посвященная Димитрию Самозванцу, продержалась на сцене недолго и была снята с репертуара. — Миша — это покойный артист, режиссер и театральный педагог Михаил Александрович Чехов, бывший директором Второго Художественного Театра — прежней Первой Студии МХТ, — который он покинул в 1928 г., уехав за границу.

Следующее письмо датировано 8 апреля 1929 г.: «У нас до сих пор зима. И сейчас идет снег. В театре нехорошо и трудно. Репетируют сейчас «Карамазовых», которые скоро пойдут, «Бесприданницу» (Тарасова, я, Хмелев — Карандышев, Баталов — Паратов), «Три Толстяка» (Олеши), «Воскресение» Толстого (Нехлюдов — Ершов, чтец — Качалов, Катюша — Еланская). Судьба «Дядюшкиного Сна» трагична. Коренева всё время создавала невыносимую атмосферу в работе из-за ее отношения к Котлубай. В этом сезоне пришел к нам Сахновский, работали сначала ничего, потом опять пошли недоразумения. Что было может быть интересного — всё завяло, и когда смотрел несколько картин Вл. Ив. было совсем плохо. И теперь опять остановка. Сахновский ушел в «Бесприданницу», где и я занята, и Хмелев. Очевидно будут ждать К. С. Я сейчас, воспользовавшись, что я одна, пошла и пела, пела итальянцев старых и Шумана «Frauenliebe» — по моему в первый раз за всю зиму. Захотелось опять. Легче жить когда поешь. Вчера была на концерте Клемперера — Сюита Баха, «Nuages» и «Les Fêtes» Дебюсси и 7 Симфония Бетховена. Когда работаешь, слушаешь хорошую музыку и сидишь дома — можно жить. Дмитриев у нас прижился, приезжает как домой, мы его зовем Вово. Шесть недель жила у нас Мария Павловна, на той неделе уехала. Жилось с ней хорошо. Ездили

по театрам — неутешительно. Был юбилей Яблочкиной. Большой Театр, «Мария Стюарт», обычный вид всей картины. Конечно, это не праздник художественный, а юбилей хорошего товарища, хорошего человека. Она была счастлива, кланялась, благодарила за «народную». Был 50-летний юбилей Филармонии в Малом Театре, вспоминалось прошлое... Играем «Вишневый сад» с Ершовым — Гаевым и Тархановым — Фирсом. Ершов очень и очень не плох, прост, благороден, не наигрывает и всем нравится. Тарханов для публики очень хорош, а мне не очень по душе, чего-то внутри не хватает. Будем играть до 1 июля — о, ужас! Думаю ехать в Берлин, не знаю еще как выйдет. Читаю «Мою жизнь» Айседоры Дункан. Читаю Элеонору Дузе — жизнь ее, но, увы, по-немецки и потому тяжело читается, очень не вяжется с ней немецкий язык. Знаете ли вы, что Лужский выбыл до конца сезона? У него грудная жаба, припадки с печенью что-то. Тоже как и К. С. поедет за границу. Вишневский всё еще в санатории под Москвой, но совсем поправился. У него ведь временно психика была нарушена. Грибунин не очень надежен, всё задыхается. В «Вишневом саду» уже не танцует, а стоит и дирижирует и только променад ведет на авансцену».

Слова «в театре нехорошо и трудно» объясняются тем, что с постепенным внедрением в руководство Художественного Театра политического элемента началось усиление давления административного аппарата. Что же касается тяжелой атмосферы, создававшейся Л. М. Кореновой во время репетиций «Дядюшкиного сна», к которой Ольга Леонардовна несколько раз возвращается в своих письмах, то причина этого печального явления, свидетельствовавшего о падении профессиональной дисциплины в театре, заключалась в очень трудном и неуживчивом характере этой талантливой артистки, незабываемой создательницы образов Тургенева и Достоевского. Работать с нею было нелегко, и единственные режиссеры, достигавшие с нею великолепных результатов, были Немирович-Данченко и Станиславский, авторитет которых был для нее неоспорим.

Почти полгода я не получал писем от О. Л. Затем она написала мне 12 октября 1929 г. из Москвы, после летнего отдыха в Германии и в Крыму: «Не знаю с чего начинать? Лето было пестрое. Поездка в Берлин трудная. Никого не пустили. Вообще, после нашей жизни сразу перенестись на Запад — не так легко. Я нервничала первое время и как-то ничего не принимала первое время. Была в Баденвейлере дней

пять, очень приятно было повидать кашу Алексеевых, был там Добужинский дня два. Шаров жил там — представляете как мы вспоминали! Из Берлина катнула в Гурзуф. Там жари-лась, купалась и блаженствовала. Там стало дивно хорошо. С начала сентября сразу попала в работу, и вот тянем, тянем «Дядюшкин сон» — аж набрыдло! Думаем кончать всё же. Работают много пьес. Вл. Ив. как будто в хорошем настроении. Дома у нас всё ладно. Смотрела на днях «Старое и Новое» Эйзенштейна. Прекрасно сделано, чувствуется пафос, какое-то языческое скифство. Замечательная картина, но «Мулэн Руж» у публики имел больший успех. Вот-с!.. О театре вы наверное почти всё знаете. Какая мучительная была работа с «Дядюшкиным сном»! Ох! Если сойдет благополучно — будет чудо. Атмосфера недопустимая во время работы. Сначала возмутительные взаимоотношения Коренева — Лужский, а уж Коренева — Котлубай — невыносимо. Ушел Лужский, вступил Сахновский, не выдержал дуэта с Котлубай — ушел, остались мы одни. Теперь немного вправляет в колею Вл. Ив., «Вишневый сад» играем с радостью. Ершов очень приятен и приемлем в Гаеве».

Трудность поездки в Берлин, куда Ольга Леонардовна ездила гостить к своей племяннице — известной немецкой кинематографической артистке Ольге Чеховой, заключалась в бесконечных осложнениях с получением заграничного паспорта. — «Семейная каша Алексеевых» — это шуточное название семьи Станисловского, жившей в это время с Константином Сергеевичем в Баденвейлере — курорте в Шварцвальде, где, как известно, скончался А. П. Чехов. Находившийся там же П. Ф. Шаров принадлежал к той группе артистов МХТ с Книппер-Чеховой и Качаловым во главе, которая во время летних своих спектаклей в 1919 г. в Харькове событиями гражданской войны оказалась отрезанной от Москвы и около трех лет гастролировала с огромным успехом сперва на территории Добровольческой Армии, а затем в Европе. Ольга Леонардовна любила вспоминать эти интересные годы скитаний. Когда кочующая группа в 1922 г. получила возможность вернуться в Москву, с тем, чтобы потом МХТ в полном своем составе отправился на гастроли в Европу и США, Шаров от театра отделился и занялся режиссурой в Германии, Австрии, Голландии и Италии, а кроме того открыл свою школу драматического искусства в Риме, которая существует и в настоящее время. «Мулэн Руж» — эффектный фильм с Ольгой Чеховой в главной роли, с атмосферой, заставляющей забывать

тягости жизни в Москве и переносившей в обстановку веселящегося Парижа, как видно, нравился публике гораздо больше, чем картина Эйзенштейна, которая оставила Ольгу Леонардовну под сильным впечатлением своей монументальностью.

Следующее письмо от 10 декабря 1929 г. извещало меня, что злополучная постановка «Дядюшкиного Сна» наконец состоялась. «Ну, у меня полегчало», писала О. Л. «Сдали «Дядюшкин сон» и, представьте, с большим успехом. Меня поздравляли и захвалили. Я очень рада, т. к. работа была мучительная. У меня давно не было такого ощущения радости на сцене распоряжаться ролью и купаться в ней. Буду еще играть в «Воскресении» Толстого — графиню Чарскую — одна небольшая сцена, но прелестная с Нехлюдовым и Мариэтт. Сейчас начала заниматься «Чайкой». Моя мечта поднять ее к 17-30 января и целиком проиграть без декораций и костюмов, знаете как мы бывало устраивали? На днях получила письмо от Марии Петровны. Они переезжают в Ниццу. К. С. перенес повторный грипп с осложнением в правом легком, но теперь поправляется. Пишет, что в Дюссельдорфе появился какой-то Джэк-потрошитель, наводит на всех ужас, и театры и кафе пустуют. В МХТ Втором смотрела «Чудака»³ — приятный современный спектакль с сентиментом, но уйдешь, и не о чем вспомнить. Я немного поиграла в кино плачущую мать (1906 г.) — сын революционер, приговорен к смертной казни. Не знаю как выйдет. Хворает у нас Качалов. Воспаление прошло, но организм сильно поизносился и потому надо отдыхать. Задерживается «Воскресение»...»

Постановка «Дядюшкиного сна», о неприятностях которой несколько раз писала О. Л., доходя до отчаяния, вылилась, в конце концов, в удачный спектакль благодаря тому, что за режиссуру его взялся Немирович-Данченко. 1 декабря 1929 г. он писал мне: «Вообразите, что из совершенно безнадёжного «Дядюшкиного сна» я, кажется, сделал хороший спектакль», а затем 15 декабря он сообщал: «Вчера пропустил последнюю генеральную «Дядюшкиного сна» (скорее «Летаргии»). Благодаря моей огромной работе совершенно безнадёжный спектакль стал даже волнующим и радующим... Ольга Леонардовна давно так не играла».

³ Пьеса Афиногенова.

Прошло около трех месяцев прежде чем я получил следующее письмо, датированное 5 марта 1930 г.: «Сначала причина моего молчания была моя болезнь — я почти два месяца кроме сцены и своей постели ничего не видела. Грипп я перенесла на ногах, играла с ужаснейшим голосом, а последствие — невероятная слабость — я могла только лежать, вечерами меня увозили и привозили, я играла с кофеином, стрихнином, два раза с шампанским — ужасное состояние, а затем просто устало сердце. Ведь я за один февраль сыграла 22 раза из 28 дней. На это я не жалею — я счастлива когда я на сцене при теперешней нашей жизни. Когда я начала поправляться, приехала Мария Павловна в «Зойкину квартиру»,⁴ как она называет кв. 3 в доме 23, и пошла кутерьма. Но каждый день я себе говорила: хочу вам написать, и каждый день не выходило за полным отсутствием во мне этой внутренней воспитанности и дисциплины, за что вы вправе меня презирать... Наша жизнь идет пестро, беспокойно, волнительно. В доме работают все до одурения. Лёва в каком-то рабочем остервенении, около 20-го премьеры «Города ветров»,⁵ и чувствуете, что будет? Я его почти не вижу. Придет, пообедает и валится спать и только вечерами немного сидим за самоваром, перекидываемся впечатлениями дня. Тантэ бегаёт, рыщет по рынкам в поисках провизии. Джюджи облаивает каждого пришедшего, любит сладенькое. Иногда играем в карты с Волковым, Марковым. Вчера были в Кружке⁶ после «Воскресения». Было очень приятно, уютно, хорошо кормили. Я, наконец, объяснилась с Леонидовым, ведь он из-за какого-то пустяка не говорил со мной больше года и не здоровался. Я очень рада. Я как-то с умилением смотрю на наших стариков... Вчера смотрела первый раз черновую генеральную «Отелло». Я понимаю, что Вл. Ив. не соглашается вступать в эту работу и потому советчики теперь около Судакора — Москвин и Качалов. Меня волнует и беспокоит этот спектакль. Первый раз у нас Шекспир⁷ и... в руках Судакора. Головина я совсем не принимаю. Это ужасная опера, так старо и неинтересно. Но раз принято К. С.... Леонидов прекрасно и просто играет. Очень меня за-

⁴ Веселая комедия М. А. Булгакова, имевшая огромный успех.

⁵ Опера Л. К. Книппера, поставленная в Музыкальном Театре Немировича-Данченко под названием «Северный Ветер».

⁶ Литературно-Художественный Кружок, сохранившийся от старых времен.

⁷ Первая постановка пьесы Шекспира после революции.

интересовал Синицын — Яго. Играет умно, просто, он какой-то из Шекспира весь. Хорош Ливанов — Кассио. Дамы Тарасова и Шевченко очень красивы, но простоваты, а не возвышенно просты. Конечно, опять-таки чувствуется отсутствие талантливого режиссера, хозяина постановки. Не знаю что выйдет из этого спектакля. Недавно смотрела «Петра Первого» во Втором МХТ — грубо, неинтересно. Готовцев никакой Петр, Берсенева — Алексей-царевич — при очень хорошей внешности полное неумение говорить просто, всё ужимки, вы его знаете. Прошу не забывать меня. Кончаю, многого не написала. Вы знаете, что в мае мы едем — Тифлис—Баку—Харьков до половины июля, а затем я в Гурзуф».

Вскоре после этого письма последовало другое, от 4 апреля 1930 г.: «Настала как будто тишина в квартире! И мне захотелось написать вам. Шесть недель жила у нас Мария Павловна, на-днях ее проводила. А кажется, что мало ее видела. Я ведь играю невероятно много, так что не бываю дома по вечерам, а она всё бегала по своим музейным делам. А в конце месяца квартира была переполнена. Приезжала Ада⁸ на несколько дней перед отъездом в Берлин, жил Дмитриев перед премьерой, тут же генеральные «Северного ветра», а у меня спектакли каждый день. Даже койку прикупили для Ады... Не могу сказать какое у меня впечатление от «Отелло». Головин совсем неинтересен, стар, точно старая опера, одна Кипрская стена чего стоит. Леонидов, удививший молодежь и К. С. в прошлом году в фойе — как дошло до сцены, так и кончился. И опять хватается за стенки и мебель. Я смотрела (не все) премьеру и видела только личную трагедию Леонидова. Очень хорош, даже очень Синицын — Яго. Ливанов — хорошо, мила и приятна Тарасова, особенно в последней картине, но совсем не умеет носить костюм. Шевченко — голова очень красива, но всё что ниже — семипудовое тело, неэстетично. В последней картине вопит как Василиса в «На дне». Никакого Шекспира. Очень всё грустно. Леонидов как бы показывает как надо играть Отелло, рисунок прекрасный, но ведь этого мало. От Судакова отрешиваются, все художники не хотят работать с ним. Я их понимаю. На большой сцене репетируют «Три толстяка» — чудесная пьеса. Работает теперь там Москвин с Горчаковым, но, конечно, это дело Станиславского. Я думаю, что с «Отелло» неправильно поступили. Раз нет К. С., который должен был выполнить свой план,

⁸ Ада — племянница Ольги Леонардовны.

выношенный им, надо было отказаться от Головина и ставить упрощенным способом, на сукнах, без претензий — это было бы лучше и менее обидно для К. С. Не знаешь что и писать ему. Вл. Ив. совсем не видел «Отелло», и я его понимаю. Мы уезжаем 9 мая в Тифлис, Баку и Харьков до половины июля, а затем я прямо в Гурзуф. Кажется я не доживу до этого блаженного момента. Все в восторге от «Носа»⁹ в Ленинграде (музыка Шостаковича), все превозносят Дмитриева. Ада говорит, что он дал такой Петербург, что не отделаешься от впечатления».

Причин неудач с «Отелло» несколько. Самая существенная заключалась в том, что нельзя было поручать главную роль Леонидову. Замечательный артист, незабываемый Дмитрий Кармазов, он был подвержен периодическим нервным заболеваниям, иногда граничившим с психическим расстройством. Порою, выходя на сцену, он пугался вида рампы и зрительного зала и каждое движение, которое ему надо было сделать, наводило на него страх, заставляя хвататься за декорации, за мебель. Годами он чувствовал себя прекрасно и играл любую роль великолепно. Но с течением времени, болезненные приступы становились всё чаще, что выражалось и в личной его жизни. Он вдруг делался подозрительным, считал, что каждый хочет его обидеть, сердился на своих друзей и товарищей и подолгу с ними не разговаривал, как, например, это было с Ольгой Леонардовной. Я испытал его странности на собственном примере: находясь в самых лучших со мной отношениях, он иногда переставал со мною здороваться и избегал меня. На репетициях, в фойе или даже на сцене, игра его достигала высокого совершенства, но когда он оказывался на сцене перед публикой, то вдруг, неожиданно, всё терялось. Второй не менее важной причиной была затянувшаяся болезнь Станиславского, вынудившая его надолго уехать за границу лечиться. «Отелло» взялся ставить К. С., но ввиду его отъезда ему понадобился заместитель, и выбор его почему-то пал на крайне малодаровитого режиссера Судакова, который должен был ставить пьесу по мизансценам, планам и указаниям Станиславского, присылавшимся из Ниццы. Однако, как мне написала секретарша дирекции МХТ О. С. Бокшанская, Судаков не полностью выполнял план Станиславского и многое заменял своими идеями, следуя собственными путями. Мо-

⁹ «Нос» — опера Шостаковича с либретто по Гоголю.

жет показаться странным, почему не взял на себя бразды правления Немирович-Данченко, заменив отсутствующего Станиславского. Но, к великому сожалению, давнишние идейные расхождения К. С. и Вл. Ив. во взглядах на искусство с годами всё углублялись, и оба создателя МХТ пришли к твердому решению совершенно не вмешиваться в творческие планы друг друга. Постановка «Отелло», несмотря на отсутствие Станиславского, считалась принадлежащей ему, она была задумана и подготовлена им, и потому Немирович-Данченко не считал возможным принять какое бы то ни было участие в руководстве работой. И наконец третьей неудачей спектакля могла быть внешняя его часть, за которую так бранила художника Головина Ольга Леонардовна. Но для каждого, кто знаком с несравненным мастерством многочисленных театральных творений А. Я. Головина как-то трудно поверить оценке Книппер-Чеховой. Объяснением ее неудовольствия могут вероятно послужить следующие слова Бокшанской в ее письме ко мне, написанном до того, что состоялся спектакль «Отелло»: «Внешняя сторона спектакля — это самая большая тревога. Не сомневаюсь, что Ваничка не справится с воспроизведением блестящих эскизов Головина на сцене. Эти скучные краски и эта приличненькая, но никак не одухотворенная роспись и ужасное ярко синее, всё в неподвижных барашках море, которое раздражает своей олеографичностью в одной из лучших сцен «Отелло». — Головин по состоянию своего здоровья не имел возможности приехать из Петербурга в Москву, и декорации по его эскизам писал состоявший на службе МХТ декоратор И. Я. Гремиславский, которого Бокшанская называет Ваничкой. Спектакль «Отелло» выдержал всего десять спектаклей и был снят с репертуара. Относительно пьес-сказки Олеси «Три толстяка», которую Ольга Леонардовна называет «чудесной», Немирович-Данченко 16 мая 1930 г. писал мне: «Три толстяка» очень большой полу-детский спектакль, 4 акта, из которых самый маленький — 45 минут и три огромных антракта. Самый большой успех на долю Эрдмана. Кажется никогда не бывало такой сложной по технике постановки нигде. На сцене совершенный ад — занято огромное число рабочих, техников. Много настояще-красивого. Спектакль идет под аплодисменты и кончается овациями. «Три толстяка» кажется удачно заменят «Синюю птицу», хотя по таланту поэта не стоят и десятой доли. Но Борис Эрдман сделал замечательную постановку».

Затем от Ольги Леонардовны не было известий почти девять месяцев и, наконец, пришло письмо от 10 февраля 1931 г.: «Целую вечность я не писала вам. Оправдываться не стану. Помню вас и благодарю за ваше милое письмо и за вашу память обо мне грешной. В квартире тишина. Тантэ сидит с пасьянсами, закутанная, простуженная, сопит Джюдди во сне, на столе крылышками вверх стоят белые цикламены. Вово Дмитриев, сидевший с эскизами «Мертвых душ», был вызван в Большой Театр на просмотр его макетов для «Пиковой дамы» правительством. Вово живет эту зиму больше у нас чем в Ленинграде. Работает у нас «Мертвые души» и «Пиковую даму» в Большом. Я эту зиму много хворала — два раза грипп, воспаление в левом боку, т. е. в легком, и бронхит в правом. Прележала весь ноябрь и 13 января опять слегла и только 10 февраля начала играть. Зима необычайно суровая, топят плохо, у нас 9-10 градусов — ужасно! Ходишь укутанная, в валенках, каково это читать о вашем Калифорнийском рае! Я начала курить — второй год курю! Начала во время работы над «Дядюшкиным сном». Такую ужасную атмосферу создавала Коренева, что приходила бешеная домой и раз затынулась с отчаяния... и пошло! Уж вы простите — надо же на старости иметь какую-то привычку. Играю много «Вишневый сад», «Дядюшкин сон» и «Воскресение» — роли все приятные. На-днях получила новую роль в пьесе Афиногенова «Страх» — коммунистку 60 лет, но она должна быть моложе всех — так хочет автор. Nous verrons. Она просто очень хороший человек, светлый. Пьеса интересная. Главное, нет дешевой агитки, роли все прекрасные. Работать будет сам Вл. Ив., ему пьеса по вкусу. К. С. уже бродит, начал принимать частями актеров. Сегодня повезли к нему макеты «Мертвых душ». Володя в страшном волнении, ведь он никогда с ним не виделся. Красный директор в трудном положении: всю зиму «наши» сидели по своим норам и, конечно, остались непримиримыми, достойными противниками, и быть между ними — не завидное дело. «Хлеб» идет, имеет успех, но не дал радости ни актерам, ни театру — спектакль политический. Сегодня должны были идти «Карамазовы», но расхворались Качалов и Тарасова, так что отложили. Вообще, больных много. Летние гастроли были очень неприятные — обычная казенная халтура. А мы к таким не привыкли. Я в Баку играла полубольная, еле бродила, думала, что просто усталость. Уже в феврале доктор определил форму гриппа, кашель не прошел даже в Гурзуфе, где я блаженно прожила два месяца вне

жизни... Ах, как там теперь чудесно! Вы бы не узнали моего уголка. Я уезжала в половине сентября прямо со слезами. В Гурзуфе всегда читаем Пушкина вслух. За всю зиму у меня была одна художественная радость: вечер в Ленинграде в Филармонии памяти Пушкина болдинского периода. Вступительное слово — Щеголев. Участвовали Леонидов, Лужский, я и Вербицкий. Мы готовились, репетировали всю программу. Леонидов читал письма болдинские, а мы соответственные стихотворения. Я читала «Осень» и «Безумных лет угасшее», Леонидов «Пир во время чумы» и другие мелкие. Очень хорошо Вербицкий читал «Мчатся тучи». Потом Лужский читал «Домик в Коломне» и «Выстрел», Леонидов «Скупого рыцаря», Вербицкий из «Путешествия Онегина» — «В Одессе пыльной». Я читала «Разлука», «Для берегов отчизны дальней» и «Заклинание» и потом финал «Онегина» от «Дни мчались. В воздухе нагретом»... И все мы и всё читали наизусть кроме «Выстрела». Еще полуиграли сцену из «Дон Жуана»: Вербицкий, Лужский и я, хотя я очень отказывалась изображать Донну Анну с седыми кудрями вместо черных. Платье мне Ламанова¹⁰ сделала чудесное, длинное. Читалось мне на редкость «вкусно». Мне нравилась огромная зала, свет, масса народу, серьезность вечера. Успех был огромный. Вышла неловкость с Вас. Ив. Так как Луначарский, который должен был говорить о Пушкине, не вернулся к этому дню из заграницы, то решили, чтоб компенсировать, пригласить Качалова, который не работал с нами. Он приехал, вылез на эстраду еще во время литмонтажа, как раз когда Леонидов начинал «Пир во время чумы», и по книге, очень неважно, прочел монолог Сальери, с нажимом. Пушкинский вечер мы повторили в Народном Доме Паниной. 30 января был большой вечер Чехова в Филармонии, я приготовила «Даму с собачкой» наизусть, конечно с купюрами... и не поехала из-за болезни. Ах, как мне было обидно! Слушала «Руслана» в новой постановке, мне понравилось, хотя дешевой отзывает. Слушала Вагнера — дневной концерт в Большом Театре с Коутсом, который теперь гостит у нас. Смотрела у Мейерхольда «Последний решительный»¹¹ — занятно по мейерхольдовски. На днях опять пойду на Коутса — 5 Симфония Чайковского и «Поэма Экстаза» Скрябина».

¹⁰ Известная московская модистка-художница.

¹¹ Пьеса Вс. Вишневского.

В письме ко мне Немировича-Данченко от 11 февраля 1931 г. имеется следующая оценка пьесы «Страх»: «У нас в театре появилась новая современная пьеса, которая при чтении актерам произвела такое впечатление, что все называли этот день праздником. Я прочел и тоже весьма одобрил и не только сразу принял, но потребовал, чтобы к ней приступили немедленно и сам буду ее ставить. Даже Станиславский сказал, что она должна быть в репертуаре Художественного Театра. Тема — «Наука — Политика». Прекрасные роли. Только сегодня распределили. Главные роли у Леонидова, Книппер...»

Тот факт, что Леонидову поручили главную роль в пьесе и то, что он принимал видное участие в Пушкинском вечере свидетельствует о полном его выздоровлении от нервного недуга. Что же касается участия Ольги Леонардовны в «Страхе», то ее работа из-за болезни дальше репетиций не пошла, и роль ее была передана ее дублерше артистке Соколовской. Руководить постановкой «Страха» Владимиру Ивановичу не пришлось, так как он уехал на продолжительный срок за границу. Выражение Ольги Леонардовны о «наших, сидевших по своим норам» еще раз говорит о заостренности взаимоотношений между Немировичем-Данченко и Станиславским, о котором я уже упоминал.

Следующее письмо было начато 30 апреля и закончено 4 мая 1931 г. Вот оно: «Вчера я получила ваше письмо и захотелось написать вам. Сегодня три недели как я лежу с дифтеритом (не бойтесь бумажки сей). Как вам нравится сие? Очевидно, судьба решила, что неприлично такой организм отправлять на тот свет, не поколотивши его по самым крепким местам — по легким и по горлу... И вот я лежу и лежу для ради сердца моего. Мария Павловна жила у нас месяц и, проводив ее, я слегла 9-го. Вы чувствуете степень населения нашей квартиры? Люба с Андрюшей¹² в Лёвиной комнате. Лёва в Любиной, Маша в столовой, в вашем углу, а Володя Дмитриев, как ему ни говорили, что всё переполнено, но всё же он втащил койку к Лёве и не пожелал съезжать от нас. Он как-то прижился у нас. Третьего дня позволили встать, так что я обедала в столовой, но радости мало — слабость большая, и я с удовольствием опять ложусь на свой одр. Скоро принесут результаты анализа, и если сегодня не будет

¹² Жена и сын Л. К. Книппера.

палочек, то, всё же, сделают еще анализ и только тогда дезинфекция. Я уже изверилась и, кажется, не выздоровлю за эту зиму. В Москве, конечно, уже не буду играть. Ну, довольно скрипеть. Я так хохотала и так ясно представила выражение вашего лица когда вы пишете о том, что презираете курящих женщин. А вы знаете кто в большой мере виновник этой моей привычки? Коренева, которая создавала такую невыносимую атмосферу во время работы над «Дядюшкиным сном», что я, приходя домой, рвала и метала и не знала на чем и на ком сорвать то, что накопело во время репетиций и что приходилось сдерживать — вот раз хватилась за папиросу и затянулась... ну вот и пошло... Вы наслаждаетесь музыкой, а я ее совсем не слышу. Два раза была только в Большом Театре. Коутс-Вагнер, который меня не удовлетворил. Читаю, представьте, — Габорио и нахожу, что это самая подходящая lecture для пустой головы и души... Сейчас звонили из лаборатории, что дифтеритных палочек не обнаружено, а как раз чувствую себя неважно. Не презирайте меня за папиросы»...

Затем наступил длинный перерыв в переписке. Я сам довольно долго не писал, поглощенный разными служебными делами, потом уехал на несколько месяцев в Европу и получил от Ольги Леонардовны письмо от 9 января 1932 г., находясь в Берлине. «Как вы близко», писала она. «Я так ждала вашего письма, думала, что вы меня уже вычеркнули из своей жизни. Я сейчас очень занята, бегаю на Всесоюзный съезд Всерабиса,¹³ куда меня выбрали делегаткой вместе с Ив. Мих.¹⁴ Но хочется хоть немногими строками перекинуться с вами. У нас всё ладно. Тантэ так же шлепает, гудит, кормит нас. Сейчас у нас идет «Страх» с большим успехом, особенно для Леонидова — он великолепен. Я не играю пока. К. С. посоветовал мне пропустить всю премьерную шумиху, т. к. то что простится Соколовской, то не простится мне. У нее готовый типаж, а мне всё надо «делать». Было неприятно это переживать, но... может так лучше. Роль специфическая. Обидно, что мне не дали ни одной генеральной. Я ведь всегда нахожу себя на генеральной. Вл. Ив. так бы не поступил. Хочу ему всё писать, но мыслей не собираю. Я решила издавать свою переписку с Ант. Павл. Как вы на это посмотрите? Мне очень хочется прокатиться в Америку, составить хорошую лекцию о Чехове и

¹³ Союз работников искусств.

¹⁴ И. М. Москвин.

поездить. Я очень засиделась. Что вы на это скажете? Напишите к кому обратиться по этому делу, к Гесту, или нет?»

Станиславский вероятно потому посоветовал Ольге Леонардовне не выступать в премьере «Страха», что не считал ее достаточно подготовленной к спектаклю; затянувшаяся болезнь лишила ее возможности быть на всех репетициях. А затем случилось так, что роль ее, как я уже отметил, была передана ее дублерше. На вопрос О. Л., издавать ли ее переписку с Антоном Павловичем я, конечно, ответил полным одобрением этого плана. И мысль поехать в Америку с лекцией о Чехове я тоже приветствовал. Во время гастролей МХТ в Америке она, свободно владея английским языком, с большим успехом выступала с несколькими лекциями об Антоне Павловиче, сопровождавшимися чтением его рассказов. У меня завязались деловые переговоры с Моррисом Гестом, который был великолепным американским импрессарио Художественного Театра, и с его литературным сотрудником Оливером Сейлером, ведавшим всеми вопросами сношения с американской прессой, и перспективы были самые благоприятные. Но кончилось всё это ничем из-за невозможности получить согласие советских властей на поездку О. Л.

После этого письма я не имел известий от О. Л. три года и, наконец, 7 января 1935 г. она написала мне: «Я так рада была услышать от вас, захотелось написать вам хоть несколько строк пока. Почему-то наша переписка прервалась, конечно, по моей всегдашней вине. Простите! Ну-с, мы живем, работаем, здоровы, иногда хвораем, но в общем всё идет хорошо. Живу бодро, треплюсь много, сейчас работаю две роли — «Враги» Горького и Фру Альвиг в «Привидениях». Есть и общественная работа. Я председатель Месткома. Много юбилеев. На днях праздновали 20-летие Камерного Театра. Было пышно. Сейчас много Чеховских вечеров, ездила в Ленинград, читала свои воспоминания, письма Ант. Павл. и рассказы. В театре чепуха, трудно и нудно. Летом была в Берлине и Париже. У нас жизнь кипит в Москве. Вы бы не узнали Гурзуфа теперь, так он стал культурен и красоты невероятной. Это уголок, где я с утра и до ночи хожу и улыбаюсь, и полный воспоминаний. Пока кончаю, откликнитесь, буду ждать».

Прошло два месяца, и 5 марта 1935 г. О. Л. мне написала: «Я вам послала первый том переписки с Ант. Павл. 2 марта. Книга имеет очень большой успех, отовсюду я слышу самые

прекрасные отзывы, и приняли ее очень серьезно. Я очень волновалась прежде чем решилась печатать переписку. Теперь как-то вздохнула. В театре странно и не очень приятно. «Враги» что-то ужасное и невезучее. Играть пьесу, трепанную по другим театрам, пьесу плохую невероятно противно. Какое-то страдание. И режиссер наш молодой Кедров тихход невероятный. Писала ли я вам, что я перевела пьесу с немецкого — «Елизавета Английская»¹⁵ — по моему очень интересная и роли прекрасные, но, увы, некому ее ставить. Надо настоящего талантливового постановщика. Подождем... Мне скучно невероятно в театре. Не знаешь за что взяться».

Потом был довольно долгий перерыв, после которого я получил следующее письмо от 11 сентября 1935 г.: «Перенеситесь мысленно в Гурзуф, где я сижу сейчас совсем одна и послезавтра уезжаю в Москву. Вспомните терраску, разделенную парусиной теперь и увитую зеленью. Сижу за круглым столом, а на столе пышные герани всех цветов, ваза с виноградом и тарелка миндаля (собственного сада). Помните как вы у меня съели тарелку миндаля? Море бушует во всю на прощанье, стоят лунные ночи, тикают часы, кот грызет куриные косточки, цветут олеандры, розы, портулак, афинский табак, гелиотроп, есть пальма, большой кипарис. Над столом яркая электрическая лампа под оранжевым абажуром. Сад весь усыпан гравием, клумбы, — вы бы не узнали Гурзуфа. Все ахают когда приходят ко мне — так здесь очаровательно. На площадчке над морем, где, помните, Качалов чистил зубы и глядел на купающихся дам, цветы, стоит стол, скамья, шэз-лонг — там пьем чай и обедаем когда очень жарко. Живу я здесь с 26 июля, приехала сюда с моей приятельницей Соф. Ив. Баклановой, которая здесь всегда со мной, влюблена в Гурзуф, управляет всем домом, трогательно оберегает меня от всех хлопот и работ, очень ко мне привязана. Завтра укладываю весь инвентарь и еду в Москву. Я этот сезон размоталась так что до Гурзуфа была три недели в санатории — бывшем имении Трубецких по Калужскому шоссе, чудесный санаторий, отлично оборудован и теперь там только академики. О театре не очень хочется говорить — идет ненормальная жизнь, неразбериха и трудно помочь, в корне всё не так, это волнует, а театр должен давать не такое волнение. Мне лично скучно, играть нечего. Мечтаю работать Фру Альвиг и мы начали работать «Привидения», но как-то негласно,

¹⁵ Что это была за пьеса мне установить не удалось.

да и Сахновского теперь возьмут в «Анну Каренину». Но я всё же буду бороться. Играть и работать хочу, но это кажется удивляет наших главарей. Всё время внутри — недовольства, трения, борьба — всё это утомляет. Волков очень хорошо сделал «Анну Каренину»,¹⁶ и я по-хорошему завидую Тарасовой, что она будет творить такой чудесный образ. Это лето мы провели чудесно — тихо, уютно, с хорошим настроением и не очень хочется окунаться в московскую театральную суету. Ушел В. И. Симов¹⁷ от нас — грустно. Ну, покойной ночи, пишу вам редко, но вы меня знаете с этой стороны... Пишите хоть изредка.

Больше писем от Ольги Леонардовны я не имел и переписка наша, к великому моему сожалению, прекратилась.

Во время пребывания осенью 1919 г. в Крыму группы артистов МХТ, отрезанной гражданской войной от Москвы, два месяца прошли в Гурзуфе, и не мало хороших воспоминаний у каждого, входившего в эту группу, включая меня, было связано с домиком Книппер-Чеховой, подаренным ей Антоном Павловичем, который она так любила. Здесь все мы и работали, и отдыхали, готовясь к предстоящему сезону за рубежом советской России. Жалобы Ольги Леонардовны на то, что в театре чепуха, трудно и нудно, что в нем странно и не очень приятно, что о нем не хочется говорить и что живет он ненормальной жизнью, подтверждаются словами Немировича-Данченко из его письма ко мне от 22 июля 1935 г.: «Среди трупы, администрации нарастают интриги, искательство, всякая дрянь. И атмосфера плохая». Об этом же писала мне немного позднее Бокшанская: «У нас в Театре важна не работа, а личные отношения, причастность к той или иной группе и т. д. Многое идет у нас неправильно, нехорошо, даже гадко». Как видно изжить это тяжелое явление, совершенно чуждое прежнему Художественному Театру, не удавалось даже Владимиру Ивановичу.

В заключение привожу краткие сведения о биографии Ольги Леонардовны.

Отец ее был инженером-технологом, мать выдающаяся певица, талант которой остался неиспользованным для сцены, потому что муж ее был решительно против артистической

¹⁶ Н. Д. Волкову принадлежит инсценировка «Анны Карениной».

¹⁷ В. И. Симов — художник-декоратор, связанный работой многих лет с МХТ.

карьеры своей жены. Выросла О. Л. в обстановке состоятельной семьи, получила прекрасное образование, имела возможность изучить иностранные языки, заниматься музыкой и пением. С ранних лет она чувствовала влечение к сцене, но в силу условий среды, в которой она росла, возможность профессиональной артистической деятельности была исключена. Впрочем, ей удавалось неоднократно выступать на любительской сцене с большим успехом. Смерть отца совершенно изменила материальную обеспеченность ее семьи, и пришлось думать о заработке. Мать О. Л. стала преподавать пение, а сама она занялась уроками музыки для детей, в то же время решив сделаться актрисой. Блестяще выдержав экзамен на драматических курсах при Императорском Московском Театральном Училище, она, однако, в силу обстоятельств, ничего общего не имевших с ее способностями, на курсы эти не попала и поступила в драматический класс Московского Филармонического Общества, которым руководил Вл. Ив. Немирович-Данченко. С этого дня ее артистическая судьба была решена: она навсегда связала себя с той группой учеников Немировича-Данченко, которая вместе с любительским кружком Станиславского выросла в Московский Художественный Театр. Вся ее шестидесятилетняя деятельность как актрисы прошла в этом Театре, и созданные ею многочисленные сценические образы, в которых сочетались одухотворенность с воздушной легкостью и драматизм с юмором всегда были ярки, искренни и убедительны как в пьесах русского, так и иностранного репертуара Художественного Театра. Лучшие ее роли были в пьесах Чехова, которые соединили ее с Антоном Павловичем. Их жизнь, постоянно врозь и в вечных волнениях, в коротких встречах, была трудной. Она готова была пожертвовать сценой ради того, чтобы делить свое существование с мужем, но он был решительно против ее намерения уйти из театра. Их брак продолжался всего три года, неизменно полный трагических предчувствий об обреченности Антона Павловича.

После смерти Чехова жизнь Ольги Леонардовны целиком и бесповоротно была отдана сцене. Творческий путь ее отмечен богатством и разнообразием, и имя ее неотделимо от лучших страниц истории Московского Художественного Театра.

Сергей Бертенсон

В ПЛЕНУ КОММУНИЗМА*

АПОСТОЛЬСТВО ИУДЫ

Юру Крестьянполя я знал почти с детства, со школы. И потом наши пути не раз скрещивались. Не могу сказать, чтобы я особенно был к нему привязан, но в моем отношении к нему всегда была какая-то теплота, хоть и с оттенком снисходительности. Может быть мне приятно было сознавать свое превосходство. Оказывая ему помощь в том и другом, помощь совершенно бескорыстную, иногда в ущерб своим собственным интересам, — чего он, кстати, никогда не мог понять, — я поступал так может быть для того только, чтобы почувствовать себя хоть немного сильнее.

Не трудно было чувствовать себя сильным рядом с Крестьянполем. Ибо трудно себе было представить человека слабее его, в каком бы то ни было отношении. Слабый здоровьем, слабый морально, расхлябанный и бесхарактерный. Всегда неряшливо одетый, плохо выбритый, непричесанный, он производил впечатление настоящего чучела. К тому же, низкого роста, с изогнутыми ногами, близорукий, почти подслеповатый. Одним словом, совсем неказистый.

Глупым Крестьянполь не был. Пожалуй, он был умнее многих других. И учился при своей феноменальной лени неплохо. Но во всех его суждениях была какая-то незаконченность. Взгляды свои он менял постоянно. И когда он с большой горячностью доказывал сегодня одно, никто не мог угадать, что он будет говорить завтра. В довершение всего рано пристрастился к крепким напиткам. Он был в настоящем смысле потомственным алкоголиком: его отец, сельский священник, в припадке белой горячки повесился. Вероятно этот именно факт — не столько даже сама по себе дурная наследственность,

* Отрывки из книги воспоминаний покойного профессора К. Ф. Штеппы.

сколько постоянная о ней мысль, — определил судьбу моего друга, судьбу довольно-таки невеселую.

Женился Крестьянполь очень рано, студентом первого курса. И более неудачный брак трудно было себе представить. Его жена во всем была ему под пару, начиная с того, что, будучи близорукой, также носила очки. Такая же неуклюжая, до крайности непрактичная, слабосильная. Поженились они в тяжелое время, сразу после революции. Средств не было никаких. А тут пошли и дети (двое), один за другим. Нужда была невероятная. Нельзя было без ужаса видеть страдания хрупкой, беспомощной женщины, происходившей из так называемого хорошего круга и очутившейся на дне нищеты. Юра же топил заботы в «самогонке» и совсем опустил.

А там пошла гражданская война. Жизнь снова столкнула нас... В память врезался один эпизод... Шли мы вместе в атаку на красных. Они окопались на опушке леса, а нам нужно было пробежать звеньями через поле, под их шрапнельным и пулеметным огнем. Стреляли они вяло: видимо, жалели патронов. Но прогулка по полю всё же была не из приятных. Рядом со мной, в цепи офицерской роты был Крестьянполь. Как большинство студентов, во время первой войны, его призвали в армию и сделали прапорщиком. Волной занесло его в Белую Армию.

Тут-то, во время атаки, я, действительно, мог насладиться чувством своего превосходства. Мой Юра был жалок. Под каждым свистком шрапнели он пригибался к земле, «кланялся». Подбежав к очередной кочке, он ложился пластом, и у него не было уже силы подняться. Я обнимал его и силой подымал с места. Затем, крепко сжав его руку, тащил его до следующего прикрытия.

Мне было и жалко его и смешно. Длинные волосы вылезали у него из-под фуражки. Лицо было покрыто грязными струями пота. Близорукие глаза бессмысленно, не видя, глядели куда-то в неопределенную даль. Он почти потерял сознание. Долго еще после того не мог придти в себя, пока мы добежали до цели и заняли позиции отступившего врага.

Впоследствии он всегда избегал вспоминать об этом случае. Только раз как-то он обронил: «Да, тебе можно было разыгрывать из себя храбреца. Ты был один, а у меня была жена и дети». Этот аргумент слышал я не раз и до и после того: от старых семейных товарищей на фронте. Не знаю, может это было и так.

В первую войну, еще в качестве рекрутов, служили мы в одном подразделении. Юра был как-то дневальным и в его обязанность входило топить дровами печи казармы. Дрова были сырые, растопки не было. Юра не отличался ловкостью. Возился он с печами целый день, но все мы легли в ту ночь спать в нетопленном помещении. А печальный вид Юры, которого поставили в наказание под винтовку, с полной выкладкой, не только нас не утешил, но даже и не забавлял. На строевых же учениях он был настоящим мучеником. Правда, уклонялся от них, когда только мог. Из казарм старался не выходить. Раз попробовал пойти в город, получив отпуск. Но, не сумев стать как следует во фронт проходящему генералу, получил за то несколько нарядов не в очередь и больше не рисковал уже подвергнуть себя такому испытанию.

Больше всего неприятностей причиняла Крестьянполью, во время короткого пребывания его в офицерской школе, необходимость, в порядке практики, подавать военные команды. Голос у него был тихий, неуверенный. Отчетливость и резкость команды ему не давались. Раз вышла очередь ему вести наш взвод по городу. Проходили мы мимо женской гимназии. Была перемена, и гимназистки выстроились перед главным входом, чтобы поглядеть на юнкеров. Тут Юре нужно было подать команду. Среди девушек раздался хохот, перешедший почти в истерику, когда Юра, смутившись, повернул взвод не в ту сторону, а потом, желая исправить ошибку, совсем потерял направление.

И вот «воинственному» Юре судьба послала один раз испытание, которое легло на всю его жизнь тяжелым кошмаром. Во время гражданской войны стояли мы с небольшой воинской частью на какой-то захолустной железнодорожной станции. Потеряв всякую связь с главными силами, наша часть превратилась в подобие партизанского отряда. О нашем снабжении никто не думал, и мы снабжали себя сами, путем реквизиций, превращавшихся иногда в настоящие разбойничьи налеты... На войне, так на войне! Но самое худшее было не это, хотя и в этом достаточно было тяжелого для людей, лишь случайно очутившихся в обстановке войны, да еще и партизанского типа.

Настоящий ужас пришел к нам тогда, когда нашему подразделению по приказанию сверху нужно было привести в исполнение приговор военного суда над группой захваченных нами настоящих партизан из другого лагеря. Кому производить экзекуцию? Бросили жребий. И Юра не был бы собою,

если бы он его не вытащил. Ни разу в жизни он не выигрывал в лотерею. Неизменно проигрывал в карты, — этот грех тоже за ним водился. А вот тут, когда нужно было тянуть жребий такого рода, он его вытянул. Спустя много лет, он рассказал мне, как всё это происходило. Тогда же он только запил больше обыкновенного, — вполне трезвым он бывал вообще редко, пока мы сидели в этой берлоге, — и хранил гробовое молчание. Потом наши пути разошлись... Когда же, после войны, я вернулся в свои места и спросил о Крестьянполе, — то к немалому своему изумлению узнал, что он принял сан и священствует где-то в очень глухой деревне, у себя на родине.

Я был озадачен, ибо знал, что к вопросам религии он всегда, со школьной скамьи и после, был равнодушен. Правда, он не был таким воинственным безбожником, как многие из моих однокашников, которых готовили — достаточно плохо готовили — к священству. Он был просто равнодушен. Это, как он сам говорил, его не занимало. Он только пожимал плечами, когда в его присутствии затевался спор на религиозные темы, что кстати у нас в школе бывало нередко.

«Не для Иисуса, а для хлеба куса» — привел эту популярную в старину поговорку наш общий знакомый, отвечая на мое недоумение по поводу священства Крестьянполя.

Несколько лет о нем ничего не было слышно. И вдруг получаю от него письмо такого содержания: по разным причинам, о которых он расскажет при личном свидании, он принужден оставить священство и просит помочь ему получить какую-либо работу.

В то время я заметно подымался уже по служебной лестнице, и мне не трудно было помочь Юре. Это было тем легче, что власти всячески поощряли служителей культа, добровольно оставлявших свое служение, особенно, если те прибавляли к своему отказу хулу на Духа святого, то есть выступали публично, — чаще всего с церковного амвона, — с порицанием собственной деятельности и с раскрытием роли религии как «опиума» или «духовной сивухи».

Крестьянполь рассказал мне свою историю. Принять священство действительно вынудило его неимоверно тяжелое положение. Жена и дети буквально опухли с голода — это было еще до НЭПа, к тому же он не рисковал искать себе другой службы из боязни, что его офицерство и служба у белых будут раскрыты.

С питанием в деревне было лучше, чем в городе, — правда, только с питанием, так как во всем остальном был большой

недостаток. Семья перестала голодать. Но зато начались и другие неприятности. Жена его, горожанка, плохо подходила к роли сельской попадьи. У нее не находилось общего языка с крестьянскими женщинами, от доброго расположения которых зависело благосостояние его семьи.

Он же, хоть и завоевал себе на первых порах среди прихожан известный авторитет — крестьянам импонировала его ученость, производили на них впечатление его проповеди, к которым они не привыкли, умение его ответить на все их вопросы, — но потом не мог устоять против соблазна.

Старый недуг одолел: его усердно приглашали на крестины, поминки, всякие другие домашние праздники, где сельский священник всегда являлся непременным почетным гостем. Самогонки было достаточно. И он окончательно спился, чему помимо всего прочего немало способствовала и убийственная монотонность деревенской жизни, полное отсутствие общения с равными по культуре людьми. «Они ведь едва вышли из каменного века» — говорил он о своих прихожанах. И может быть близок был к истине. Для настоящего пастырского служения у него не было ни сил, ни желания.

Бернанос в «Дневнике сельского священника» говорит устами одного из героев, что трудно себе представить неверующего священника, ибо священник, теряя веру, теряет всего себя. Не знаю, как на Западе. У нас я встречал достаточно таких священников. О них нельзя было сказать, что они потеряли веру, так как они никогда ее не имели. Впрочем, «помоги моему неверию»...

Что Крестьянполь, став священником, должен был при его наклонностях спиться, мне было понятно. Но другое, о чем он мне рассказал, меня действительно удивило. У него неожиданно оказалось и другое еще искушение, которого я, имея в виду его внешние качества, никак не мог предполагать. «Но знаешь, — заметил он в ответ на мое изумление, — для крестьянки ее поп — живое воплощение всех ее эстетических идеалов, ее романтика, ее мечта». Короче, мой Юра, внешность которого заставляла не меня одного задавать себе вопрос, как он мог стать избранником своей Жени, — в деревне сделался кумиром увядающих солдатских вдов.

«Если хочешь сохранить расположение женщины, не трогай ее», говорил мне как-то отец Александр, архимандрит, с которым я был несколько дружен. Крестьянполь такого опыта еще не имел и сделался жертвой сельских пересудов, а потом и скандалов.

Пристрастие к алкоголю ему еще бы простили... Но это ему даром не прошло. Не то что авторитета, а простого уважения к нему со стороны прихожан больше не было. Кое-как терпели еще его из сострадания к матушке и детям. Но когда пришло для него новое испытание — нашествие на его приход поддерживаемых властью живоцерковников — пасомые его не поддержали, и ему пришлось подумать об уходе.

Почти с таким же чувством гадливости и омерзения к себе самому, «отец Георгий» (Юра) вышел перед обедней на церковный амвон и на глазах недоумевающих прихожан, собравшихся на молитву, сложил с себя один за другим все предметы своего облачения. Поклонился потом до земли на все стороны, при гробовом молчании молящихся, и обратился к ним с короткой заранее для этого случая приготовленной речью такого приблизительно содержания: «Простите меня, товарищи, что эти все пять лет я вас обманывал...»

Но в чем обманывал? В том, что служил Богу, не веря ни в Бога, ни в свое служение? Вот эта мысль ему пришла в голову, когда он произносил свою последнюю проповедь. Закончил он свое повествование совсем неожиданно, удивив меня еще больше. «Думал ты когда-либо о том, что Иуда Искариот тоже был апостолом, по Божьему избранию, и что он, предавая Христа, продолжал апостольское служение? Кто скажет, кто из апостолов имеет большую заслугу перед вечным Престолом? Апостольство Иуды в том, — сказал он почти испуганно, — чтобы каждый человек знал, что бывают в жизни грехи, после которых, при всем божественном долготерпении, ему остается одно: пойти удавиться». На это я ничего не нашелся ответить. ...Может быть он был и прав.

Крестьянполь получил место учителя в одном небольшом городе, и я надолго почти потерял его из виду, хотя кое-что и знал о нем. Знал о том, например, что он дослужился до директора школы, что при его прошлом было несколько странно. Доходили до меня слухи и о том, что он продолжал пить, и о том, что в семье у него тоже не совсем ладно: не то он развелся, не то успел опять жениться. Подробностями я не интересовался...

Но вот вчера он неожиданно появился. Зашел ко мне. А потом мы отправились бродить по городу. И бродили чуть ли не до рассвета. И тут он поведал мне о последних своих злоключениях.

Начал с того, что потерял службу... Вышло так, что он, директор средней школы, человек как-никак с общественным

положением в городе, издебоширил в пьяном виде в публичном парке, — а, действительно, во хмелю он бывал буйным, спорил, лез в драку, — после чего его и сняли с работы... И приехал он в столицу собственно для того, чтобы похлопотать о новом месте.

Положение его в этом отношении совсем не так плохо, сказали ему в какой-то высокой инстанции. Было бы хуже, если бы его уволили из-за политической неблагонадежности. Тогда была бы петля. А пьянка? — Это сойдет. Отчасти он даже нарочно всё это подстроил. Последний год его так травили, что он потерял голову и считал свое положение безнадежным. Да, если бы не этот трагический случай, так бы оно и было. Вот когда пьянство пошло ему на пользу.

Водка выручила его и в другом случае. Но не выручила до конца. Он продолжал свою историю. Мы сидели с ним в скверике против бывших Присутственных мест, неподалеку от Софиевской площади. Было довольно холодно. Но оба мы были сильно возбуждены разговором и не замечали холода. Прохожих не было. В сквере мы были одни. Сидели в тени, и мне не видно было выражения лица моего собеседника. Да я и избегал на него смотреть.

«Ты понимаешь, — говорил Крестьянполь, — что если мне, человеку с подмоченной репутацией, бывшему попу, да еще с неясным прошлым, дали место учителя, то сделали это не даром. Не думю, чтобы тут и твоя протекция помогла. Она, конечно, свою роль сыграла, и я тебе очень за нее благодарен. Не понимаю, почему ты всегда находил нужным меня выручать. Всегда мне казалось это странным... Не имел ли ты видов на Женю? Но дело не в том...

Короче говоря, — продолжал он, — вызвали меня раз в некоторое хорошо известное учреждение. Я этого давно ожидал и даже удивился, почему они с этим медлили. Догадывался и насчет того, о чем будет разговор. Но решил держаться. Собственно почему? Даже не могу объяснить тебе толком. Уж очень оно как-то нечистоплотно. Как будто окунули тебя в навозную жижицу и заставили сидеть в ней день и ночь. Может быть для чего-то это и нужно, для построения там социализма или чего прочего. Но всё-таки противно.

И знаешь что? — обратился он прямо ко мне, — Иван Карамазов у Достоевского говорил, что он никакого бы царства Божьего на земле не принял за слезы одного только ребенка. Я скажу тебе другое: если бы всё, что там о нас говорят, было враками, белогвардейской брехней, если бы мы в

самом деле утопали в довольстве и шли бы к еще более светлому будущему... — если бы даже всё, что декларировано нашей конституцией, было не фикцией, а настоящей правдой, — всё это ничего не стоило бы, раз вся наша система сверху донизу покоится на сексотах»...

Он нервно потер руки. Вынул из кармана кусок газетной бумаги, мешочек с махоркой, — сколько я его помню курил он только махорку и при том какую-то особенно вонючую, не знаю, где он ее доставал, — скрутил цыгарку, затянулся, отплюнул с каким-то остервенением и продолжал:

«Но что такое сексот? В чем заключаются настоящие функции секретных осведомителей? Обыкновенно думают — не только за границей, но даже у нас, где сексот давно уже стал бытовым явлением, что он обыкновенный шпион и согладатый. Его дело — наблюдать, подглядывать, подслушивать, а потом доносить. Но нет, не так это просто. Если бы так, в этом не было бы ничего особенного, так как подобные вещи водились всегда. И всюду, поверишь, они водятся. Особого вреда от сексотов тогда не было бы. Просто люди научились бы быть осторожнее, — а уж на что осторожны наши люди, — подглядывать и подслушивать сексоту было бы нечего. Они стали бы ненужны...

«Нет, — Крестьянполь придвинулся ко мне совсем близко и, хотя вокруг не было ни души, продолжал уже шопотом, — дело сексота в том, чтобы создавать фантомы врагов, снабжать их — ты знаешь кого — продуктами собственной фантазии, своего творчества. Они перерабатывают добытый от сексотов материал, пропуская его через свою машину. А в виде фабриката они имеют миллионы рабов, которыми наполнены их тюрьмы и концлагеря»...

«Но для чего?» — прервал я.

«Для чего? — Для разного. Во-первых они знают, что их ненавидят. И они помнят, что сказал Калигула: «Пусть ненавидят, но пусть боятся»... То есть, они не знают, что это сказал Калигула. Я и сам в этом не уверен. Но мысль эту они твердо усвоили и сделали ее главным принципом своего искусства управлять массами.

«Страх! Ты знаешь, что такое страх? — спросил он как-то в упор. — На фронте, хорошо это помню, ты делал вид, будто не знаешь страха. Я тебе не верил. Я никогда не видел бесстрашного кого бы то ни было. Но зато я имел всегда одно бесспорное мужество: не скрывать своего страха. И опять не помню, кто — Макиавелли или Гвичардини — сказал: «Было

бы много приятнее управлять людьми, основывая свою власть на их любви и расположении. Зато куда надежнее править ими с помощью страха». Может быть не совсем так, но в этом роде. А **они** — скорее ученики Макиавелли или Калигулы, чем Карла Маркса».

Крестьянполь немного помолчал. Я больше его не перебивал. Возражать было нечего. И сам я думал то же. Страх? Нет, мой друг. Сейчас-то я очень хорошо уже знаю, что такое страх!

«Но есть и другое, — заговорил он опять. — Страх страхом, но есть еще одно. **Им** нужно, чтобы каждый из нас, как бы там нам ни было тяжело, не забывал о том, что есть немало людей, которым еще тяжелее. Им нужно, чтобы мы знали, что всякий момент мы можем очутиться среди тех, и ценили бы таким образом, то, что имеем.

Здесь нам нечего есть? Здесь мы оборваны? Живем в тесноте? Стесняют нашу свободу?... А **там?**.. Вот она, простая философия власти!»

До такой философии не доходил ни Калигула, ни Макиавелли. Нет, здесь **они** оригинальны».

«Дальше всё уже было просто, — продолжал Крестьянполь после некоторой паузы. — После короткого разговора о моем священстве и нескольких неопределенных намеков на мое более отдаленное прошлое, вызвавший меня энкаведист поставил вопрос ребром, тут же предложив мне подписать «секретное обязательство».

Тогда меня осенила гениальная мысль. Я сослался на свою склонность к спиртным напиткам, на то, что во хмелю я совершенно теряю память и не отвечаю ни за свои слова, ни за свои поступки. Я, мол, не против того, чтобы своей службой загладить позорное прошлое и т. д., но судите сами, какая вам будет польза от подобного субъекта?

Представь себе этот аргумент подействовал. Может быть я подкупил чекиста искренностью своего тона. Не знаю, но на этот раз меня отпустили с миром без колебаний. Вот как выручил меня и тогда мой алкоголизм. Но, к сожалению, не надолго. Позже я сообразил, что это был один из приемов вербовки: человеку, когда он получил подобное предложение, нужно дать время переварить в себе полученное им впечатление. Если у него есть хоть малейшее колебание — большинство соглашается без всяких колебаний — почему не дать ему времени подумать? Рано или поздно он всё равно согласится. Короче говоря, через месяц или два, на третьем или

четвертом вызове я согласился. Согласился потому, что увидел полную бесполезность дальнейшего сопротивления. Может быть, бывают такие герои, что... но ты знаешь, героем я никогда не был.

Остальное не интересно. Это уже техника, — закончил свой рассказ Крестьянполь. — Пока я думал, что от меня требуются услуги простого соглядатая, я пытался еще кое-как увертываться. Избегал, например, встреч с людьми, которые казались мне почему-либо сомнительными в смысле их отношения к власти. Избегал их, чтобы не было необходимости на них доносить. Но потом я увидел, что доносить вообще и не на кого и нечего...

Может быть, у кого-нибудь из моих окружающих и были вредные мысли, но мне-то они во всяком случае их не вверяли. Ни на какие «организации» не видел я и намека. Ну какие у нас могут быть организации, когда люди боятся собственной тени? Короче говоря, я не наблюдал никаких обнаружений контрреволюции, — по своей ли неспособности, или потому, что ее вообще не было.

Не трудно было предполагать какие-то там «настроения». Но мое начальство самым категорическим образом требовало от меня не моих предположений, а фактов. Не настроений, а действий! Я не понимал, в чем тут дело, пытался отстаивать правду. Но, наконец, понял, что меньше всего кому-то нужна была моя правда. — Ты видишь у нас где-либо правду? — обратился он ко мне с каким-то неожиданным озлоблением, — пойми же ты: правда от Бога,.. а что же Бог, если не правда? А мы все от лжи!.. Наш отец — отец лжи! Ложь пленила нас всех. Мы все пленные»...

Крестьянполя как будто что-то осенило. Он заговорил с необычайным воодушевлением. «Я нашел, наконец, нужное слово. Мы в плену. Ты и я, мы с тобой пленные в буквальном смысле». Так оно и было, так как и он, и я при равных обстоятельствах и в разное время, но были захвачены в плен, хотя власти этого как будто не знали. «Но пленники здесь не только мы с тобой, — говорил он всё более напряженно, — пленники здесь все без исключения, каждый по-разному. Одни в плену идеи, в плену усвоенных доктрин. Таких не так уж много. Но они есть. Идеалисты может быть и перевелись, но доктринеров еще хватает. Большинство в плену страха. Не только те, по коим хлещут, но и те, кто приводит в движение весь этот дьявольский механизм. Все мы здесь пленники вла-

сти. Но они сами в плену созданных ею же фикций, сотканной ею же лжи. Ложь — источник всего того ужаса, жестокости, скудости, которыми полна наша жизнь. Но если правда находит свое выражение в Боге, — что служит воплощением лжи? Кто же он, отец неправды?»

Крестьянполь увял. Он не успел мне рассказать всего о том, что он назвал служением Иуды. Апостольство Иуды? Может быть это и есть настоящее слово?..

Стало совсем холодно. С Днепра подул сырой предрасветный ветер. Где-то слышались шаги первых прохожих, спешивших на работу. Остатки хмеля прошли. Чувствовалась только страшная усталость. Пора было прощаться. И мы простились. Два пленных... На этот раз простились навсегда... Утром он ко мне не зашел. Или я его не дождался. Может быть он заходил позже, когда меня не было дома. Дел у меня было много. Я как будто не думал о ночном разговоре. Но где-то в подсознании он крепко засел. Моя подавленность объяснялась, повидимому, не только ночным кошмаром. Не был ли кошмар реакцией на беседу?..

Как же всё-таки можно было забыть, что я столько лет всего лишь пленный?.. И думать тут о какой-то свободе?..

«Пленные, — думал я бессвязно, подходя к дому. — Пленники чего? Власти. А она сама в плену собственных фикций. Фикции порождены ложной идеей... Ложь — создание... Кого?»

«Знаешь, что случилось? — встретила меня жена чуть ли не на пороге. — Крестьянполь сегодня утром зарезался. Прогрешел прямо в кухню, где Клава и устроила его на ночевку. А когда утром нужно было пройти туда, пришлось взламывать дверь. Его нашли на полу, в луже крови, с перерезанным горлом. Он хрипел, были еще какие-то признаки жизни, но, когда приехала карета, всё уже было кончено»...

Я был ошеломлен... Странно... Как будто не было ничего на это похожего. Правда, разговор был тяжелый. Но когда мы прощались, Юра как будто даже повеселел. Когда же пришло это решение?.. За те полчаса, пока он шел домой?

Жена потом добавила, что на столе в кухне стояла недопитая бутылка. Значит, он еще пил... Белая горячка? Кто знает...

Из плена он всё же ушел... Апостольское служение?.. Мне стало страшно...

НА СЫР-ДАРЬЕ

1933-й год

Обычная жизнь, благодаря своему однообразию, оставляет сравнительно мало впечатлений, даже если в ней происходят и не малые события. Если же человеку приходится переживать нечто вне его обычной колеи — это оставляет большой след, и к этому событию он невольно и часто возвращается в своих воспоминаниях.

Где-то я читал, что Александр Гумбольдт любил предаваться воспоминаниям о своей поездке по Амазонке в самом начале своей ученой карьеры. На этой поездке сосредоточилось всё, что у этого замкнутого в себе, типичного кабинетного ученого, было от романтики. Повидимому, у него в тайниках души затаилась жажда приключений и острых переживаний, жажда, не чуждая многим людям. Ни в каком отношении я не мог бы сравнить себя с Гумбольдтом, но есть всё-таки один пункт, где мы с ним сошлись. Тем, чем было для Гумбольдта его путешествие по Амазонке, для меня в моих камерных воспоминаниях была моя поездка по Сыр-Дарье.

И для меня эта поездка была не только занимательной рекреацией в моей нелегкой жизни, советского академического работника, но и событием, действительно богатым острыми переживаниями. Достаточно сказать о том, что мне пришлось проехать около тысячи километров по несудоходной, пустынной реке, от ее истоков до устья, в полуразбитой лодченке, с самодельными веслами, без проводника и даже без карты, под палящими лучами июльского солнца и в темноте ночей, через пороги и мели, под пулями басмачей, сквозь тучи комаров и мириады ос... Как было не вспоминать обо всем этом?.. Сколько романтики и авантюризма...

Экспедиция в Среднюю Азию вышла для меня совершенно неожиданно. Было это в 1933 году... Памятный год. Год, ознаменовавшийся неслыханным голодом. После войны, когда его живые свидетели очутились за пределами досягаемости советской власти, о нем много говорили и писали. Но это было настолько чудовищным, что к рассказам очевидцев относились с недоверием. Считали всё сильно преувеличенным.

Но правда ужаснее рассказов. Голод унес миллионы человеческих жизней, оставив пустыми целые районы на Украине, в Поволжье, на Северном Кавказе, в Сибири и в других районах Советского Союза.

Был ли голод искусственно организован, как много об

этом говорили, или произвольный — трудно сказать, как трудно было поверить рассказам очевидцев. Как поверить, что люди съедали не только кошек и собак, но и собственных детей и трупы, месяцами питались древесной корой или речными ракушками, где они были. Или что под конец некому уже было убирать трупы? Впрочем, даже в апробированных властью произведениях советской художественной литературы — в романе Панферова «Бруски», например, об этом тоже рассказывалось, хоть и без подведения итогов. Но итоги вообще не подведены. Это была цена коллективизации крестьянских хозяйств, служившей краеугольным камнем так называемой социалистической реконструкции.

Мои родные жили в деревне и через них доходили до меня страшные вести: тем более страшные, что касались они знакомых людей. Но — одно было слышать о вымирании людей, покрываемых абстрактным обозначением «крестьяне», «сельские жители» и прочее, и совсем другое, когда вам писали: Лукия съела кошку и на другой день умерла... Никита не выдержал и повесился... Марья уже еле движется, распухла и посинела, совсем доходит, а детей уже всех похоронила... А вы хорошо знаете и Лукию, — еще с детства, — и Никиту, и Марью, со всеми ее детьми...

Но то, что происходило в самом Киеве, было не менее жутким: грузовики на улицах, доверху нагруженные трупами, грузовики с детьми, опухшими от голода, не имеющими уже силы ни кричать, ни плакать; целые стаи беспризорных шныряющих всюду в тщетной надежде разыскать в мусоре что-либо съедобное или при случае вырвать из рук горожанина тоже нелегко доставшийся ему кусок пищи. Самое страшное — это были «доходившие», которые часто целыми семьями — отец, мать, дети — располагались где-нибудь на углу площади или улицы, ожидая своей очереди. Напрягая последние силы, каким-то чудом добирались они до города, но лишь для того, чтобы найти там свою смерть. Помощи было ждать не от кого: и потому, что люди в городе тоже еле-еле тянули на том пайке, который получали, и делиться им было просто нечем, и потому еще, что помогать «кулакам», саботировавшим начинания партийной власти, считалось чем-то предосудительным, почти политическим преступлением. Милиция не успевала убирать с улиц умиравших или умерших. Люди спешили проходить мимо них, не останавливаясь и не оглядываясь. Есть бездны, куда лучше не заглядывать. И кто скажет, что моральнее: быть палачом или присутство-

вать при казни? Или и то и другое одинаково, по ту сторону добра и зла?

В первую войну, в самом конце, уже после революции, приходилось мне наблюдать другую картину: зимой, в пинских болотах, где наша часть доживала свои последние дни, тысячами, десятками тысяч медленно умирали от голода наши военные лошади. Всюду, куда достанет взгляд, вдоль дорог, в стороне от них, — стоят они, в одиночку и целыми группами — стоят, а не ложатся, низко, почти до земли опустив головы, покорно, не шевелясь. Стоят и ждут смерти. Только в глазах невыразимая скорбь, — именно, скорбь. И, может быть, укор (По чьей вине, за чьи грехи, во имя чего?) Так умирали тогда лошади, так умирали сейчас люди...

Не останавливаясь и не оглядываясь, спешил я в Академию, куда меня вызвали к секретарю, — им был тогда Агафангел Крымский, мой непосредственный начальник также и по Комиссии Ближнего Востока, в которой он был председателем, а я его заместителем.

— Интересная для вас комбинация, — встретил меня Крымский. — Несколько комсомольцев из самого ЦК Комсомола затеяли не совсем понятную для меня научную экспедицию в Среднюю Азию. Мне кажется для них это просто приятная прогулка, и научный работник требуется им как это у них говорится, не больше, чем для «оформления» — чтобы получать пайки, бесплатные билеты и прочее. Но почему бы вам не поехать? Кое-что посмотрите, поучитесь, а главное, отдохнете. Нельзя жить всё время в этом кошмаре.

— Но под каким же соусом мы это сделаем? — спросил я Крымского. — Если научная экспедиция, то нужно придумать для нее какую-то подходящую тему.

— Я об этом уже подумал, — сказал мне Крымский. Он, видимо, очень хотел угодить знатным комсомольцам — это было в его натуре.

— Цель здесь будет двойная. Они хотят прокатиться по Сыр-Дарье. Так, во-первых, вы посмотрите насчет археологических памятников в районе Ходжента. А, во-вторых, и это будет главной вашей задачей: в среднем течении реки есть несколько поселений украинских колонистов, пять или шесть настоящих больших сел. Живут они там в течение уже двух или трех поколений, в окружении киргизов и узбеков. И это было бы очень благодарной задачей понаблюдать и установить, что они за это время потеряли и что сохранили из своего прежнего быта, языка, обычаев, домашней обстановки и

прочее. По предложению тов. Скрипника (он был тогда наркомом по просвещению УССР, а наш разговор происходил незадолго до его самоубийства, оказавшегося роковым для очень многих людей), наша Академия начинает большую работу в этом направлении: изучение украинской диаспоры — на Дону, Северном Кавказе, в Поволжье, Сибири, в Зеленом Клину на Дальнем Востоке, ну, и в Средней Азии тоже. Вам выпала честь быть пионером в этом деле.

Особого энтузиазма идея Крымского у меня не вызвала, так как я предвидел подводные политические камни, скрывавшиеся за этим интересом к «украинской диаспоре». Но соблазн путешествия по Сыр-Дарье, при такой явно авантюрной обстановке, взял верх. Я дал согласие. Экспедиция состоялась, вписав в книгу моей жизни много интересных страниц не хватавшей ей экзотики.

2. Экспедиция

Я познакомился со своими спутниками. Их было семеро: шесть комсомольцев из ЦК Комсомола и седьмой — фотокорреспондент, Сережа Пучков, с которым мне и пришлось иметь дело в пути. Оба мы были беспартийными, и поэтому остальные всё время держали нас несколько поодаль от себя.

Как мне Крымский сказал уже, мои комсомольцы и вправду интересовались украинскими колонистами в Туркестане не больше, чем первыми поселениями квакеров в Америке; археологическими же памятниками — и того меньше. Экспедиция была для них такой же рекреацией, с примесью авантюры, как и для меня. О том, чтобы устроить себе просто туристскую поездку, в эти годы нечего было и думать. Пришлось это дело как-то «оформить» — есть такое чудесное выражение в советском лексиконе: оно означает умение придать видимость законности или необходимости чему-нибудь заведомо незаконному или явно ненужному. На этот раз на помощь пришла «научная экспедиция» да еще и с политически «актуальной» задачей — «украинский империализм». Скрипник тогда еще не был под ударом, как случилось это немного позже.

Сначала у нас всё шло, как по маслу: мандаты моих спутников оказались чудодейственными. И места в гостиницах и железнодорожные билеты всюду были обеспечены. А это, как каждый знает, было тогда, да и позже, совсем не просто. В распределителях для нас нашлись даже такие продукты, как сливочное масло и какао. В одном маленьком городке Узбе-

кистана — Намангане, кажется, — завсорабкопа, получив специальный наряд из местного горкома или райкома партии, чуть ли не с отчаянием должен был вытряхнуть из мешка последний оставшийся у него запас сахара. Он клялся, что сахара в городе нет даже для больниц и детских яслей. Но нам он не мог отказать.

Труднее вышло со средствами передвижения: в Джалал-Абаде, последнем городе на железнодорожном пути в Средней Азии, у границ Китая, не оказалось ни лодок (откуда они могли взяться в этой предгорной местности?), ни каких-либо средств для того, чтобы их построить даже собственными руками. Тут уже никакие мандаты и «бумажки» не помогли. «Бумажка» — магическое слово в советской жизни. Она открывает все двери и недоступное делает доступным. Из Джалал-Абада мы передвинулись в Наманган. И там вместе с последними запасами сахара добыли себе две старых-престарых лодки, с царских времен еще украшавшие собою маленький пруд в центре городского сада, едва ли не единственный когда-то предмет развлечения местной молодежи. Знатным путешественникам с соответственными мандатами не могли отказать выдать в наше распоряжение эти памятники прошлого. Но тут вышло новое затруднение: лодки вмещали не больше трех человек каждая, а нас всех было восьмеро. О научном руководителе экспедиции, о фотокорреспонденте, понятно, не могло быть никакого спора, но из остальных кто-то должен был избрать себе другой маршрут. Споры между моими спутниками и до того никогда не прекращались. Спорили и ссорились они по каждому пустяку, но главным образом из-за вещей и продуктов. Тогда я заметил, как мало коллективного чувства и до какой степени развито чувство собственности у людей, призванных, как они в это верили, быть наиболее сознательными и деятельными строителями нового общества, основанного на коллективизме и отрицании собственности. Заметил я тогда и другое: как мало было у моих спутников настоящего, живого интереса к этому самому строительству новой жизни, какой — по Апокалипсису — теплой и совсем уже не горячей была их вера. Они веровали. А еще скорее — они не доверяли друг другу своих сомнений, если у кого-нибудь они и были, открыто их не высказывали. Всякая вера включает в себя элементы воли, усилия, а то и насилия над собой — верую, помоги моему неверию. Но большевистская вера вся проникнута волюнтаризмом. Она не очеловечивает человека, а наоборот, налагает на него печать жестокости и

холодности. Она не возвышает его, а скорее снижает, делает его эгоистичнее и равнодушнее к ближнему, — может быть, и потому еще, что на ней лежит печать также и внешней принудительности, обязательности, официальности... Трудно и скучно коммунистическое общество!..

Из шести комсомольцев в нашей группе осталось четверо. Двое уехали, кажется, в Бухару. Мы пустились в плавание: по бурной и полноводной реке, которой мы совершенно не знали, по которой, вообще не бывает никакого сообщения — по крайней мере в то время его не было — и на своих полуразбитых, в конец изношенных лодченках. Плавание длилось около двух месяцев. Не обошлось при этом и без приключений.

Через два-три дня после начала пути, где-то совсем в пустынном месте, где между рекою и с двух сторон сжимавшими ее горными краями оставались только узкие полоски берега, мы встретились с группой вооруженных всадников. Мы не знали, была ли это местная полиция или басмачи — тогда их оставалось уже немного, но они всё же были. Всадники что-то кричали нам на своем языке и делали знаки причалить к берегу. Даже если бы это была и полиция, доверяться ей в этой пустыне и с нашими ценностями — фотоаппаратами, костюмами, одеялами, а, главное, сахаром, какао, спиртом и прочим, было бы немалым риском. А если это были басмачи, тогда вообще всё пропало.

Налегли на весла. Течение и без того было быстрое, и наши лодки неслись вниз по реке быстрее коней. Всадники — их было около десяти — стали стрелять. Но попасть, галопируя на коне, и по быстро движущейся цели можно было только случайно. Пули ложились брызгами по воде. Ощущение было не из приятных. Хуже, чем в бою, так как встречать опасность, оставаясь пассивным, совсем нелегко. Чувствовали себя как под расстрелом, который продолжался к тому же не меньше часа, а то и больше. Наши палачи, кто бы они ни были, поняли, наконец, беспечность дальнейших усилий, а спорт им повидимому надоел, и они повернули куда-то в сторону, когда в горах открылась долина.

Если и в русских областях Советского государства люди разделились на две неравные группы: на «мы» и «они», то это деление в неизмеримо большей степени чувствовалось здесь, в Средней Азии. Но здесь, кроме того, и признаки деления были гораздо сложнее. «Ими» для местного населения были, во-первых, как и до советской власти, все люди,

приехавшие «оттуда», с запада. Но к «ним» примкнули здесь и свои: все, кто, оставив веру и обычаи предков, стали служить новой власти. Контрасты здесь более бросались в глаза и деление людей на две группы было более явным: вот, например, женщина, окутанная в свою паранджу — несмотря на все усилия власти (тогда еще не удавалось заставить всех женщин отказаться от этого наряда, принятого почти во всех мусульманских странах), а тут же рядом с ней другая, может быть, ее же родная сестра, в форме милиционера регулирует на углу уличное движение. Что могло быть нагляднее этого? И так на каждом шагу...

Деление по признаку политическому и социальному или, если угодно, по признаку в е р ы перекрыло деление по признаку национальному. Так было, впрочем, и во время торжества Ислама. Нечто близкое к тому было и при царях. Только в очень отдаленном смысле можно было считать Туркестан российской колонией, ибо русский мужик в большинстве случаев оставался мужиком и в Туркестане, чего никогда не было в настоящих колониях находившихся под властью западных государств, а русский, скажем, урядник вел себя где-нибудь в Намангане или Ташкенте совершенно так же, как вел он себя в Тамбовской или Воронежской губерниях. Конечно, какие-то национальные неравенства оставались. Не обходилось иногда без проявлений и национального высокомерия. Но в общем это не имело большого значения. При советской власти национальное неравенство не исчезло. Но оно стало еще менее заметным, чем в прежнее время. Участие в общей вере, принадлежность к «Исламу» нового образца стирает национальные различия. И в чем могло проявляться национальное высокомерие у этих, например, «раскулаченных» и спасавшихся от коллективизации русских крестьян, когда они шли к «начальнику» из местных партийцев с просьбой о работе или прописке.

Народ всегда безмолвствует... Никогда не забуду одной встречи, когда мы спускались по Сыр-Дарье. — На совсем пустынном берегу — по течению реки лишь изредка встречаются оазисы — увидели мы старика совсем патриархального вида. Настоящий Авраам в Уре Халдейском! По виду киргиз из кочевников, пастух. Мы причалили к берегу и, как смогли, вступили с ним в беседу. Тут и открылись изумительные вещи, особенно для моих комсомольских активистов: старик в жизни своей не слышал не только о большевиках, Ленине, советской власти, но даже о Москве и России. Исто-

рия шла мимо него!.. Был ли он один такой во всем Туркестане? Не думаю. И не в одном Туркестане возможны подобные встречи.

Есть люди, делающие историю, есть помогающие ее делать, есть остающиеся в стороне. Так всегда было...

Встречей с басмачами наши приключения не кончились. У самого Ходжента нам пришлось выдержать опасную атаку: на этот раз со стороны... ос. Ходжент будто бы в старину даже назывался «городом ос». Он весь в фруктовых садах. И, действительно, ос в нем, как нигде на свете. А мы на дорогу запаслись там изрядным количеством фруктов, которые погрузили на свои лодки, не предполагая, какая в этом опасность.

Не успели мы немного отъехать от берега, как над нами показались целые тучи ос... Это было действительно страшно. Они закрывали собою свет. Облепили нам лица и руки. Их гул доходил, казалось, до самого мозга. Инстинктивно мы старались не шевелиться: благо, течение было так сильно, что нам не нужно было грести, достаточно было держать направление. И, всё же, спасения, казалось, не было. Почему-то осы пока никого из нас не жалили. Но что будет, если они переменят свое поведение?

Спасение, однако, пришло совсем неожиданно... Внезапно изменилась погода. Небо как будто разорвалось и из него полились потоки воды. Это был настоящий тропический ливень. Что случилось с нашими осаами, мы не знали. Да и думать об этом было некогда. Всё вокруг нас превратилось в сплошную водяную массу. Чтобы лодки не затонули, нужно было вычерпывать воду ведрами. А причалить к берегу не было никакой возможности. И продолжался ливень целые сутки. Мы сами, наша одежда, а, главное, продукты, которые составляли тогда главную ценность, промокли насквозь... Что случилось с нашими «мандатными» какао и сахаром? Настроение было убийственным. ...Воспоминание о такого рода приключениях бывает приятно. ...Но переживать их?..

Лишений в пути, вообще, было не мало. Чтобы спастись от комаров, — а их на Сыр-Дарье не меньше, чем на любой другой реке в такое время года, — приходилось всё время, днем и ночью, держаться самой середины течения, так как туда комары не долетали. Но и спать поэтому приходилось мало, по очереди, оставаясь в лодках — на берегу от комаров не было никакого спасения. С питанием у нас тоже, и до ливня еще, обстояло далеко не блестяще. Голода настоящего не было, но пища была грубой и убийственно однооб-

разной. А хуже всего было то, что воду приходилось брать прямо из реки, где она была наполовину с желтым тягучим илом. Однако, всё это — осы, и комары, и даже тропический ливень — были ничто по сравнению с тем, что нам еще предстояло.

После ливня мы подсушились, пообмылись, подкрепились, чем могли — с продуктами оказалось не так уж плохо, как мы того боялись — и в довольно бодром состоянии духа продолжали свой путь... Через час или два наше внимание привлек какой-то неясный шум в отдалении. Он всё время усиливался, но мы никак не могли понять, в чем дело. Только когда шум перешел в сплошной оглушающий рев, мы поняли: пороги! О существовании порогов на Сыр-Дарье мы знали. Но по своему легкомыслию не дали себе труда точно установить ни места их расположения, ни размеров связанной с ними опасности. В каком-то учреждении мы пытались, правда, что-то узнать. Но там никто толком не знал об этом, а какой-то советский чиновник — из «совбюрократов» — ограничился замечанием, что по Сыр-Дарье вообще не плавают, а мы, если хотим, можем плыть на свою ответственность.

Но что было делать сейчас? Благоразумнее всего было бы попытаться причалить как можно скорее к берегу. Плыть на лодках назад, против течения, было абсолютно невозможно. Оставалось рисковать, подобно Христофору Колумбу: впереди хоть какая-нибудь надежда, сзади почти верная гибель! И мы рискнули... Два раза в жизни так не рискуют...

Река и всё вокруг нас превратилось в одну пену. Мы ничего больше не видели, даже друг друга. Руки впились в весла. Мы не гребли ими, но старались во что бы то ни стало сохранять направление движения. Малейший поворот грозил верной гибелью. Мы и не видели и не слышали друг друга. так как все звуки тонули в сплошном гуле. Никто из нас не помнил потом, сколько длился весь этот ужас: несколько минут, час, больше? Ни мыслей, ни чувств — даже чувства страха — не было. Совсем так, как когда меня вывели из камеры смертников, как мне думалось, на расстрел. Как звуковые волны выше некоторого уровня не достигают уже слуха, так и душевное напряжение с какого-то предела не находит отражения в сознании. Когда меня вели на расстрел, я ничего не ощущал, кроме слепящего глаза света юпитеров. А тогда, на порогах, я, насколько помню, ничего не чувствовал, кроме ручки весла в моих руках.

Всё прекратилось так же внезапно, как и началось. Неужели и у меня такой же страшный вид, как и у моих товарищей? — подумал я, когда надо мной снова засияло солнце и стали видны расходившиеся в разные стороны полосы вспененной воды. Да, лица у нас были страшные. И прошло еще много времени прежде, чем мы могли прийти в себя. Любопытно, что ни во время пути, ни после, при встречах, воспоминание об этом «приключении» никому из нас не доставляло особого удовольствия...

Нам сказали потом, что спас нас от гибели только тот ливень, накануне, который причинил нам столько неприятностей и который мы так проклинали. Дождь поднял уровень воды. Она покрыла собою пороги. В этом было наше спасение.

После двух-трех недель пути добрались мы, наконец, и до тех украинских поселений, которые были формальной целью нашей экспедиции. Первое впечатление было прямо ошеломляющее: где-то среди туркестанских пустынь, на берегу реки, со столь чуждо звучащим для нашего уха названием, раскрылся перед нами кусок настоящей Украины. Те же мазанки, утопающие в вишневых садах, даже колодцы с журавлями. Как будто какой-то волшебник перенес всё это сюда прямо откуда-то из Полтавщины или Подолья. И в хатах те же вышитые рушники, та же обязательная ступа в сенях, тот же стол под образами, накрытый скатертью. Но так же, как и у нас сейчас там, на старой Украине, так и здесь, на этом столе, не видно уже прежней паляницы с куском сала.

Здесь, как мы скоро потом узнали, нет еще такого голода, как там, на родине. Еще не слышно, чтобы матери ели детей. Но кошек уже кое-где съели. А собачьего лая в деревне больше не слышно. Люди на берегу собирали ракушки для еды совсем так же, как и в районе Словечно, Киевской области.

Не слышно по вечерам и песен, которые в эту пору года некогда отличали каждое украинское село. Это уже так всегда водилось: когда двое или трое украинцев соберутся вместе, обязательно начинают они петь песни. Что прекраснее на свете украинской песни?.. Так было всегда, но не теперь. Теперь уже не до песен. Не только потому, что очень голодно (а как здесь жили когда-то!!.. об этом нам много потом рассказывали), а потому, что из каждой почти семьи ко-го-то «взяли», а то взяли и увезли куда-то и целые семьи — в порядке «раскулачивания» — отобрали «худобку» в колхоз

и всех тех, кого оставили — надолго ль? — гонят в колхоз. ...До песен ли тут?

Я наблюдал за лицами моих спутников. Как они реагируют на всё это? Действительно ли они верят в «историческую закономерность» и «целесообразность» того, что происходит на их глазах здесь и не без их прямого участия происходило там? Спутники мои тоже не были веселы. Порою я улавливал то у одного, то у другого мучительные гримасы, когда мы слушали о том, что здесь делалось, о том, как богато и привольно жилось здесь когда-то, какой убогой и тяжелой стала жизнь теперь. Везде и всюду, куда ни бросишь взгляд, куда ни обратишься в нашей широкой родной стране — один и тот же мотив: трудно привыкать к социализму (такое восклицание — настоящий крик души — вырвалось у моего друга Косенко, ученого совсем советской генерации, со стопроцентным пролетарским происхождением, — когда ему подали в учительской столовке тарелку жидкого капустного супа, заменившего собою весь обед).

Экспедиция закончилась

Мы благополучно доплыли потом до Аральского моря. Остатки своих лодок — вправду то были остатки их — сдали под расписку в какой-то колхоз русских колонистов. Это было сделано опять-таки для того, чтобы оформить конец командировки — иначе нельзя было бы высчитать причитающиеся нам паек и суточные. Физически очень усталые, но отдохнув от скучной рутины советской жизни, вернулись мы в Киев, уже под осень. Начинался академический год. Солнце, воздух, вода, а, самое главное, свобода — свобода от собраний и заседаний, лекций и консультаций, от всех видов общественной нагрузки, от критики и самокритики, от вечного, наконец, страха, ни на минуту не оставляющего ни одного советского человека, кто бы он ни был, — всё это было позади... А впереди было всё то же...

Политический ветер, когда я вернулся, успел уже измениться. Об интересе к украинцам диаспоры нельзя было и заикаться. Вместо отчета об украинских колонистах в Средней Азии, я сделал в своей Комиссии (Комиссии Ближнего Востока) доклад об аграрных отношениях в до-советской и советской Узбекинии. Об украинцах при этом не вспомнил ни словом...

К. Ф. Штеппа

В БУРНЫЕ ГОДЫ*

На турецком фронте

Несмотря на тяжелое поражение, нанесенное русской армии немцами летом 1915 г., все «оборонцы» 1915 г., с теми или иными вариантами, считали, что необходимо, стиснув зубы, постараться преодолеть все затруднения и попытаться довести войну до победного конца. Для этого всем и каждому нужно было включиться в оборону и войти в войну по мере своих сил и возможностей.

Многие так и поступили. Директор нашего Коммерческого Института П. И. Новгородцев принял предложение Министерства торговли и промышленности взять на себя обязанности уполномоченного по снабжению Москвы топливом. Вопрос был срочный и важный: шла зима, дров и угля было мало, железные дороги в связи с общей разрухой работали плохо. Многие смеялись: «Кантом и Гегелем Москвы не отопишь» (докторская диссертация Новгородцева называлась «Кант и Гегель в их учении о праве и государстве»). Однако же отопил. Возглавленное им «Особое совещание по топливу», объединившее торгово-промышленные сферы Москвы (этому помог также Коммерческий Институт) работало удачно и преодолело все административные, финансовые и экономические затруднения, столь сложные в описываемое время. Сам директор проявил работоспособность исключительную: читал лекции, управлял Институтом и по ночам еще писал свою книгу «Об общественном идеале». Многие наши студенты включились в оборону, устраивали лазареты, собирали на них деньги, работали в качестве санитаров, организовывали столовые для наводняющих столицу беженцев. Я чувствовал, что пришла и моя очередь. Невыносимо стало заниматься обычными мирными занятиями, тянуло на фронт, в армию. Я был единственный сын у моих родителей, не призывался тем самым к отбыванию воинской повинности, кроме того был освобожден от призыва, как профессор высшего

* См. кн. 53, 54 и 55 «Нового Журнала».

учебного заведения. Я считал, что по моему стажу я больше пользы принесу обороне, если примкну к одной из работающих на оборону организаций, чем если поступлю в армию рядовым добровольцем. Я начал собирать сведения в организации «Красного Креста», но там ничего подходящего не оказалось. Приятели посоветовали мне обратиться в «Всероссийский Земский Союз», где будто бы требовался уполномоченный на Кавказский фронт. В Земском Союзе этот вопрос двинули, и я был вызван на прием к Главноуполномоченному князю Г. Е. Львову, будущему министру-председателю Временного Правительства.

Помещение Главного комитета Земского Союза в Зачатьевском переулке на Мясницкой кишело людьми, как потревоженный муравейник. По коридорам бегали люди с портфелями и без портфелей, штатские и военные, в пальто с бобровыми воротниками и в чуйках. У дверей кабинетов стояли длинные очереди, курьеры входили и выходили с кипами бумаг, звонили телефонные звонки. Видно было, что это не чинное и важное петербургское министерство, а всколыхнувшаяся народная Россия. По первому докладу меня ввели в кабинет главноуполномоченного, которого я ранее никогда не видел. За столом, заваленным кучами бумаг сидел типичный русский дворянин-помещик, высокий, полный, с небольшой бородкой, как в то время носили, и с бледным утомленным лицом. Я позднее прочел в воспоминаниях В. Набокова, что в Временном правительстве в качестве премьера Львов был «воплощением пассивности», что он был проникнут сознанием невозможности повлиять на ход событий, что им «владел фатализм». Пожалуй, черты эти проявились и в первых коротких переговорах со мной, в течение которых он показался мне чрезвычайно усталым и переутомленным делами. Он необычайно быстро согласился назначить меня уполномоченным в Персию, не прощупав меня и не переговоривши со мной толком. Казалось, что всё делается на основании простого соображения: «хочешь ехать в Персию, ну, что же, голубчик, поезжай, помоги нам; говоришь, что ничего не понимаешь в деле, на которое тебя приглашают, ничего, обойдется, Бог поможет»... Он тотчас же передал меня вызванному в кабинет уполномоченному Кавказского комитета, графу Олсуфьеву, родственнику тех Олсуфьевых, с которыми я встречался в доме Толстых. «Вот вам всё граф расскажет, а мой совет, немедленно поезжайте на Урмийское озеро, время не терпит». Я думал, что дело идет об управлении санитарным поездом или отрядом, но из разговора с Олсуфьевым вы-

яснил, что главная задача моя — построение на Урмийском озере флотилии для перевозки водным путем больных и раненых с турецкого фронта.

Урмийское озеро, как объяснил мне Олсуфьев, это — соленое мертвое море. Процент соли в нем столь велик, что не только трудно утонуть человеку — плавает, как деревянная доска — но в озере нет ни рыбы, ни водорослей, живет только какая-то микроскопическая ракообразная тварь. На озере никогда не было судоходства, хотя оно в длину около 150 километров и до 50 в ширину. Персидские землевладельцы, «ханы», не разрешали крестьянам заводить на озере лодки, отнимая тем самым у них возможность проникать на многочисленные острова, плодородные и изобилующие пастбищами, где почти без всякого присмотра разводился ханский скот. Судоходство завелось впервые во время войны, военное командование переправило на озеро с Каспийского моря небольшой моторный катер, вооружив его пулеметом и одной пушкой «Гочкеса», был он под командой капитана Антонова. Закавказский комитет «Союза городов» имел две-три моторных лодки. Теперь Земский Союз решил завести на озере правильное пароходство для перевозки больных и раненых. Фронт находится на горных хребтах к юго-западу от южных берегов озера. Раненых и больных приходится вести по западному и северному берегу до железнодорожной ветки Джульфинско-Тавризской железной дороги. Везут, говорил Олсуфьев, по полному бездорожью на персидских телегах, иногда на верблюдах. Мучения неописуемые, смертность страшная. Если бы можно было пересечь озеро наискосок по направлению к его северо-восточному углу, где находится последняя станция ветки, Шареф-Хане, это сократило бы путь вдвое и избавило бы от мучений, причиняемых сухопутным транспортом. Это и является планом Земсоюза, для осуществления которого уже куплены в Батуме железные шаланды и в расклепанном виде перевезены в Шареф-Хане на берег озера. Таким образом материал для лазаретных судов есть, но беда в том, что нет моторной силы для их передвижения. Думали, что ничего не стоит ее достать, но оказалось, что моторных судов у нас вообще нет, а те, которые имеются, реквизированы на военные нужды. «Вот мы сидим и ищем, а время — заключил Олсуфьев — бежит и не терпит. Обследовали все реки, Каспийское, Черное, Белое моря, ничего не нашли. Остается Сибирь, но как оттуда провести суда в Персию?..»

Выслушав Олсуфьева, я решил, что дело, предложенное

мне, чрезвычайно заманчиво, но безнадежно в смысле исполнения. В Сибирь искать моторные суда я не поеду, но не буду сразу говорить «нет» — попытаюсь обследовать вопрос с поисками моторной силы как они до сих пор были приняты Земсоюзом. Просмотрев имевшуюся на этот предмет переписку, я нашел сообщение, что будто бы на реке Москве имеются пароходики, которые в летнее время возили публику на Воробьевы горы и что они зимуют где-то на Водоотводном канале около шлюзов. Я вспомнил, что сам когда-то на них ездил. На вопрос Олсуфьеву, осматривал ли он эти пароходики, он мне ответил: «сказали, что они старые и никуда не годны». Я предложил графу всё же поехать и посмотреть их. Мы взяли земский «Форд» и поехали на «Канаву» — так ранее называлась эта местность. Там на замерзшем Водоотводном канале все в снегу стояли действительно пять или шесть пароходиков. Мы взялись за это дело, нашли хозяина, призвали инженеров и техников, снеслись с Тифлисом и Урмией, долго вели переговоры с железными дорогами — в конце концов оказалось, что пароходы на худой конец годятся, если с них снять каюты для публики и покрыть палубой, и что при отсутствии больших туннелей их можно довести до Урмийского озера, поставив каждый пароход на две пульмановские платформы. Пароходики, к великому неудовольствию их владельца, были реквизированы, Олсуфьев остался в Москве заведовать их погрузкой, а я во второй половине февраля выехал в Тифлис в качестве уполномоченного Урмийского отряда Всероссийского Земского Союза.

Было морозно, и до Ростова на Дону в степи лежал снег. После Владикавказа и при приближении к берегам Каспийского моря уже повеяло весной: раздулись почки на деревьях, кое-где зеленела трава. В Петровске, войдя в стационарный буфет, увидел я толпу людей, теснившихся у прилавка. Толстый буфетчик разрезал пополам жареный пирожок, черпал из миски большой столовой ложкой зернистую икру, клал ее в середину и подавал на блюдечке желающим. Публика расплачивалась серебряной монетой — гривенниками, двугривенными, рублями. В это время в столицах пропала мелочь и на трамваях сдачу давали специально напечатанными на толстой бумаге почтовыми марками. Вот и поймите это государство, в котором на севере, исчезли серебряные деньги и дело близко к голодным бунтам из-за недостатка продовольствия, а на юге едят икру не какие-нибудь толстые буржуи, а средняя третьеклассная публика. В Тифлисе смеялись, когда я рассказывал, что в Москве нет серебряных денег и чувствует-

ся недостаток в белой муке и сахаре. В Тифлисе была уже весна, мужчины ходили без пальто, женщины — в весеннем одеянии. Состояние войны чувствовалось лишь в том, что по улицам фланировала масса военных. На тротуарах перед грузинскими и армянскими «Чашками чая» сидела веселая и довольная публика, пирожные, торты и сладости подавались в изобилии. Рестораны были полны, и кавказское вино свободно подавалось в кувшинах, водка же — в чайниках, как это было и в столицах.

Я не имел знакомых в Тифлисе кроме И. А. Карабегова, старого члена нашего Новгородцевского кружка и серьезного философа Марбургской школы. Происходил он из достаточной армянской семьи и жил в Тифлисе, как «свободный ученый», работавший над какой-то философской книгой. Карабегов мне рассказал, что Земсоюз на Кавказе есть организация чисто грузинская, конкурирующая с армянским «Союзом Городов», во главе которого стоит тифлисский городской голова, Хатисов. Руководящие сферы тифлисского Земсоюза принадлежат к кругам грузинских помещиков и князей, тогда как Союзом городов руководит кавказская денежная и торговая буржуазия. Между этими двумя частями кавказского населения существует старый антагонизм, раздуваемый, помимо чисто экономических причин, еще и тем, что представители петербургского правительства нетактично фаворизировали то грузин, то армян — прошлый кавказский наместник, Воронцов-Дашков неумеренно выдвигал армян, нынешний, вел. кн. Николай Николаевич, окружен грузинами, с которыми охотится и пьет «кахетинское». Армянские круги Тифлиса интеллигентнее грузинских, добавил Карабегов, и он может познакомить меня с людьми, хорошо знающими французскую литературу, поэзию и философию, но он не советует, работая в Земсоюзе, особенно выставлять напоказ эти знакомства — «потеряете среди грузин всякий кредит».

Информация Карабегова, как мне пришлось убедиться, оказалась совершенно правильной. Председателем Закавказского Комитета Земсоюза был князь Сумбатов, ближайший родственник известного московского артиста, Южина-Сумбатова. Он был человеком очень культурным, с французским лоском и светскими манерами. Зато остальные члены комитета принадлежали к числу средних и даже обедневших грузинских князей, людей хлебосольных и веселых, но с очень малым образованием. Попали они в Комитет, не по деловитости и уму, и даже не по состоятельности, но по родовой грузинской чести. Про одного из них, совсем обедневшего

старого князя, рассказывали мне сами грузины, что наместник за ним очень ухаживал, так как у него была борзая сука, которая обскакала всех великокняжеских борзых. «Продай собаку» — убеждал его великий князь — «заплачу большие деньги». Старик уперся — «ни за что не продам, Ваше Высочество, давайте хоть миллион». И впал после этого в немилость.

Что Земский Союз был учреждением главным образом дворянским, в этом я убедился, познакоившись с составом канцелярии Закавказского Комитета. Служащими в ней были, кроме грузин, представители самых известных дворянских фамилий Москвы, частью моего возраста, частью более молодые, — лица, известные мне по студенческому движению в 1905-06 годах, все члены основанного проф. С. Н. Трубецким общества «академистов». С «академистами» я в свое время «воевал», и я сразу почувствовал, что мое прибытие в Тифлис очень им нравилось. Про Земский Союз шла молва, что это было учреждение, в котором «окопались» люди, уклонявшиеся от воинской повинности. По моим наблюдениям подобные факты имели место, но их никак нельзя преувеличивать и они не так уже важны: служба в Земском Союзе в обстановке 1915 года могла быть много полезнее, чем пребывание в армии.

Совершив первые знакомства в Тифлисе, я выехал на место своей деятельности в Персию, в местечко Шареф-Хане, находящееся на северо-восточном берегу Урмийского озера (или озера Резайе, как его теперь называют). Железная дорога шла от Тифлиса на юг, через Александрополь, Эривань, Нахичевань до Джульфы, где проходила русско-персидская граница. После Тифлиса шли красивые гористые и лесистые места, сменившиеся оголенным плоскогорьем, простиравшимся до спуска к реке Араксу. В оврагах и ущельях этого плоскогорья видел я из окна вагона одинокие армянские деревушки, поражающие своей убожеством и нищетой — хижины, сложенные из кое-как уложенного плоского известкового камня, почти что без всякой растительности вокруг, тощие обработанные мотыгой поля, на которых могла расти разве только кукуруза, одетое в какие-то лохмотья население. Подобные места я видел много позднее в Боснии и Герцеговине, когда мне пришлось жить в Югославии. В долине Аракса, куда мы спустились, стало побогаче, появилась растительность, рисовые и хлопковые поля, расположенные на мокрых болотистых местах, где летом было столько москитов и комаров, что жители, спасаясь от них на ночь,

строили на высоких деревьях для ночевки небольшие шалаши, куда москиты не долетали. После Эривани, направо от железной дороги, появилась величественная снежная вершина Арарата, а за ней — малый Арарат и примыкающие к нему горные хребты, лежащие уже в Турции. И, наконец, утром мы подъехали к Джульфе, местечку столь печальному, что по сложившемуся преданию именно здесь Каин убил Авеля. Грязные, немощеные улицы, глиняные мазанки и вокруг огромное военное кладбище — сотни могил с небольшими деревянными крестами. Вокруг бесплодная степь, усеянная мелким камнем и окруженная какими-то темно-красными скалами.

Из Джульфы русским частно-предпринимательским обществом была открыта за один или два года до моего путешествия железная дорога на Тавриз, вторую столицу Персии. Недавно проложенная ветка от этой железной дороги вела к Шареф-Хане, от которого существовали проезжие пути (в мое время к ним трудно было применить понятие «шоссе») к ближайшим персидским городам, Марану, Хою и Урмю. По Тавризской дороге не существовало еще правильного движения поездов, по большей части поездной состав не превышал трех-четырех товарных вагонов, к которым иногда присоединялся один пассажирский. Мы ехали в товарном вагоне и спали на расставленных в нем наших походных кроватях. Таможенный осмотр на границе производили персидские чиновники — на них, как сказали мне ехавшие со мною на фронт офицеры, не следует обращать особого внимания: всегда можно подкупить или в крайнем случае пригрозить шашкой. Поезд еле плелся, поднимаясь на высокий хребет, отделявший русско-персидскую границу от низменности, на которой стоял Тавриз и было Урмийское озеро. Была уже ночь, и азербайджанский пейзаж я увидел только утром, когда с хребта мы начали спускаться в долину.

Пейзаж персидского Азербайджана поражает широкими просторами своих долин, на которых возвышаются отдельные каменные скалы, и окаймляющими эти долины далекими горными цепями, вершины которых белеют снегом. Таких просторов не встретишь в Европе, — ни в Пиренеях, ни в Альпах. Их видишь разве только на Кавказе, когда от Кисловодска поднимаешься на Бермамыт, откуда открывается, как на ладони, вся цепь Кавказских гор. Лесами порос здесь только Карадаг, горный хребет, отделяющий восточную часть персидского Азербайджана от Азербайджана русского — местность в мое время непроходимая, где находятся богатейшие

медные копи. Американцы взяли концессию на эти копи, но не могли ее разрабатывать, так как Карадагом владели разбойники и вооруженные местные ханы, не допускавшие туда войск персидского шаха. Кроме Карадага местность безлесна. Луга существуют только на значительных высотах, да и то не в жаркое время года, когда и здесь трава выгорает. Богатая, даже роскошная, субтропическая растительность существует там, где летом и даже весной еще не высохла вода. Не высыхает она, благодаря искусственной системе орошения, устроенной, вероятно, еще в большой древности. Вы едете по высохшей, покрытой каменными россыпями степи и вдруг видите по геометрической прямой тянущийся на многие километры ряд небольших конусообразных возвышений, идущих по направлению к дальним горам. Если вы подниметесь на верх подобного усеченного конуса, вы увидите там отверстие, как бы род колодца, в котором внизу струится вода. Когда этот подземный водный канал подходит к деревне, вода выходит на поверхность земли, образуя целую систему каналов («арыков»), орошающих служащую для обработки почву. Там, где имеются такие «арыки», вырастает роскошная субтропическая флора — огромные тополи, фисташковые и тутовые деревья, фиги, персики, абрикосы, виноград. Весной всё это цветет, розовеют персиковые кусты, белеет миндаль, распускают свой тонкий аромат яблони — и всё это на фоне южного темно-голубого неба и желтых, далеких гор, сияющих своими снежными вершинами. Вероятно, в таких райских садах древние персидские поэты писали свои чудесные стихи. Деревни и даже города этой страны тоскливы оттого, что улицы состоят из коричневых глиняных стен, в которых нет окон и только всегда запертые ворота и двери. Окна домов обращены внутрь двора, где у людей богатых устроен цветник, бьет фонтан и даже построен бассейн для купанья. На улицах населенного места часто также текут арыки, в которых женщины моют белье и купают своих ребятишек. Гигиенические условия — невыносимые. У большинства жителей какая-то сыпь на коже и струпья на голове. У меня был фотографический снимок, на котором было видно, что женщина обмывает у мальчика язвы на голове и тут же рядом, вниз по течению арыка, другая стирает белье.

Таково было Шареф-Хане, известное производством мелкого изюма, так называемого «киш-миша» и сушеных абрикосов, «шепталы». Наш лагерь стоял в некотором отдалении от деревни, на самом берегу озера. На восток от нас, почти что рядом, начинались болотистые места, настоящие грязе-

вые топи, где можно было легко утонуть. Грязи эти считались лечебными и потому летом на них съезжался народ из разных мест страны. Строили шалаши, лезли в грязь, где не очень глубоко, и лечили свои болезни. Наш лагерь состоял из нескольких юрт, барака для рабочих и деревянного сарая, для склада вещей и продовольствия. На самом берегу рабочие-грузины клепали поставленную на козлы железную шаланду. Работами заведовал инженер, И. Ф. Чавчавадзе, и рабочие были исключительно грузины, из которых многие даже не говорили по-русски. Смешанного, грузино-армянского происхождения был только бухгалтер, который, как я тотчас же убедился, был не в милости у инженера.

Когда я осмотрелся на новом месте, я понял, что до прибытия двигательной силы в виде наших пароходиков и до организации движения по озеру мои обязанности сводятся к финансовому контролю, к санитарному устройству лагеря и, наконец, к установлению внешних, «дипломатических», отношений с военными властями. Здесь я встретил упорное сопротивление со стороны Чавчавадзе, оказавшегося человеком невероятно упрямым и не лишенным восточного коварства. Прежде всего он запретил бухгалтеру допускать меня до финансов. Бухгалтер, не смея мне прямо отказать в этом, стал всячески вертеться и наконец признался, что ему «не велят», что он человек зависимый, не чистый грузин среди грузинских рабочих — «меня могут просто убить, если будет приказано»... В устройстве части санитарной были также затруднения — мне не давали рабочих для устройства сколько-нибудь приличных уборных. Питьевая вода бралась из деревни, носилась ведрами из какого-то сомнительного источника. Между тем в двух километрах оказался источник отличной питьевой воды. Я решил купить бочку и лошадь, что мне самому было трудно, так как я не говорил ни по-турецки, ни по-армянски. Наконец, через переводчика, найденного в деревне, мне удалось сделать эту покупку. Воду стали возить... но лошадь через неделю околела в больших мучениях. История эта показалась мне подозрительной и при помощи доктора местной ячейки «Союза городов» я распорядился сделать вскрытие. Оказалось, что в овес, которым кормили лошадь, были подсыпаны мелкие гвозди, причем нашего же земского происхождения. В довершение всего у нас с Чавчавадзе вышли политические недоразумения. Он оказался грузинским националистом, который открыто говорил, что не русским воевать с немцами, что русские всё равно проиграют войну. Я сказал ему, что никому не запрещается так думать, но открыто про-

пагандировать такие мысли в организации, работающей на войну, и человеку служащему в такой организации я не могу разрешить. У нас вышел крупный разговор, кончившийся чуть ли не стрельбой из револьверов.

Всё это более или менее стало улаживаться, когда стали прибывать русские плотники для предполагаемой переделки пароходов, когда мне были присланы пять автомобилей Форда и один чудный Стюдебекер — который, кстати сказать, был мало пригоден для местных дорог — с двумя русскими шоферами. Я выписал кроме того из Москвы себе в помощь приват-доцента В. В. Погосского, которого Чавчавадзе также не взлюбил, утверждая, что он вовсе не Погосский, а Погосяни...

Деятельность моя в смысле установления внешних, «дипломатических» отношений началась с установления знакомства с штабом генерала Чернозубова, начальника той части русских войск, которая действовала в так называемом Моссульском направлении, то есть, в качестве последней задачи должна была соединиться с англичанами, занимавшими Месопотамию. Штаб Чернозубова, когда я его впервые посетил, стоял довольно далеко от фронта, в городе Хое; позднее он перешел в какое-то селение, находившееся в юго-западном углу озера. В штабе прежде всего интересовались, есть ли у меня автомобили, и мои акции, как я почувствовал, сильно поднялись, когда узнали, что они есть. Командующий авточастью, военный инженер, прямо заявил, чтобы я их отдал ему, чего я не имел права сделать и только частично сделал, когда началось пароходное движение по озеру. Сам генерал, довольно пожилой, при котором тут же состояла молодая жена — офицеры в шутку мне сказали, что она-то и является настоящим командиром отряда — узнав, что я профессор Коммерческого Института, и решив, что тем самым я имею отношение к коммерции, стал меня убеждать, чтобы я при ближайшем посещении Москвы мобилизовал тамошние торгово-промышленные круги для учреждения акционерного общества в целях эксплуатации богатств в «завоеванных» нами землях, — хлопка, серы, угля, меди. Вообще чувствовалось, что край этот уже присоединен к России и мы его никогда никому не отдадим. Между тем, ни наше стратегическое положение, ни политические условия, существовавшие в Персии, никак не соответствовали такой уверенности. В штабе мне дали понять, что турки готовят наступление и что может случиться, что нам необходимо будет эвакуировать даже северные берега озера с нашим Шареф-Хане. Вскоре после по-

сещения штаба я поехал на автомобиле в Тавриз, где почувствовал всю парадоксальность нашего положения в персидском государстве. В Тавризе существовало германское консульство, и по улицам разъезжали в форме немецкие офицеры.¹ Персидское правительство не находилось в состоянии войны с Германией и не было союзником России в этой войне. Мы были, в сущности говоря, оккупантами в Персии, трудно сказать терпимыми или желаемыми. Русская оккупация Азербайджана началась за несколько лет до войны 1914 года, когда в силу революционных событий в Персии в Азербайджан были введены русские войска и самим персидским правительством был приглашен для охраны порядка казачий отряд под начальством Ляхова. Как относилось население к русским — сказать трудно в виду его большого национального, расового и культурного разнообразия. Азербайджанец, даже в высших классах, когда с ним встречаешься, складывает руки на груди, опускает глаза и изображает вид величайшей покорности, а что он там думает, вы никогда не угадаете. Как многие восточные люди, в мое время он был лжив и неискренен. И эта характеристика верна только по отношению к мусульманско-туранской части населения, — к потомкам тех племен, которых некогда Тимур привел в Азербайджан. Но кроме них в Азербайджане существуют армяне, айсоры (потомки древних сирийцев), курды, тоже мусульмане, и наконец потомки древних персов, так называемые «форсисцы», которых в этой части мало и они принадлежат к высшей помещичьей аристократии. Армяне и айсоры — народ торговый, бывалый, имеющий родственников и связи, и в Европе, и в Америке. Кроме того они христиане, имеющие свою церковь.² Ясно, что русских они считали своими защитниками, а не врагами. Курды — красивый, храбрый и мужественный народ мусульманской веры, но враждебный туркам из-за мусульманско-сектантских расхождений. Они населяли ме-

¹ В городе Урмии, на берегу Урмийского озера, в описываемое время существовало русское консульство. Консулом был В. П. Никитин, большой знаток Ирана и позднее евразийский писатель. Пребывание чужеземного консула в стране показывает, что между названными государствами существовали нормальные дипломатические отношения мирного времени.

² Урмийская христианская церковь, глава которой имел местопребывание в г. Урмии, принадлежит к числу древнейших христианских церквей. По вероисповеданию ее сторонники «монофизиты» или иначе, сторонники несторианской ереси.

стности в тылу нашего фронта, между озером и восточными границами Турции по направлению к озеру Ван, где был наш главный русско-турецкий фронт (так наз. Эрзерумское направление). Курды не воевали против нас вместе с турками, однако же приблизительно за полтора года до моего приезда в Персию подняли в тылу отряда генерала Чернозубова восстание, поставившее нашу армию, находившуюся на высоких горных позициях, в чрезвычайно тяжелое положение. Только помощь казачьей дивизии, присланной из армии генерала Баратова, оперировавшего в юго-восточной Персии, избавила нас от катастрофы. В штабе полушопотом мне сказали: «вот как созреет хлеб, курды уберутся с жатвой, ждите опять восстания, и если в это время понапрут турки, дело наше будет совсем дрянь»... В предвидении этих возможностей с Кавказа проходили через Шареф-Хане отряды войск, состоявших из армянских и грузинских добровольцев, народа плохо обученного и очень распущенного. Они творили в Шареф-Хане большие безобразия, рубили прекрасные сады, грабили население.

Во второй половине мая была спущена на воду первая «шаланда», в которой покрыли деревом пол и поставили койки, превратив в санитарное судно. И тут же пришли первые из наших пароходиков. Инженер наш их невероятно критиковал, не руководствуясь пословицей «на безрыбье и рак рыба». Их начали энергично переделывать, покрыли палубой и устроили каюты, непроницаемые для воды на случай большого волнения в озере. Капитан Антонов сделал распоряжение не пускать их в плаванье в бурную погоду, но в тихую они начали отлично ходить по озеру, таща за собою железную баржу. Быстрота движения была не высокая, но во всяком случае, вместо двухнедельного пути вокруг озера сухопутьем, пароход с баржей пересекал озеро менее, чем в одни сутки. Я думаю, что Всероссийский Земский Союз с его урмийской флотилией спас немало жизней и облегчил мучения многих больных и раненых на этом далеком и тяжелом фронте войны 1914-го года.

По поручению из штаба армии нами была совершена поездка по Урмийскому озеру для изучения его восточных берегов и многочисленных островков, находящихся посредине водных пространств, ближе к южной его части. Мы поехали на моторном катере вчетвером — капитан Антонов, я, инженер и военный врач. Целью поездки было нащупать места для возможной постройки лазаретов и эвакуации материальных частей и провианта, если вдруг нам придется отдать вре-

менно озеро туркам. Предполагалось, что турки не имеют никаких серьезных средств водного транспорта и что нам удастся отсидеться на островах, пока не подойдут подкрепления и мы не отвоюем озеро обратно от турок. Мы пересекли озеро на юго-восток, взявши направление на большой остров, изображаемый на картах иногда полуостровом и находящийся на восточном берегу. Надо сказать, что озеро не имеет постоянного уровня вод, он зависит от зимних осадков и погоды. Оттого пролив, отделяющий названный остров от материка иногда высыхает настолько, что крестьяне переходят его вброд, что запрещено землевладельцами-ханами. Подойдя к берегам острова, мы прежде всего наткнулись на большое покинутое жителями селение. Нам потом рассказали, что жителей заели скорпионы и они должны были выселиться в другое место, где в новых постройках скорпионов было меньше. Следуя далее на юг, мы подошли к большой деревне, окруженной садами и пышной растительностью. Здесь мне пришлось увидеть зрелище, напомнившее детское чтение о путешествиях Кука, кажется на Полинезийские острова. Население деревни, женщины, мужчины, дети, никогда не видавшие моторного судна, высыпали толпой на берег и в изумлении смотрели на наше приближение. Когда же катер остановился, спустил якорь и небольшую шлюпку, в которую мы сели, жители врассыпную пустились бегом прочь, и деревня совершенно опустела. Когда мы высадились на берег, мы не нашли ни одного человека, ни на улицах, ни в домах. Мы, вооруженные винтовками, пошли медленно по главной улице, и через несколько минут увидели, что навстречу нам двигаются две фигуры — одна в зеленой чалме (видно, что бывал в Мекке), другая в белой — служитель Аллаха и староста. Они несли на подносе дыни, арбуз и другие плоды в приветствие нам. Наш инженер и капитан Антонов говорили немного по-турецки и объяснили мулле и старосте, что мы приехали, чтобы спросить, можно ли здесь, на острове, построить лазарет для раненых. Нам ответили, что земля и деревня принадлежат «хану», который живет в другом имени на том же острове, ниже, к югу. Был уже вечер, мы переночевали на катере и на следующее утро, следуя вдоль берега, нашли довольно широкое ущелье среди скал, закрытое для северных ветров и представлявшее собою по богатству растительности настоящий ботанический сад. Посреди него бурлил впадавший в озеро поток. Вдали ущелья были видны строения и возделанные поля. Мы спустили якорь, высадились на берег и пошли по направлению деревни.

Не доходя до нее мы увидели окруженный высоким каменным забором белый каменный дом европейского вида, не отличавшийся никакой особой архитектурой. Это и был дворец владетельного хана, которому принадлежала часть острова. Хозяин лет 35-ти, одетый, как ходят настоящие богатые персы, в черный кафтан, с черной барашковой шапочкой на голове, с бледным, красивым лицом, огромными глазами и чувственным ртом, вышел к нам навстречу и, прижимая руки к груди, пригласил во внутренние покои. В приемной комнате не было никакой мебели, на полу лежали прекрасные персидские ковры и стояли две-три табуретки. Пришлось расположиться на коврах, сложивши ноги «калачиком». Хозяин говорил по-французски, бывал даже в Париже. Он сказал, что всегда был другом русских и врагом турок — повидимому, он был сторонником древне-персидской религии Зороастра — что он не имеет ничего против постройки лазаретов на его островах и в меру своих сил окажет содействие этому своими людьми. Мы хотели раскланяться, но он пригласил нас, уже не знаю к чему, — к завтраку или к обеду. Через час очень приятной беседы, от которой у меня, вследствие неудобной позы сидения, ломило спину и дрожали ноги, отворилась дверь и вошел слуга, несший огромный поднос, покрытый чем-то вроде ватного стеганого одеяла. Поднос был поставлен на пол посреди нас, одеяло открыто — и мы увидели небольшую тарелку рисового пилав с бараниной и большое количество маленьких тарелочек со всякими сладостями. Тут были и изюм, и сушеные фрукты и всякого рода варенья. Оказалось, что начинать нужно было с сладкого, а потом уже на закуску есть пилав.

После обеда хозяин предложил нам прекрасных верховых коней для прогулки по его имению, и мы увидели, что всё его благосостояние зависит от бьющего из скалы прекрасного источника чистой, холодной воды. Мы распрощались и поплыли осматривать маленькие острова, находящиеся посреди озера. На одном мы нашли тучные пастбища и стада баранов, на другом значительное количество больших желто-зеленых змей, на третьем гнезда розовых фламинго, детеныши которых не могли еще летать и бегали по земле. Мы поймали двух, связали им ноги и привезли в Шариф-Хане, откуда они были отправлены в Тифлисский зоологический сад.

Нам не пришлось эвакуироваться из Шариф-Хане и строить на островах лазареты. Наступление на этот раз было отбито, курды не подняли восстания. Поездка наша не имела практических результатов, но оставила у меня неизгладимый

след в памяти. Помню особенно последнее пробуждение на палубе катера на рассвете. Кровяная утренняя заря на востоке, темно-лиловое небо, какого я никогда не видел на родине, коричневые осырова и скалы вокруг, а над головой озаряемая первыми лучами восходящего солнца летящая стая фламинго. Во всем этом было нечто волшебное, что я рисовал в своей фантазии, когда читал книги о чужих, дальних краях. Я вспомнил тогда почему-то Одиссею Гомера, странствии ягического героя по неведомым морям и островам. Казалось, что недоставало только одного — появления волшебной Цирцеи, но она не появилась и не принесла никаких чудес. Пошла обычная колея жизни со всеми ее мелкими делами, неприятностями и трудностями.

Н. Н. Алексеев

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Прошло больше двух лет, как появилась моя книга воспоминаний о «Современных Записках». Книга заканчивалась указанием, почему она опубликована сейчас, а не *post mortem* автора и живых свидетелей. Не претендуя «на безгрешность своих суждений», автор предлагал свидетельствовать, вносить поправки и дополнения всем, кому, как и ему, «дорога и правда, и память об ушедших (редакторах), и дело «Современных Записок».

Призыв был услышан и получил отклик в печати и в личных письмах. Откликнулись так или иначе к журналу причастные и к нему не причастные, сохранившие и через 20 лет после его прекращения симпатии и привязанность к нему или, наоборот, и за это время не изжившие в себе отталкивания от редакторов «С. З.» и их «дела».

Откликов оказалось гораздо больше, чем можно было ожидать. И неожиданность эта была тем приятнее, что в подавляющем большинстве отзывы были самые сочувственные и благоприятные, порою восторженные. Даже отмечавшие недостатки воспоминаний или свое несогласие с тем или другим, подчеркивали их ценность для истории русской литературы, общественности и интеллигенции. «Современные Записки» это большое культурное наследие не только для эмиграции, но и для будущей России», — повторяли многие.

О положительных отзывах в «Заключительном слове» будет сказано лишь в связи с вопросами, которых касаются критики и мои корреспонденты. Преимущественное внимание будет сосредоточено на отрицательных оценках — иногда даже без встречного комментария или контр-довода.

Отзывы носили общий характер, касались и отдельных частных. Проблематически главным был всё тот же вопрос или спор о взаимоотношении между мировоззрением и общественно-политическим деланием, — между «чистым разумом»

и «практическим». Этот вопрос «мучил» редакторов «С. З.». На нем же сосредоточили свое внимание, по существу давая разные ответы, — Е. Д. Кускова и Ф. А. Степун.

Предваряя последующее, тут же надо сказать, что было бы ошибочным сводить кризис в редакции «С. З.» к действию одной причины. Как обыкновенно, причин было несколько, и идеологическое расхождение между членами редакции было одной из наиболее существенных, но не единственной.

Ф. А. Степун был очень близок к журналу с 1923 г.: заведовал литературно-критическим отделом; сотрудничал, как философ, публицист и даже как романист; был интимным другом Фондаминского-Бунакова и находился в приятельских отношениях со всеми другими членами редакции. Его показания заслуживают исключительного внимания, и с них — с его статьи «Редакционный кризис «Современных Записок» и современное мировое положение» («Русская Мысль». 1. V. 58) — мы и начнем обозрение отзывов о книге воспоминаний о «С. З.».

Ф. А. удостоверяет, что рассказ о том, как «по началу мирная и согласная духовная жизнь редакторов начала постепенно осложняться, не вызывает с моей стороны никаких возражений. Всё было так, как о том повествует М. В.... Хорошо, хотя и не без легкой иронии, зарисована их (постоянных сотрудников) борьба друг с другом за значение и вес своих имен в журнале. Показана также их трудная жизнь и их жертвенность во имя духовного творчества».

Ф. Степун бросает и другие сочувственные замечания по поводу книги, приправляя их то тут, то там шепоткой соли или перца. По существу же он не без оснований усматривает главного виновника «редакционного кризиса» в авторе воспоминаний. Но Ф. А. утверждает, что «верный рыцарь демократии» вышел из редакции «С. З.», когда она «в лице Фондаминского и Руднева соблазнилась православными настроениями и пореволюционными требованиями второго поколения эмиграции».

Это последнее утверждение построено уже на недоразумении — и даже не на одном.

Верно, что Фондаминский и Руднев «соблазнились» православными настроениями; и неверно, что это вызвало выход из редакции автора воспоминаний. Верно, что Фондаминский — как и Степун — соблазнился «пореволюционными требованиями»; и совершенно неверно будто с ним в этом был солидарен Руднев. Последний был не только чужд, он был решительно враждебен, так называемым, «пореволюционным»

настроениям. В моих воспоминаниях приводится ряд чрезвычайно резких высказываний В. В. Руднева против «пореволуционности» Степуна, Федотова, Фондаминского и «Нового Града». Там же отмечено, что Авксентьев, я и Руднев до самого конца «С. З.» оставались политически теми же «староверами» и «доктринерами» (демократии), какими, покинув Россию, приступили к изданию журнала.

Это совершенно неопровержимо.

«Пореволуционность» не единственный предлог для Степуна заключить Руднева в общие скобки с Фондаминским. Между тем, как я о том писал, большинство в редакционном «треугольнике» (Фондаминский-Руднев-Вишняк) не было постоянным: оно складывалось — двое против третьего — по-разному, в зависимости от вопроса, подлежавшего обсуждению и решению. «Миросозерцательно» Фондаминский с Рудневым были против меня — или я против них, — но политически мы с Рудневым дружно голосовали против Фондаминского и его «пореволуционных» увлечений в новоградские времена. По вопросам же литературным или литературной критики Фондаминский и я часто решали против Руднева, который был среди нас наиболее принципиальным и, потому, наименее гибким и терпимым.

Ф. Степун полагает, что «общественно-политическое значение «С. З.» не в последнюю очередь связано с тем, что этот единственный по своему культурному уровню и по своей духовной широте эмигрантский журнал был осуществлен не профессорами и не профессиональными писателями, а представителями партии социалистов-революционеров, наследниками народничества и завершителями его истории». Он видит в этом не разочарование только в политическом прошлом, а — **покаяние** революционеров в своих грехах»: «тема покаяния, возникшая изначально в душе Фондаминского, лишь через несколько лет завладела Рудневым и навсегда осталась чужда Вишняку».

Это верно в последней части; может быть, верно и в отношении Фондаминского, — хотя кому дано знать, что творится в чужой, даже близкой душе: когда и как происходят в ней перемены; и это опять-таки совершенно неверно в применении к глубоко религиозному Рудневу.

На протяжении всего двадцатилетнего существования «С. З.» одной из излюбленных и дорогих Рудневу идей была связанность религии с социализмом, с народническим социализмом. К этой идее Руднев постоянно возвращался в своих

речах и статьях. И свое жизненное политическое призвание видел он в сочетании небесной правды православия с правдой земной, с народничеством, которому искони и стихийно предан русский народ. Руднев был «душой» неперсодического журнала «Свобода», который выпускали правые эс-эры тогда же, когда выходили «С. З.». Он активно участвовал и в других начинаниях правых эс-эров того времени. В народническом социализме видел он и наиболее верное идеологическое средство против безбожного марксизма — антидот и противовес ему.

Будущее России предносилось Рудневу, как оправдание народнических идей, и свой политический — и жизненный — долг он видел в следовании этим идеям. Можно ли после этого утверждать, что и Руднев ощущал себя одним из «завершителей истории народничества», не говоря уже о «покаянии», которое было совершенно чуждо общему стилю Руднева?

Ф. Степун «знает (!), что Фондаминского, а потом Руднева привели к Христу не политические соображения, не искания правильной тактики в борьбе с большевизмом». И вместе с тем он думает, что идея переключения «С. З.» на мировоззренческие позиции была им продиктована «жаждой действительной борьбы против советской диктатуры». Это явное противоречие Степуну легко было бы устранить с помощью обычной в таких случаях ссылки на «диалектику» или сочетание противоположного. Но утилитарный, или «инструментальный» подход к мировоззренческой истине был, мне кажется, совершенно чужд моим религиозно-настроенным соредакторам.

Как и раньше, Степун ищет и находит религиозный смысл в большевицкой революции. Он поясняет при этом, что для него «религиозность всегда означала некую богоисполненность, диалектического же употребления этого термина он (Руднев) эмоционально не принимал». Отсюда и решительное отталкивание Руднева от «пореволуционности», что, в прямом противоречии с тем, что Степун говорил раньше, он и сам отмечает: «Особенно возмущали Руднева, как правильно утверждает Вишняк, мои попытки раскрыть в большевизме религиозный смысл и моя вера, что большевизм не только злостный поджог, но и страшный пожар России, не только ложь, но в известном смысле и путь к истине».

А если это так, правильно ли брать Руднева за общие скобки с Фондаминским и Степуном и противопоставлять его не только «мировоззренчески», но и политически «вечно

взволнованному и воинственно настроенному» автору воспоминаний? Неужели для этого достаточно «диалектическое употребление» термина религиозность?

По мнению Степуна, не будет преувеличением сказать, что расхождение в редакции «С. З.» «было до некоторой степени повторением исконного спора между славянофилами и западниками, сущность которого заключалась, конечно, не в борьбе между славянами и романо-германцами, а между религиозно-целостным и автономно-плюралистическим пониманием культуры».

Как мне представляется, и это обобщение покоится скорее на предвзятом толковании, нежели на исторических фактах.

Ф. Степун признает «долю правды» в том, что «свободолюбивые страны не могут пользоваться даровым трудом, подавлением свободы личности, террором», однако, не придает этому значения, которое оно фактически имело. Он видит здесь только «долю правды», «недостаточную», — вся же истина в том, что советскими людьми «владеет идея», тогда как «в Европе никакой новой идеи нет, нет и веры».

Западная, формальная демократия «пустогруда», а советскими людьми владеет идея, — был излюбленный тезис Степуна, Фондаминского и других сторонников «пореволуционного сознания». Этот тезис перекликался с антитезой коммунистов, считавших себя добродетельными, а «их», буржуазный мир с его демократией, порочными,¹ — хотя рекомендуемая Степуном и другими «новая» идея и вера не так уж нова. Достаточно напомнить, что последний из Вселенских Соборов, закрепивших догматы православия, состоялся в Никее в 787 году.

Возникший между редакторами русского толстого журнала спор Степун не считает «простой размолвкой». И сейчас, через 20-30 лет, этот спор, по его мнению, «со всё возрастающей силой ведется между мировоззренческим коммунизмом и западно-европейскими государствами, правительства которых стоят в общем и целом на позициях Вишняка».

¹ На последнем XXI-м съезде компартии небезызвестная Фурцева обличала буржуазию — ту же «формальную демократию» — в том, что та «не в силах противопоставить светлым и чистым коммунистическим идеалам какие бы то ни было новые идеи, способные зажечь и увлечь нации», наш же, коммунистический, путь «озарен ярким немеркнущим светом марксизма-ленинизма» (Правда. 30. 1.).

Тоже достаточно устаревшая идея.

Сколь это ни лестно, это — преувеличение и, того хуже, — находится в полном несоответствии с действительностью. В Европе, и не только в Европе, а и в Азии и Америке, государствами управляют верующие — христианские демократы разного толка и не-демократы, последователи Христа, Будды, Ганди и др. И население на всех континентах в этих странах пронизано «мировоззрениями» гораздо сильнее, чем население советской империи проникнуто «мировоззренческим коммунизмом». (Именно это служит одним из оснований для «верных рыцарей формальной демократии» надеяться на лучшее будущее для России.)

Ф. Степуну представляется, что «всякий намек на необходимость связи свободы с истиной» демократы «типа Вишняка» воспринимают как защиту диктатуры. Здесь опять-таки не одно недоразумение, а два.

Демократы отнюдь не отрицают связи свободы с истиной. Они отвергают лишь непремennую связь свободы с одной и единственной, абсолютной и вечной истиной: у каждого своя истина, и богооткровенная может быть связана со свободой, как и не-богооткровенная, религиозная или нерелигиозная. О диктатуре же речь может идти только в тех случаях, когда «связь» замещается **подчинением** свободы — или, по выражению Степуна, «выхолащенного» понятия свободы — истине безусловной и неоспоримой.

Что это не предвзятое толкование противника мировоззренческой установки Степуна, можно видеть хотя бы из сочувственной взглядам Степуна заметки Р. Плетнева, помещенной в «Русской Мысли» (5. VI. 58) почему-то под немецким заголовком «Für Wenige» («Для немногих»). Заостренная против «т. н. западников», которые будто бы «были почти сплошь или скептиками или людьми неконфессиональными» (какой ужас!), заметка устанавливает не то как исторический факт, не то как обязательную норму — «Вне диктаторов массы мнутся, ибо веры в Горнее не имеют, а ищут Идол на земле. Масса хочет иметь свое лицо и находит его в вожде... Все религиозные и псевдорелигиозные великие движения не-демократичны, а авторитарны».

Не все доводы в статье Степуна связаны прямым образом с «С. З.», «редакционным кризисом» и книгой моих воспоминаний. Всех их, однако, пришлось бегло коснуться, потому что у Степуна, и для Степуна они внутренне связаны в некое единство. Ф. А. предвидит, что его «дополнения» и «пояснения», которые сводятся, по его же словам, к защите того, что он защищал в «С. З.» и «Новом Граде» 25-35 лет

назад, «мало что» мне скажут и «конечно, не изменят» моих взглядов. Он прав в этом, как и в том, что «только история, причем не ее завтрашний день, а вероятно еще очень далекий день», может дать ответ, кто из нас прав.

Это нисколько не умаляет значения показаний Ф. А. Степуна, лучше других осведомленного о происходившем в «недрах редакции «С. З.», за ее кулисами и в ее окружении. Надо прибавить к этому, что идеологически, а в последние годы и политически наши позиции ни в какой степени не сблизились, а страницы моих воспоминаний, посвященные Степуну и «степуновщине» никак не располагали к снисходительной критике с его стороны. И если тем не менее Ф. А. удостоверяет, что в общем «всё было так, как о том повествует М. В.», хотя толкование должно быть иным, это — ценнейшее свидетельство не для проблематического только «будущего историка», но и для читателей книги воспоминаний и, само собой разумеется, для ее автора.

Исходя из той же причины «редакционного кризиса», из которой исходил Ф. А. Степун, покойная Е. Д. Кускова пришла к выводам диаметрально противоположным. «Надо надеяться, что в освобождающейся России прежде всего будет откинута обязательная связь между политикой, а тем более всей культурой, и мирозерцанием. Без такого разрыва духовное развитие страны совершенно немыслимо», — заключила Ек. Кускова свою положительную оценку воспоминаний о «С. З.» в статье «Книга-памятка» («Нов. Р. Слово», 8. IX. 57).

Высланная Лениным из советской России, Кускова тотчас же по прибытии за границу стала писать в журнале и сделалась постоянной и заслуженной сотрудницей «С. З.». Редакция очень ценила яркого и талантливого автора, хотя политические ее взгляды часто не совпадали с взглядами редакции. И Е. Д. была привязана к журналу и членам редакции, хотя политическую установку «С. З.» не всегда одобряла.

Е. Д. начинает статью с воспоминания о том, как «при первой встрече с толстым журналом в эмиграции» ее «поразило сразу сочетание имен участников: люди разных политических взглядов — вместе! Чудо какое-то! Редактора — люди одной породы, знакомые нам эс-эры. А сотрудники — столь далекие от этой партии». И она продолжает: «Очень тяжела шапка Мономаха всякой редакции. Ну, а тут при таком разнообразии сотрудников, претензии к редакции были не редки... И тем не менее — уживались и создали журнал в суете

эмиграции большой ценности. Теперь, много лет спустя, читатель в каждой книге «С. З.» найдет статьи, совершенно не устаревшие и для наших дней».

И всё же журнал не сохранился. Почему?

Не только из-за материальных затруднений и прихода Гитлера во Францию, — полагает Кускова. «Журнал должен был закрыться по причине чрезвычайно важной: раскол произошел не между сотрудниками, а между членами редакции, и — по вопросу, который остается в психологии нашей старой интеллигенции и до сих пор неразрешенным, — необходимо ли для объединения обязательное общее миросозерцание?» Как и автор воспоминаний, Е. Д. считала такое требование признаком не зрелости, а политической и культурной отсталости. Когда редактора «С. З.» «погнались за миросозерцанием для журнала», — редакция распалась и журнал погиб.

Е. Д. Кускова, как и Ф. А. Степун, правильно нащупали невралгический пункт редакции «С. З.». Это была наиболее существенная причина редакционного кризиса, но, увы, — не единственная. Были и другие. И задолго до прихода в Париж Гитлера начались перебои и «неполадки» в редакционной работе. О них воспоминания не умалчивают. Там рассказано, в частности, как Авксентьев, Фондаминский и Вишняк пытались разрешить вопрос о «Русских Записках», которые к концу существования «С. З.» выходили одновременно с последними и под тою же редакцией, что и «С. З.». Удовлетворительного решения не нашли. И Руднев, в те годы секретарь «С. З.», продолжал руководить ими; Фондаминский с головой ушел в «Новый Град»; Вишняк же занял место секретаря «Русских Записок» под редакцией П. Н. Милюкова, которому журнал был передан издателем «Русских Записок». Мы с Фондаминским продолжали писать в «С. З.», но от их редактирования были фактически устранены. В письме в редакцию «С. З.» от 23 мая 38 г., довольно подробно приведенном в воспоминаниях, указывалось, что «единства редакция давно уже собой не представляет, превратившись в простую сумму отдельных единиц», сложившийся же режим «единоначалия» лично оскорбителен и «объективно пагубен».

Навязывание журналу мировоззрения сыграло гибельную роль в жизни «С. З.». Но оно сопутствовало исчезновению того, чем держался журнал, при его возникновении и во время расцвета. «Наличность морально-политического содружества немало содействовала успешному преодолению препятствий, возникавших на нашем пути, особенно в первые, наиболее трудные для «С. З.» годы», — говорится в первой же главе

воспоминаний о «С. З.». Когда это «содружество» перестало ощущаться, идеологические разногласия стали восприниматься острее, и распад редакционного коллектива сделался неустранним.

Постоянным и видным сотрудником «С. З.» был и Борис Константинович Зайцев. В «С. З.» появилось большинство его романов, позднее выходявших отдельными изданиями на русском и иностранных языках. Воспоминания о «С. З.» вызвали сочувственную реакцию с его стороны.

«Хорошо сделали, что написали ее (книгу). Я-то читаю даже с волнением — это наша прежняя «человеческая» жизнь, рассказанная спокойно и (несмотря на темперамент автора) не пристрастно. Но вот и для других, кто не так близок был, всё это особенно ценно, останется памятником золотой полосы эмиграции. То, что все мы очень скоро уйдем, неотвратимо. Всё же, что было хорошего, останется. И на нас лежит долг «стрелять до последнего патрона», т. е. стараться поддерживать человеческое, не опускаться, — держаться того, во что каждый из нас верит». А в *Post Scriptum* Б. К. прибавляет: «О Бунине мне грустно было читать»...

Другой постоянный сотрудник «С. З.», известный литературный критик и поэт Г. В. Адамович говорит тоже много лестного о журнале и «интереснейшей» книге воспоминаний («Русская Мысль». 15. VIII. 57). «Хороший был журнал, сделавший большое, очень нужное дело, отстоявший честь русской эмиграции». «С. З.» были «убежищем духа свободы... надо и хочется сказать это без всякой натяжки, без малейшего насилия над собой, с благодарностью от обоих поколений, застигнутых революцией, и замеченного, и 'незамеченного'».

Г. Адамович правильно указывает, что «нельзя считать его (журнал) исчерпывающим, идеально-полным, безупречно-справедливым, безупречно-чутким в выборе материала, нельзя утверждать, что умственная жизнь эмиграции отражена в нём целиком». — Кто рискнул бы это утверждать и какой журнал вправе на это претендовать? Более чем достаточно признание со стороны литературного критика, что будущий историк по справедливости отведет «С. З.» первое и почетнейшее место в эмигрантской литературе». Но, конечно, «не признает их изданием единственным, по сравнению с которым никакие другие журналы ничего существенного не дали».

Последнее настолько самоочевидно, что возникает недоумение, почему понадобилось это подчеркивать? Объяснение, повидимому, — в приведенных в книге словах Петра Струве, который пенял своему другу С. Л. Франку на то, что тот отдал отвегнутую «С. З.» статью не Струве в его «Россия и Славянство», а — «Числам». Это, по словам П. Б. Струве, свидетельствовало не об идейном расхождении, а «есть только переход в худшее помещение».

Г. Адамович, один из вдохновителей «Чисел», находит, что изображать «Числа» только худшим изданием «С. З.» есть «искажение истины» и «было бы лучше, если бы к словам Струве он (т. е. автор воспоминаний) добавил несколько слов от себя, хотя бы ради объективности».

Делаю это с полной готовностью, хотя и с большим запозданием. Конечно же, «Числа» были своеобразным изданием, преследовавшим свои особые цели. Готов согласиться и с тем, что, приводя слова Струве, следовало бы добавить кое-что и от себя, — и не ради объективности только. Во всяком случае не неприязню к «Числам» вызвано было мое умолчание. Да Адамович в том и не заподозривает, а, наоборот, отмечает «несвойственное автору благодушие», которое «разлито» в книге, «будто автор растроган воспоминаниями о любимом своем детище, — доставлявшем, кстати, ему столько хлопот, — и настроен примирительно ко всему, что когда-то его раздражало».

Несогласие мое с Г. В. Адамовичем совсем в другом и касается не «С. З.» и не пишущего эти строки, а И. И. Фондаминского. Адамович неверно и, как мне представляется, совершенно несправедливо отозвался о Фондаминском, как деятеле, политике и даже ораторе, — отозвался между прочим, без внутренней связи с тем, что он говорит о «С. З.» и о книге воспоминаний о журнале.

Не буду воспроизводить жестокую характеристику, данную Адамовичем. Он сам отмечает, что, хотя «встречался с Фондаминским довольно часто», он, может быть, знал его недостаточно близко, чтобы «полностью оценить». Характеристика, данная Адамовичем, была столь неожиданна, что вызвала с моей стороны запрос, как сложилось у него такое неблагоприятное впечатление, противоречащее общему мнению личных и политических друзей покойного и отзывам писателей, ученых и молодых поэтов, с которыми в течение многих лет постоянно общался Фондаминский — «душа» «С. З.» и обаятельный, а во многих отношениях и замечательный человек?

На это Г. В. отозвался сообщением, что те, в ком Фондаминский и ему близкие видели поклонников его таланта, в частных разговорах высказывали мнения не столь далекие от высказанных Адамовичем в его статье. Оставаясь друзьями И. И., писатели и молодые поэты считали его простодушным и к дарованиям его относились скептически. Исключение составлял М. А. Алданов, всегда Фондаминским восторгался.

Достоверность того, что сообщил Г. Адамович — и что он разрешил предать гласности, — не подлежит, конечно, никаким сомнениям. Двуличье тех, кого Фондаминский и другие ошибочно считали преданными и искренними его друзьями, Адамович отрицает. Я склонен думать иначе, но это уже вопрос оценки — субъективной и, потому, спорной.

На книгу воспоминаний о «С. З.», как сказано, отзывались многие свидетели — литераторы и не-литераторы, писавшие в журнале и в нем не писавшие. Помимо названных Ф. Степуна, Ек. Кусковой, Б. Зайцева и Г. Адамовича, то были (по алфавиту): Д. Аминадо, Н. Валентинов (Юрьевский), С. Водов, Э. и В. Войтинские, Б. Волосов, Р. Гуль, Б. Домогацкий, Л. Жерби, Н. Калашников, М. Карпович, И. Коварский, А. Койранский, Р. Лебедева-Фондаминская, В. Марков, О. Маслей-Христианович, М. Павловский, Я. Позин, К. Прошин, Я. Рубинштейн, В. Рудинский, Н. Ульянов, Е. Федотова, М. Цетлин, Ф. Шлезингер, Д. Шуб и другие — среди них неизвестные авторы, подписавшие статьи инициалами.

Положительные, а иногда и восторженные, отзывы о воспоминаниях объясняются, конечно, и за 20 лет неизгладившимся пиэтетом к «С. З.». Но что нравилось одним, нравилось меньше или оставляло равнодушными других. Разнилась и критика, и оценка. Прежде, чем перейти к частностям, остановлюсь на том общем, что одинаково отмечали критики, во всем другом между собой несогласные.

И благожелательные критики не всегда отдавали себе ясный отчет в обязанностях и правах редакции. Некоторые сводили их чуть ли не полностью к технике регистрации поступающих рукописей, сношениям с типографией и налоговым ведомством, корректированию, экспедиции, выплачиванию гонораров. В **отборе** материала, нужного, по мнению редакции, для очередной книжки журнала, в проектировании и составлении книги путем **предпочтения** одного другому в интересах разнообразия и привлекательности очередной книги,

критики склонны были видеть редакционный произвол и присвоение редакторами цензорских функций.

Так, впрочем, смотрели и некоторые особо чувствительные и самолюбивые сотрудники журнала, когда их «интересы» сталкивались с аналогичными интересами — а часто и претензиями — других сотрудников. Редакции приходилось выбирать и решать в качестве как бы супер-арбитра, и мы не делали секрета из того, что Бунина предпочитали всем другим, Сирина — всем молодым, а «невнятицу» Цветаевой — звучной ясности Бальмонта. Это было произвольно, — может быть, неправильно и несправедливо, но не имело решительно ничего общего с цензурой, или запретом печатания: и объективно не могло быть иначе.

Пишет лицо причастное к некоторым редакционным делам «С. З.»: «Если многое в статьях Г. П. Федотова, вошедших потом в (книгу) «И есть, и будет», задевало Руднева и других редакторов «С. З.», нужно было просто отвергнуть этот продукт нэповского оптимизма, вместо того, чтобы цензуровать... Какой редактор имеет право посягать на слово большого художника и пытаться выправлять его даже советами».

Сам Федотов этого мнения, повидимому, не разделял. Сужу по тому, что, сопротивляясь «цензуре» редакции, он рукописи всё же обратно не потребовал, а в книгу «И есть, и будет» опущенной редакцией «С. З.» главы сам не включил.

В. Руднев обвиняется одновременно и в том, что он «не только просил Марину Цветаеву сократить (статью о Максе Волошине), но даже (!) пытался (!!)) ее увещевать («не как редактор, а как читатель», — слова Руднева) относительно ее «раболопства по отношению к Максусу» и предостерегал ее от «ридикуля». Не без сарказма тут же прибавлено: «немало бездари печаталось у вас в нескольких номерах».

Это, к сожалению, верно, но не имеет решительно никакого отношения к бесспорному праву редактора советовать сотруднику, просить его о сокращении размеров рукописи или даже в качестве простого читателя «пытаться увещевать» автора?.. Филиппика всё же кончается на примирительной ноте: «Какое всё-таки счастье для русской литературы и (какая) честь для «С. З.», что вы так много ее (Цветаеву) печатали».

Того же вопроса о редакторской цензуре касается и сравнительно новый эмигрант Н. И. Ульянов. С негодованием и желчью обличает он «эмигрантскую ждановщину». В моих

воспоминаниях критик обнаружил «прекрасное свидетельство всегдашней зависимости литературы от партийности». Упомянув о «С. З.» — не то иронически, не то а fortiori: с других изданий спросится еще меньше, — как о «самом либеральном и самом культурном журнале эмиграции», Ульянов пользуется моей книгой воспоминаний в качестве доказательства того, — «как Милюков не пускал в «Последние Новости» Гиппиус и Мережковского за любовь к Пилсудскому» («Нов. Р. Слово», 14. XII. 58).

Глеб Струве уже «заступился» в своем «Дневнике читателя» за П. Н. Милюкова и за автора воспоминаний, за «Последние Новости» и «С. З.». Он отметил, что Ульянов «кое в чем допустил неточность, а кое-что упустил из виду» («Нов. Р. Слово» от 18. I. 59). Позволю себе остановиться на этих «неточностях» и восстановить «упущения».

Книга моя не может свидетельствовать в пользу того, что Милюков «не пускал» в свою газету Мережковского по двум обстоятельствам: Мережковский и не покушался писать в «Последних Новостях»; и — об этом в книге ничего не сказано.

Другое дело Мережковская-Гиппиус. Милюков ее сначала, действительно, «не пускал», а потом («не сразу») всё же пустил. И не пускал он Гиппиус не за одну только «любость к Пилсудскому», — как «это ясно из того, что пишет М. В. Вишняк», по упрощенному резюме Ульянова. В воспоминаниях говорится, что как раз к этому времени вышла из печати «Черная книга» Гиппиус, в которой она выражала предельное возмущение не только большевиками, правыми эсэрами и «всякими евреями и еврейками», но и левыми каде-тами, к которым причислял себя тогда Милюков.

Когда же Милюков всё же пустил Гиппиус в свою газету, она там недолго удержалась. Печатать стихи или рассказы ее не увлекало. Она увлекалась публицистикой и надуманным ею «третьим путем», отстоявшим очень далеко от политической линии Милюкова, наиболее важной для него в газете — органе р.-д. (республиканцев-демократов).

«Цензура» ли виновата в уходе Гиппиус из «Последних Новостей»?

Еще меньше оснований говорить о цензуре применительно к «С. З.». Мнение Глеба Струве, специалиста по истории русской литературы и публицистики, никак не связанного с «С. З.» ни литературно, ни политически, ни даже лично, настолько поучительно, что я не могу не привести его. Г. П. Струве свидетельствует: «Такого примера редакцион-

ной широты и терпимости история русских толстых журналов, всегда бывших более или менее 'направленческими' органами, не знает. И речь ведь идет не о том, что двери были широко открыты для писателей и поэтов разных направлений, но о том, что в журнале, редактировавшемся несколькими партийными эс-эрами, участвовали, как публицисты, В. А. Маклаков, Н. А. Бердяев, о. Георгий Флоровский, К. И. Зайцев, бар. Б. Э. Нольде и др.».

Тут же автор прибавляет в скобках: «другое дело, если некоторым из редакторов самим эта широта стала невольготу, как это видно из книги Вишняка». Это вполне соответствует тому, что было и о чем рассказано в воспоминаниях.

Из всех отзывов должна быть выделена огромная статья Владимира Рудинского, напечатанная в «Возрождении» № 70 (Октябрь 57 г.). Она в буквальном смысле — «ниже всякой критики» не по вульгарной резкости только, но и по совершенно бесцеремонному обращению с общеизвестными и неопровержимыми фактами.

Если поверить Рудинскому, окажется, что «молодым писателям в «С. З.» ходу не давали. Их там печатать не печатали, но зато не скупилась на добрые советы: никакого романтизма, никакого символизма. Описывайте социальную среду в духе здорового реализма». Именно поэтому «С. З.», вероятно, и печатали «реалистов» Мережковских, Ремизова, Цветаеву, Шестова, Белого или из более молодых — Сирина, Газданова, Фельзена, Пескова, Яновского, Поплавского, Вейдле и т. д.

Известно Рудинскому и многое другое. Так, например, он точно знает, что «эмигрантская масса никогда не считала журнал идеологически своим. Читали ради литературной части; политическую или не читали вовсе, или читали с раздражением и иронией. Жаловались когда про себя (и это известно Рудинскому. — М. В.), а когда и вслух, что писатели и ученые пишут не так и не про то, как бы надо... Пример Шмелева, Цветаевой, даже Сирина показывает как нелегко было пройти через цензуру «С. З.». Все молодые, новые, начинающие авторы тщетно бились лбом о двери журнала, где им, если их и пропускали, ставили строгие и тяжелые условия».

Что здесь просто не выдуманно, то — преувеличено. Не стану повторять сказанного в воспоминаниях. Остановлюсь

на «позорном», по мнению обличителя, отношении редакторов к И. С. Шмелеву.²

«Из всего написанного Шмелевым нам лично первые главы «Солдат» кажутся самым глубоким и замечательным и по замыслу, и по силе выполнения», — заявляет Рудинский. Спорить с ним и его художественным вкусом не приходится. Но когда он нападает на редакторов «С. З.» за то, что они «не дали (Шмелеву) докончить» «Солдат», нельзя не сказать, что оценка романа Рудинского разошлась не только с оценкой и вкусом редакции журнала, но и самого автора «Солдат». Он сам «оборвал» роман. Как он писал мне — и это приведено в моих воспоминаниях: — «повторилось то самое, что случилось со мной в мае-апреле 1918 г., когда я полтора месяца лежал пластом и не мог связать простой фразы» и т. д. Но, и поправившись, Шмелев не стал продолжать «Солдат», а приступил к новому роману.

В. Рудинский счел себя призванным встать на защиту и Марины Цветаевой. И здесь он передергивает. Достаточно одной иллюстрации. Он приводит мои слова: «я всегда противился их (стихов Цветаевой) напечатанию», но скрывает от читателей, что эти слова относятся только к «непонятым» для меня стихам Цветаевой, — что сказано в той же самой фразе, которую «критик» цитирует.

Обвинив меня в ускорении смерти Шмелева, Рудинский обвиняет и в других неблагоприятных деяниях, — в частности, в опубликовании выдержек из писем, которые насчитывают 30-летнюю давность. И здесь, как и «по делу» Шмелева, обвинение предъядается не прямым образом, а косвенно, путем предположения и сослагательного наклонения. «Мы сказали бы (!), что кое-что из них (писаний Вишняка) может быть не

² Мне лично вменяется, правда, не открыто и прямо, а путем инсинуации («как говорят») способствование смерти Шмелева!.. «Главу книги (моих воспоминаний), посвященную травле Шмелева, написанную и опубликованную еще при жизни старого писателя, и, как говорят, ускорившую его смерть», Рудинскому было «трудно читать без краски стыда за ее автора».

Приведу простую и всем доступную календарную справку, свидетельствующую о фальшивости морального негодования Рудинского. Книга воспоминаний вышла в 1957 г.; очерк о Шмелеве, вошедший в книгу, впервые был напечатан в «Нов. Р. Слове» 27 мая 1956 г., а И. С. Шмелев умер 24 июня 1950 г., т. е. за шесть лет (без месяца) до того, — т. е. до появления очерка, в котором и «травли», конечно, никакой не было.

без успеха использовано большевиками, как иллюстрация разложения эмигрантской элиты». Чем не новое «дело» о работе на пользу большевиков?!

Статья Рудинского — ни в какой мере не литературная критика, а совершенно откровенные политические счета, не похожие ни на что другое написанное и напечатанное о книге воспоминаний о «С. З.».

Откровенно-пристрастен, или партиен, и некий К. в статье, напечатанной в журнале анархистов «Пробуждение» (Февраль, 1958). Но ни в какое сравнение с Рудинским недовольство автора идти, конечно, не может. К. недоволен «С. З.» за то, что они выходили «без лица» в философском смысле: «никакой 'школы', никакого 'течения' не было. Единственной вывеской служила 'культура', за которой одинаково могли укрыться монархисты и демократы, верующие и атеисты». Не нравится К. и то, что среди сотрудников, а не только редакторов, «не было гармонии, солидарности и согласованности», — «каждый считал себя выше и лучше других». Недоволен он и тем, что автор книги, «как и подобает мемуаристу, претендует, конечно, на объективность и беспристрастность», но, «к сожалению, не везде он соблюдает эти благородные качества. Так, например, (в этом «примере» и «зарыта собака» — весь смысл рецензии! М. В.), коснувшись анархистов, он уподобил их безответственным и капризным личностям».

На самом же деле «это у государственников личная ответственность не играет никакой роли (власть, дескать, обо всех заботится), но не у анархистов. Всё то, что именуется законами, фактически безответственные действия законодателей... Разве кто-нибудь поручал законодателям устанавливать, например, налог в таком-то и таком-то размере?».

Спорить бесполезно. Внесу только две поправки. Вопреки тому, что К. утверждает, в книге подчеркнуто: «воспоминания несомненно (!) субъективны. Может быть, и односторонни». Неверно и другое. Говоря о невозможности приравнять бессмысленное убийство полоумным Горгуловым французского президента к организованным массовым казням чеккистской власти, воспоминания указывали, что видеть в этом «одно и то же» могло «лишь сознание анархиста или безответственно-капризной поэтессы». «Или» всё-таки не «и».

Другой рецензент П. Б. в аргентинском «Новом Слове» (Буэнос Айрес. Декабрь. 1957) после лестных слов о книге воспоминаний заканчивает поучением по адресу «С. З.».

«Так работать, как работала редакция «С. З.» в наши дни совершенно невозможно»; цели «нашей эмигрантской периодики» сейчас отличаются «от задач, которые ставились перед периодикой первой эмиграции». Главным отличием — и пороком — прошлого рецензент считает «ту своеобразную 'диктатуру автора', о которой эпически спокойно рассказывает М. В. Вишняк». Сейчас она «уже отошла в область предания. В периодике для народа, каковой является большинство наших эмигрантских изданий, в изданиях на 'ту' сторону, этой диктатуры не может и не должно быть».

Критик понимает под «диктатурой автора» «анархическое требование печатать то только, что хочет лишь автор». При не совсем обычном сближении «диктатуры» с «анархией» здесь вменяется редакторам «С. З.» уже не насилие над сотрудниками («цензура»), а, наоборот, — подчинение домогательствам («диктатуре») сотрудников. На деле не было ни цензуры редакции, ни диктатуры авторов, а был демократический орган, в котором редакция учитывала пожелания сотрудников и считалась с их мнениями, подбирая материал и составляя очередную книгу «С. З.» так, как она считала нужным в интересах читателей, журнала и дела, которому журнал был посвящен.

Было высказано удивление, звучавшее порицанием, почему воспоминания уделили так мало внимания Михаилу Осиповичу Цетлину — консультанту «С. З.» по стихотворному отделу, поэту и литературному критику, постоянному сотруднику журнала и другу членов редакции. Удивление не лишено оснований.

Здесь, пожалуй, будет уместным заполнить пробел, отмеченный мною, к сожалению, уже после выхода книги, в письме в редакцию «Нов. Р. Слова» 22 сентября 57 г. В книге воспоминаний ничего не сказано о том, как сохранился архив «С. З.», который частично дал материал для книги. За несколько дней до занятия Парижа немцами архив был сдан на хранение заведовавшему парижским отделением Амстердамского Института социальной истории Б. И. Николаевскому. Усилиями последнего и его помощницы А. М. Бургиной архив «С. З.» был переправлен в подполье на Луаре, где и пролежал благополучно все годы войны. Еще раз выражаю искреннюю признательность сохранившим архив.

Приведу критические или отрицательные суждения, вкрапленные в положительные отзывы.

Один из рецензентов, отзывавшись с большим сочувствием о книге воспоминаний, которая «несомненно когда-нибудь будет переиздана в России, и ее историки русской литературы и русской интеллигенции часто будут цитировать», прибавляет: «не нравится мне только, что вы подчеркиваете недостатки людей, о которых пишете. В кратких очерках, по моему, можно было обойтись без этого. Не нравится мне также, что вы во всем и всегда были правы».

Еще отзыв: «Вы поставили себе ограниченную (я не говорю маленькую) задачу — написать историю журнала, а на самом деле затронули многие проблемы нашего времени. Правда, ощущение такое будто со всех сторон боковые ходы, но двери закрыты... В этом причина, что читаешь медленно, вернее больше думаешь, чем читаешь. Перетряхиваешь весь накопленный за жизнь багаж. Пожалуй, в конце книги проскальзывает личный элемент, обида, — это немного портит».

Другой корреспондент после комплиментов делает оговорку: «Два-три места, на мой взгляд, излишне откровенны. Среди читающей публики есть люди, перед которыми можно раскрыть душу, но немало представителей и иной породы». Он же прибавляет: «Не понимаю, как могли вы так долго жить и работать в атмосфере, отравленной «мировоззренческим» душком. Я готов любить и питать нежность к чеховскому Архиерею, к лесковскому дьякону Ахилле. Но когда люди, которые и лягушек резали, и Маркса читали, и общественными вопросами занимались, начинают пахнуть этим душком, у меня возникает непреодолимый защитный рефлекс».

Р. Б. Гуль, расхвалив в «Нов. Журнале» воспоминания, нашел, что «по некоторым страницам может, пожалуй, составить неожиданное и вряд ли исчерпывающее впечатление» от Бунакова. И очерки о Степуне и Федотове носят, по мнению того же критика, «чисто полемический характер». Близкое Фондаминскому лицо свидетельствует: «так и вижу всех близких и тех, кого знала. Кое-какие черты характера И. и других, которые мы, близкие, знали, но, может быть, другим были неизвестны, я бы не упомянула, — неуютно было читать».

Как будто предвидя такие возражения, пишет многоопытный литератор: «Писать такую книгу было нелегко. Вероятно, не один раз у вас вставал вопрос: нужно ли, можно ли, следует ли о том или другом факте писать? Вещей, которые можно было скрыть, было много. Вы на этот путь не стали, и это **правильно!** И это прибавляет ценность вашей

книги. Вы сказали, не утаивая, всё, что нужно было сказать и что сделало книгу такой живой и ценной. Одну только вещь, по моему, не стоило говорить, это — указание о масонстве Маклакова, пока он жив и свою принадлежность к масонству скрывает».³

И другой автор приблизительно того же мнения: «у нас очень боятся правды и любят глядеть на ретушированные портреты литераторов. Вы же дали подлинные фотографии. Может быть, некоторые будут недовольны и даже будут вас ругать. Но писатель не должен с этим считаться, так как он пишет не только для современников, но и для потомства».

С точки зрения «евангельского анархизма» под защиту взяты Мережковский и Цветаева и одновременно атакован автор воспоминаний за «восхищение» Милюковым, а Руднев — за выражение «верю по-бабьи»: «что это значит?», спрашивает недовольный читатель-критик.

Из положительных оценок самая крайняя принадлежит Д. Аминадо. «За исключением некоторого прекраснотушия и несвойственного автору (воспоминаний) всепрощения по адресу Шмелева, — самый подход к теме и волнует, и радует, и умиляет».

Очень внимательный и вдумчивый читатель и вместе с тем писатель высказывает ряд общих суждений. «Я представлял себе эту книгу иной... Но, прочтя ее, понял, что другой она «получиться» не могла. «Дать отчет», как это предполагал Руднев, не о том, как журнал возник, распространялся, редактировался, а о том, какое «сделано из него употребление» — задача явно неосуществимая. Хотя бы потому, что «С. З.» «делались» не только сознательными усилиями редакции, м. б. даже имевшей свой план, но и «стихийным» влиянием сотрудников, близкого и дальнего окружения, которые часто оказывались сильнее редакторов и очень скоро расщепили редакцию на части. Ваше письмо к Ф. Степуну от 28-го года (уже 8 лет после начала «С. З.») чрезвычайно интересно и симптоматично.

Книга могла получиться только такой, какой получилась. «Малая история» журнала и портреты редакторов и некоторых сотрудников. Не всё в ней равноценно, не всё одинаково удалось, но всё во всяком случае очень интересно. Мне кажется, я вам писал как-то по поводу одного из некрологов,

³ За последние годы жизни В. А. Маклаков в частных разговорах делился подробностями о том, как он стал масоном, в чем русские масоны XX-го века отличались от французских и др.

что чем ближе человек, чем больше его знаешь, тем труднее о нем писать. И в самом деле в вашей портретной галерее редакторы получились наиболее бледными. А вот Нольде, которого вы знали неизмеримо меньше, получился у вас, на мой взгляд, лучше всех других».

Особо отмечу еще отзыв Б. Домогацкого в мельбурнском «Единении» (111.VII.58). Рецензент заявляет, что «не принадлежит к числу политических друзей автора воспоминаний», тем не менее он, «да и все читатели должны быть благодарны ему (автору воспоминаний) за этот том порою горьких, порою печальных, иногда страстных и непримиримых, но всегда искренних страниц». Необычность такого признания со стороны политического «не-друга» делает его особенно ценным.

И, чтобы закончить не тем, что сказано положительного или отрицательного о книге воспоминаний, приведу два замечания, высказанных в отзывах попутно, но тем не менее существенных.

Р. Гуль пишет в «Нов. Журнале», что «знает факты, говорящие о том, с каким интересом из-под полы читался и как ценился писателями в советской России этот толстый эмигрантский журнал» («С. З.»).

И другой корреспондент подтверждает: «доподлинно известно, что в академических кругах советских историков не просто интересуются, а **остро** интересуются историей эмиграции и, для уяснения ряда вопросов, придушенных советской властью, обращаются к литературе эмиграции».

Может быть, и в самом деле след 70 томов «Современных Записок» не так скоро затеряется.

М. Вишняк

10.III.59

ЛЕНИН И ВИЛЬГЕЛЬМ II

Новое о германо-большевистском заговоре 1917 г.

1

То, что правительство Вильгельма II с самого начала первой мировой войны финансировало большевистскую пропаганду в России и что Ленин и большевистская партия после падения самодержавия получили от германского правительства огромные суммы денег на ведение пропаганды против Временного Правительства с целью его свержения и замены его большевистским правительством, которое согласилось бы заключить сепаратный мир с Германией, уже давно не было секретом для всех серьезных историков первой мировой войны и русской революции. Уже осенью 1914 г. известно было, что главным посредником между правительством Вильгельма II и украинскими «сепаратистами», с одной стороны, и большевиками, с другой, был русско-немецкий социалист Александр Гельфанд, писавший в русской и немецкой социал-демократической печати под псевдонимом **Парвус**. 24-го ноября 1914 г. парижская группа левых русских социалистов, издававшая тогда газетку «Голос», опубликовала за подписью Троцкого следующую заметку под заглавием «Верно ли это?»:

«Верно ли, что так называемый 'Союз Освобождения Украины', в состав которого входят кое-какие бывшие русские революционеры, состоит на содержании королевско-императорского габсбургского генерального штаба?

«Верно ли, что 'Вестник' этого Союза, воспроизводящий прокламации со словами: 'Хай живе соціална революція' оплачивается из того же габсбургского источника?

«Верно ли, что бывший русский революционер г. Микола Троцкий, адрес которого обозначается на немецких бюллетенях Союза, состоит на службе при венской полиции?

«Верно ли, что эмиссары этого Союза, в оправдание габсбургского доверия и габсбургских ассигновок, разъезжают по Европе в поисках за такими русскими, и в частности кавказскими, революционерами, которые согласились бы свою не-

ненависть к царизму сочетать с любовью к габсбургской короне и особенно к габсбургским кронам?»

14-го февраля 1915 г. в парижской русской газетке «Наше Слово», которая начала выходить вместо «Голоса», закрытого французским правительством, появилась статья того же Троцкого, специально посвященная Парвусу. Статья началась следующими словами:

«В Константинополе русский социалист с интернациональным именем выпустил прокламацию, в которой провозглашает Турцию и ее среднеевропейских союзников оплотом демократии. В Софии немецкий социал-демократ на русском языке перед болгарской аудиторией защищал младотурецкую идею. Это — Парвус, которого мы в течение ряда лет считали другом, которого теперь вынуждены занести в список политических покойников».

Через две недели после этой статьи в том же «Нашем Слове» (в номере от 28-го февраля 1915 г.) появилась статья под заглавием «Голос Украинской соц.-дем. партии». Эта статья посвящена была номеру (№ 1) газеты «Борьба». И вот такая характеристика «Союза Визволення України» дается в этой статье «Нашего Слова», вполне солидаризирующейся с «Борьбой» в оценке «Союза»:

«Союз состоит из бывших членов Украинской С.-Д. Р. П. Донцова, Дорошенко, Меленевского, Скоропись-Иолтуховского и Жука. Союз называется российской организацией, а по существу является организацией австрийской. Большинство членов союза долгие годы жили в Галиции, забыли свое социалистическое прошлое, залезли в болото буржуазной украинской националистической идеологии австрийского типа, за что и были исключены из украинской социал-демократической партии; их организация является агентурой австрийского правительства, которое проявило к ним великую ласку и внимательность, пополнив приличной суммой крон их кассу.

Один из них, Меленевский, есть не кто иной, как бывший тов. Басок, статьи и имя которого изредка встречались на страницах русских социалистических заграничных изданий.

Считая их темными аферистами 'Борьба' объявляет им бойкот.»

2-го апреля 1915 г. в швейцарской соц.-дем. газете «Volkstimme», издававшейся в Сан-Галлене, опубликовано было «Открытое письмо Парвусу в Константинополь» за подписью социал-демократа доктора Я. Фридмана. В нем рассказано было, что Парвус после начала войны издал воззвание

под заглавием «Против царизма» и подписался своим именем. В этом воззвании он утверждал, что «вся вина за войну падает на русское правительство». Германия и Австро-Венгрия, наоборот, представлены настоящими сиротами, которые борются за всеобщую свободу против русского варварства. Это воззвание Парвус поручил распространять не существовавшим русским соц.-дем. организациям, а «Союзу Вызvolення Украйны».

В Австрии, писал д-р Фридман, всем известно, что этот «Союз Вызvolення Украйны», во главе которого стоят Басок, Скоропись и др. ни в коем случае не революционная организация. Он создан немецкими и австрийскими официальными и полуофициальными кругами и существует благодаря тем деньгам, которые в изобилии притекают через Вену и Берлин. «Что вы находитесь в прямых сношениях с Союзом, — писал д-р Фридман, — мне достоверно известно, так как завербованный работником в эту организацию получает рекомендацию к вам, если он отправляется в Турцию. Недавно вы выпустили также брошюру. Издателем ее объявляется Украинская соц.-дем. Дело идет, насколько я знаю, о «Спилке», которая в действительности не существует и имя которой себе присвоил опять-таки г. Басок... Несмотря на то, что вы русский соц.-дем. и, следовательно, русский подданный, вы как таковой разъезжаете открыто и свободно из Турции на Балканы и оттуда в Вену и Берлин и обратно... Считаете ли вы совместимым с честью и долгом соц.-демократии иметь сношения прямо или косвенно с правительствами чужих держав и против своего государства и своего народа?»

«Открытое письмо» д-ра Я. Фридмана было перепечатано во втором номере журнала «Россия и Свобода», выходившего в Париже под редакцией Григория Алексинского.¹

В середине 1915 г. Алексинский в другом номере журнала «Россия и Свобода» выступил с разоблачением копенгагенской деятельности Парвуса, основавшего там «Институт

¹ Григорий Алексинский, бывший лидер большевиков во Второй Государственной Думе, в течение ряда лет был одним из ближайших соратников Ленина. В 1909 г. он порвал с Лениным, но оставался левым большевиком. Когда вспыхнула война, Алексинский занял ярко оборонческую позицию, окончательно порвал с большевизмом, сблизился с Г. В. Плехановым и тесно сотрудничал с ним все годы войны и весь период февральской революции.

для изучения причин и последствий мировой войны». Алексинский утверждал, что парвусовский институт основан на деньги германского правительства и что его задачей является распространение пораженческой пропаганды в союзных странах, главным образом в России. Изобличение деятельности парвусовского института вызвало печатный отпор со стороны некоторых участников Института (А. Зурабов, В. Перазич и др.), протестовавших против «клеветнических выпадов» Алексинского. Разоблачения Алексинского многим тогда показались мало убедительными. Довольно известный социал-демократический публицист Евг. Смирнов (Гуревич) в 1917 г. рассказал, что в декабре 1917 г. он был заграницей (в Стокгольме и Копенгагене) по делам Всероссийского Союза городов и что там он имел возможность ознакомиться с статьями Алексинского, в которых тот обвинял Парвуса и некоторых его товарищей, что они состояли агентами Германии, а также с коллективным протестом против Алексинского группы эмигрантов, среди которых были «старые видные деятели социал-демократической партии, люди несомненно честные и беззаветно преданные нашему общему делу. Кроме того, некоторые другие эмигранты, отрицательно относившиеся к коммерческой деятельности Парвуса, с негодованием отвергали обвинения Алексинского, которые называли «клеветническими и преступными».² Далее Е. Смирнов писал:

«Летом 1915 г. присяжный поверенный М. Ю. Козловский, с которым я до того времени несколько раз встречался в Петербурге в квартире своего хорошего знакомого, известного присяжного поверенного (Н. Д. Соколова), попросил у меня по телефону разрешения явиться ко мне по очень важному делу... Он заявил мне, что Парвус, которого он незадолго до того видел в Стокгольме, поручил ему разыскать меня и предложить мне от его, Парвуса, имени взять на себя постановку и редактирование большого марксистского ежемесячника, на который Парвус может ассигновать несколько сот тысяч рублей. Я выразил удивление, откуда у Парвуса, которого я знал с 1889 года и который жил всегда, насколько мне известно было, исключительно литературным заработком, такие крупные средства. На это Козловский мне ответил, что Парвус нажил большое состояние на поставке хлеба младотурецкому правительству и теперь продолжает увеличивать свои средства

² «Власть Народа» Москва, 7 (20) июля 1917 г.

другими коммерческими предприятиями. Повторяю, я знал Парвуса давно и в его личной порядочности никогда не сомневался. Разоблачениям Амфитеатрова, которые незадолго до того появились в русской печати, я не придавал никакого значения. Но во время революции 1905 года Парвус в течение своей кратковременной деятельности в Петербурге обнаружил некоторую склонность к политическим авантюрам, и многие из нас, его товарищей, с тех пор относились к нему с некоторой осторожностью. Поэтому я попросил Козловского передать Парвусу, которого он, по его словам, должен был вскоре снова увидеть в Стокгольме, что я, к сожалению, слишком занят и взять на себя редактирование большого журнала не могу». В конце года, как указывалось уже, Евг. Смирнов попал в Стокгольм. Здесь его посетил оказавшийся в Стокгольме Козловский — посетил в сопровождении товарища, которого назвал Фюрстенбергом.³ Посетители передали просьбу Парвуса повидаться. Смирнов «наотрез отказался». Через два дня Фюрстенберг и Козловский снова повторили просьбу Парвуса о свидании, и снова Смирнов «отказался от этой чести». На следующий день перед самым отъездом Смирнова в Россию его еще раз посетил Фюрстенберг, обратившийся к нему с просьбой относительно Козловского. Последний-де был юрисконсультom какой-то группы русских промышленников, ведущих переговоры с Парвусом о покупке пароходного дела. Конкуренты той группы, интересы которой представлял Козловский, послали на него донос в департамент полиции, что он якобы является германским шпионом. Департамент полиции запросил посольство в Копенгагене, но, несмотря на благоприятный отзыв последнего, Козловский опасался ехать в Россию. У Смирнова почему-то спрашивали совета, как поступить, и просили повидать в Петербурге Соколова и передать ему просьбу Козловского приехать в Стокгольм. Смирнов просьбу выполнил. «На присяжного поверенного (Н. Д. Соколова), — закончил Смирнов, — рассказ этот, видимо, произвел такое же тягостное впечатление, как и на меня». В Стокгольм он не поехал.⁴

³ Только в 1917 г. Смирнов узнал, что Фюрстенберг и Ганецкий одно лицо.

⁴ С Козловским всё же Соколов продолжал поддерживать столь тесные сношения, что в 1917 г. Козловский, состоявший от большевиков в Исполкоме Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, жил у него на квартире.

В июле 1917 г. Временное Правительство, как известно, предъявило Ленину, Зиновьеву, Ганецкому, Парвусу и др. обвинение в государственной измене и в сношениях с Германией, с которой Россия тогда была в войне, а также в получении денег от правительства Вильгельма II на разложение русской армии и подготовку восстания против Временного Правительства с тем, чтобы Россия вынуждена была заключить сепаратный мир с Германией на выгодных для Германии условиях.

В ответ на напечатанное 22-го июля 1917 г. сообщение прокурора о привлечении их к суду, Ленин в газете «Рабочий и солдат» от 26-го июля, выходившей вместо закрытой «Правды», писал:

«Прокурор играет на том, что Парвус связан с Ганецким, а Ганецкий связан с Лениным. Но это прямо мошеннический прием, ибо все знают, что у Ганецкого были денежные дела с Парвусом, а у нас с Ганецким никаких. Ганецкий, как торговец, служил у Парвуса, ибо они торговали вместе, и целый ряд русских эмигрантов, назвавших себя в печати, служил в предприятиях и учреждениях Парвуса»...

«Мы не только никогда ни прямого, ни косвенного участия в коммерческих делах Ганецкого и Козловского не принимали, но и вообще ни копейки денег ни от одного из названных товарищей ни на себя лично, ни на партию не получили» — утверждали в своем коллективном письме 11-го (24-го) июля Ленин и Зиновьев. И вот член партии Ганецкий, торгующий контрабандным товаром во время войны не только вместе с «ренегатом», но и «агентом» германского генерального штаба, не дающий ни одной копейки партии, почему-то пользуется, как утверждали Ленин и Зиновьев в своем ответе на обвинительный акт, «уважением во всех фракциях, как член Главного Управления социал-демократической партии Польши и Литвы и член объединенного ЦК русских социал-демократов». Подробнее о Парвусе речь будет впереди.

2

Через четыре года после большевистского переворота, знаменитый немецкий социал-демократ Эдуард Бернштейн опубликовал в берлинской газете «Форвертс», центральном органе германской социал-демократии, большую статью, в которой утверждал, что он может с документами в руках доказать, что после падения царского режима в России Ленин получил от правительства Вильгельма II огромную сумму де-

нег на ведение большевистской пропаганды в русской армии и на организацию большевистского восстания.

«Известно, — писал Бернштейн, — и лишь недавно это вновь было подтверждено генералом Гофманом (бывшим тогда главнокомандующим германской армии на Восточном фронте и ведшим в 1918 году переговоры о мире с большевиками в Брест-Литовске — Д. Ш.), что это правительство кайзера, по требованию немецкого генерального штаба, разрешило Ленину и его товарищам проезд через Германию в Россию в запломбированных салон-вагонах с тем, чтобы они могли в России вести свою агитацию. Могут быть различные мнения насчет того, допустимо ли для социалистов принимать такие услуги из таких источников. Но с этим событием связано еще другое событие, которое должно быть еще выяснено.

Ленин и его товарищи получили от правительства кайзера огромные суммы денег на ведение своей разрушительной агитации. Я об этом узнал еще в декабре 1917 г. Через одного моего приятеля я запросил об этом одно лицо, которое, благодаря тому посту, который оно занимало, должно было быть осведомлено, верно ли это. И я получил утвердительный ответ. Но я тогда не мог узнать, как велики были эти суммы денег и кто был или кто были посредником или посредниками (между правительством кайзера и Лениным). Теперь я из абсолютно достоверных источников выяснил, что речь шла об очень большой, почти невероятной сумме, несомненно больше **пятидесяти миллионов золотых марок**, о такой громадной сумме, что у Ленина и его товарищей не могло быть никакого сомнения насчет того, из каких источников эти деньги шли.

Одним из результатов этого был Брест-Литовский договор. Генерал Гофман, который там вел переговоры с Троцким и другими членами большевистской делегации о мире, в двойном смысле держал большевиков в своих руках, и он это сильно давал им чувствовать».⁵

В другой статье, которая была напечатана в том же «Форвертсе» 20-го января 1921 г., Бернштейн предлагал большевикам или немецким коммунистам, чтобы они привлекли его к германскому суду или к суду Социалистического Интернационала, если они находят, что он оклеветал Ленина. Коммунисты, конечно, Бернштейна ни к какому суду не привлекли. В моей английской книге о Ленине (Lenin — A biography,

⁵ Eduard Bernstein. Ein Dunkles Kapitel. Vorwärts (Berlin), Januar 14, 1921.

Doubleday & Co), вышедшей в Нью-Йорке в 1948 году и переведенной потом на многие языки, в том числе и на немецкий, я перепечатал почти полностью обе статьи Бернштейна и привел целый ряд прямых и косвенных доказательств, подтверждающих утверждения Бернштейна. В своей «Истории русской революции» Троцкий посвятил целую главу «навету», который «Керенский и др. контрреволюционеры» возвели на Ленина и большевиков, что они получали деньги от правительства Вильгельма II. Троцкий там много говорит о французской революции, об антисемитизме, о Христе, о Ньютоне, Маркони и о Распутине. Но ни единым словом он не упоминает статей Бернштейна. Советский историк М. Покровский в своей книге «Интеллигенция в революции» также подробно обсуждает этот вопрос, но и он, как и Троцкий, не упоминает статей Бернштейна, которые в 1921 г. обошли всю мировую прессу.

В конце второй мировой войны американской оккупационной армией в Германии были найдены в пяти замках, расположенных в горах Гарца, архивы германского министерства иностранных дел, в которых хранились документы об иностранной политике Германии с 1867 до 1920 г. Среди этих документов есть тысячи отчетов, писем и телеграмм, касающихся отношений между большевиками и правительством Вильгельма II. Некоторые из этих документов были в 1956 г. напечатаны в лондонском журнале *International Affairs*, потом в 1957 г. в немецкой социал-демократической газете «Форвертс», издающейся в Бонне и в гамбургской демократической беспартийной газете «Die Welt». В том же году в Лейдене, Голландия, вышел под редакцией и с предисловием Вернера Халвега (Halweg) сборник под заглавием *Lenin's Rückkehr nach Russland, 1917* (Возвращение Ленина в Россию в 1917 г.), содержащий целый ряд документов из архива германского министерства иностранных дел, касающихся организации и устройства поездки Ленина в запломбированных вагонах через Германию. Далее, в начале 1958 г. в Лондоне, в издательстве Оксфорд Пресс, вышел на английском языке и с предисловием З. А. Б. Земана сборник германских документов под названием *Germany and the Revolution in Russia, 1915-1918* (Германия и революция в России 1915-1918 г.г.); наконец, в сентябрьской книжке 1958 г. берлинского журнала «Der Monat» была напечатана пространная статья того же З. А. Б. Земана на ту же тему. Опубликованные документы германского министерства иностранных дел всецело подтверждают, что то, что писали в 1915 г. Алексинский и др. об украинских

сепаратистах, о Парвусе и о его копенгагенском институте, о его роли как главного агента германского генерального штаба, как и все обвинения Временного Правительства по адресу Ленина и его ближайших соратников в получении немецких денег на разложение русской армии, свержение Временного Правительства и подготовку сепаратного мира с Германией, вполне соответствовало действительности.

3

В редакционной статье от 7-го ноября 1957 г. немецкая «Die Welt» писала: «После первой мировой войны ген. Людендорф, бывший глава германского генерального штаба, писал в своей книге «Военные воспоминания»: «Посылкой Ленина в Россию наше правительство взяло на себя особую ответственность. С военной точки зрения поездка (Ленина) была оправдана. Россия должна была пасть».

«Кроме того, — писала «Die Welt», — в продолжение десятков лет циркулировали слухи, что германское правительство оказывало финансовую помощь большевикам. Теперь мы впервые в состоянии опубликовать выдержки из документов германского министерства иностранных дел, которые подтверждают этот факт. С германской стороны актерами этого странного спектакля, которые выступали как его организаторы или соучастники, были: кайзер Вильгельм II, ген. Людендорф, канцлеры фон Бетман-Гольвег и граф фон Гертлинг, статс-секретарь министерства иностранных дел Рихард фон Кюльман, германский посол в Берне барон фон Ромберг, первый германский посол в Москве граф фон Мирбах (убитый 3-го июля 1918 г. в Москве левым с.-р.), его преемник Карл Гельферих и секретарь германского казначейства граф Зигфрид фон Редерн». Газета также сообщала, что архивы германского министерства иностранных дел в начале второй мировой войны были перевезены из Берлина в пять замков в горах Гарца и они сохранились для будущих поколений только благодаря чувству ответственности д-ра Иогана Ульриха, чиновника германского министерства иностранных дел, который с 1938 г. был архивариусом министерства, а в настоящее время является директором архива министерства иностранных дел Западной Германской федеративной республики. В архивах Вильгельмштрассе (министерства иностранных дел) имеются все документы, относящиеся к периоду царствования кайзера Вильгельма II, эпохи Веймарской республики и всех трех русских

революций (1905 года, февральской революции 1917 г. и большевистской революции 1917-18 г.г.).

Из опубликованных документов германского министерства иностранных дел мы узнаем, что германское правительство начало финансировать некоторых русских революционеров-эмигрантов уже в августе 1914 г. сейчас же после объявления войны. Но систематическую и значительную финансовую поддержку отдельные российские революционеры и целые революционные группы начали получать от германского правительства в 1915 г. Так как большинство российских политических эмигрантов тогда проживали в Швейцарии, то германское посольство в Берне стало центральным пунктом, откуда установлены были связи между германским правительством и некоторыми российскими революционерами. Германский посол в Берне, барон Ромберг, был тем, который еще в самом начале войны завязал связи с Лениным, а позже, в 1917 г., заведовал отправкой Ленина и его ближайших сторонников через Германию в Россию. Но раньше чем фон Ромберг связался с большевиками, он, по поручению германского министерства иностранных дел, вошел в контакт с некоторыми членами партии социалистов-революционеров через некоего Цивина-Вайса, который стал платным агентом германского правительства. 24-го августа 1914 г. Ромберг послал германскому канцлеру Бетману-Гольвегу донесение с надписью «Строго конфиденциально! Экстренно!» В этом письме он рекомендовал «назначить агентом для подготовки революции в России некоего социалиста-революционера по прозвищу «Цивин», настоящее имя которого Вайс. Последний был представлен германскому послу австрийским дипломатом бароном фон Генетом, который был членом военного бюро австро-венгерского посольства в Берне». Бетман-Гольвег сразу же ухватился за эту идею и через несколько дней Цивину-Вайсу были отпущены первые 25 тысяч швейцарских франков на ведение «революционной пацифистской» пропаганды как среди русских военнопленных в Австрии и в Германии, так и среди рабочих и крестьян в самой России (подробнее о нем ниже).

Цивин-Вайс, конечно, не был единственным германским агентом, который был на постоянном содержании у немцев. Германское и австрийское правительства имели своих агентов среди русских революционеров, среди украинцев, среди поляков, среди кавказцев и среди большевиков. Но вначале германское правительство не особенно интересовалось Лени-

ным и большевиками по той простой причине, что Ленин тогда не только в самой России, но и среди революционной эмиграции за границей имел сравнительно мало сторонников. «Многие из тех, которые получали деньги от Германии, пишет «Die Welt», считали себя революционерами-идеалистами, которые хотели свергнуть царский режим, и их не интересовало из каких источников будут добыты средства для этой цели. Германское же правительство, объявляя войну России, надеялось, что как только начнутся военные действия и русские армии начнут терпеть поражения на военных фронтах, в России вспыхнет революция. Россия тогда выйдет из войны, и Германии не трудно будет победить Францию и Англию». Но к большому удивлению Вильгельма II, его правительства и генерального штаба объявление войны России имело в России как раз обратное влияние. Не только дворянство, купечество и средние классы, но и огромное большинство интеллигенции в первое время войны проявили большой патриотизм. Даже революционно настроенные петербургские рабочие, которые за несколько дней перед тем, как Германия объявила войну России, начали генеральную забастовку, сразу по получении известия о наступлении войны прекратили забастовку. Большинство русских социалистов сразу же высказалось в том смысле, что обязанностью рабочих и социалистов было защищать Россию и ее союзников, свободные демократические страны Европы, против германских милитаристов и империалистов, которые уже тогда стремились к завоеванию всего мира. Лишь горсть русских социалистов, главным образом тех, которые проживали в эмиграции, открыто высказались за поражение России в войне. Они надеялись, что поражение приведет к революции в России. Другие русские эмигранты-социалисты считали, что рабочие не должны помогать ни одной из борющихся сторон в войне, а должны сосредоточить все свои силы на агитации и пропаганде за немедленный мир без победителей и побежденных. В самой России патриотически настроенные социалисты или «оборонцы», как их вскоре прозвали, были гораздо сильнее и влиятельнее социалистов-«пораженцев» и противников войны. Но за границей «пораженцы» и противники войны или «интернационалисты», как они себя называли, были влиятельнее, чем «оборонцы». И Германия и Австро-Венгрия, конечно, делали все усилия, чтобы использовать агитацию и пропаганду российских «пораженцев» и «интернационалистов» для своих целей и в своих интересах.

4

Как уже выше упомянуто, константинопольское телеграфное агентство в первые же дни объявления войны опубликовало воззвание Парвуса к русским социалистам и революционерам, в котором он сильно нападал на Г. В. Плеханова и других социалистов, выступивших против Германии, обвиняя их в «национализме» и «шовинизме». Парвус призывал российских социалистов и революционеров способствовать поражению России в интересах европейской демократии.

Из опубликованных документов германского министерства иностранных дел мы узнаем, что уже 8-го августа 1914 г. Вильгельм II приказал ассигновать большую сумму денег на революционную про-германскую пропаганду в России. Вскоре после этого был организован с финансовой помощью Германии и Австро-Венгрии вышеупомянутый «Союз Вызвращения Украины». Через этот источник Ленин получил сумму, равную приблизительно шести тысячам долларов на возобновление своей газеты «Социал-Демократ».

Об этом говорит Алэн Мурхэд в своей книге “The Russian Revolution” (Harper Bros., 1958. N. Y.) на стр. 122. В распоряжении Мурхэда были документы немецкого министерства иностранных дел.

8-го января 1915 г. германский посол в Константинополе фон Вагенхейм сообщал в Берлин, что к нему явился Александр Гельфанд (Парвус) с планом, как организовать революцию в России. «Парвус сказал германскому послу следующее: «Российская демократия может достигнуть своей цели только через окончательное свержение царизма и расчленение России на мелкие государства. С другой стороны, Германия не будет иметь полного успеха, если не удастся вызвать в России большую революцию. Но русская опасность для Германии не исчезнет и после войны до тех пор, пока Российское государство не будет расчленено на отдельные части. Интересы германского правительства и интересы русских революционеров таким образом идентичны».⁶

В результате этого интервью и отчета фон Вагенхейма Парвус был вызван в Берлин. Он прибыл в Берлин 6-го марта 1915 г. и немедленно же был принят конфиденциальным советником Бетмана-Гольвега, доктором Фритцем Ритцлером.

⁶ Z. A. B. Zeman. Verbündete wider Willen, “Der Monat” (Berlin) September 1958.

Парвус представил германскому правительству меморандум на 18-ти страницах, который носит название «Подготовка политической массовой забастовки в России» (Этот меморандум полностью напечатан в книге Земана «Германская революция в России 1915-1918 г.»). В нем Парвус излагает подробный план, каким образом вызвать беспорядки в России и подготовить революцию, которая заставит царя отречься от престола, после чего будет образовано временное революционное правительство, которое готово будет заключить сепаратный мир с Германией. В первую очередь Парвус рекомендовал германскому правительству ассигновать большую сумму на развитие и поддержку сепаратистского движения среди различных национальностей на Кавказе, в Финляндии, на Украине, а затем на «финансовую поддержку большевистской фракции Российской социал-демократической рабочей партии, которая борется против царского правительства всеми средствами, имеющимися в ее распоряжении. Ее вожди наносят в Швейцарии».

Парвус также рекомендовал оказать финансовую поддержку «тем русским революционным писателям, которые будут принимать участие в борьбе против царизма даже во время войны».⁷

Парвус немедленно получил германский паспорт, который дал ему возможность свободно разъезжать по нейтральным странам, а затем министр иностранных дел просил статс-секретаря государственного казначейства выдать Парвусу два миллиона марок «на поддержку русской революционной пропаганды». 11-го марта 1915 г. просьба эта была удовлетворена.

Парвус немедленно отправился в Константинополь для ликвидации своих дел, и в мае 1915 г. он приехал в Цюрих. Там он встретился с Лениным. Вначале Ленин внимательно выслушал планы Парвуса, но не дал ему определенного ответа. Он однако для контакта с ним послал в Копенгаген Ганецкого-Фюрстенберга с инструкцией, чтобы тот вступил в парвусовский Институт и систематически информировал его оттуда о деятельности Парвуса.

6-го июля 1915 г. Германское министерство иностранных дел за подписью фон Ягова просило статс-секретаря государственного казначейства о выдаче пяти миллионов марок

⁷ Z. A. B. Zeman. Germany and the Revolution in Russia 1915-1918, p. p. 150-151.

на усиление революционной пропаганды в России. 9-го июля просьба была удовлетворена.⁸ Лишь в конце 1915 г. Ленин в «Социал-Демократе» в очень мягкой форме осудил деятельность Парвуса, назвав его «ренегатом», «социал-шовинистом» и «немецким Плехановым».

5

Ввиду той огромной роли, которую Парвус сыграл в германо-большевистском заговоре 1917 г. я считаю необходимым подробнее остановиться на биографии его. Как уже выше было указано, Парвус, русский подданный, бывший участник первых нелегальных марксистских кружков на юге России, в начале 90-х годов уехал в Германию, издал там на немецком языке серьезную работу, посвященную экономическому положению в России и со временем выдвинулся сначала как один из выдающихся публицистов германской социал-демократии, а потом как один из лидеров ее левого крыла. Либеральная «Франкфуртер Цайтунг» называла его «цепная собака социал-демократии». В широких кругах русских социалистов имя Парвуса стало популярным лишь в 1904 г. благодаря его серии статей под заголовком «Война и революция», которую он в самом начале русско-японской войны опубликовал в социал-демократической газете «Искра», тогда выходившей в Женеве. В этих статьях Парвус предсказал, что Россия непременно проиграет войну, и доказывал, почему поражение русских армий неминуемо приведет к революции в стране. Статьи Парвуса тогда произвели большое впечатление не только на русских социалистов, но также на многих либералов. После этих статей Парвус начал чаще писать в «Искре», которая тогда уже была органом только меньшевистской фракции и выходила под редакцией Ю. О. Мартова, А. Мартынова, А. Н. Потресова, Ф. И. Дана, П. Б. Аксельрода и В. И. Засулича. Парвус, как и Троцкий, тогда был противником политики и тактики Ленина, и Ленин часто с ним полемизировал. В годы, предшествовавшие первой революции, когда Троцкий был в эмиграции, он подружился с Парвусом, последний тогда имел на него большое влияние. После «кровавого воскресенья» (9-го — 22-го января 1905 г.) в Петербурге и последовавших за этим массовых забастовок-протестов чуть ли не во всех больших городах и промышленных центрах России, Пар-

⁸ Там же, стр. 3-4, 8-10; Halweg, стр. 14.

вус опубликовал в «Искре» статью, в которой он доказывал, что ввиду того, что в России буржуазия еще слаба, крестьяне невежественны и неорганизованы, а рабочие единственный класс, который сравнительно политически сознателен, отчасти также организован, победа народа над старым режимом закончится тем, что политическая власть перейдет в руки пролетариата под руководством социалистов. Вслед за Парвусом и Троцкий начал развивать ту же мысль на страницах «Искры», и оба позднее договорились до того, что после свержения самодержавия пролетариат использует свою силу не только для того, чтобы ввести политическую демократию в стране, но также чтобы превратить политическую революцию в пролог к социальной революции, и эта революция не будет приостановлена до тех пор, пока не будет осуществлена диктатура пролетариата. Эта теория, получившая потом название теории «перманентной революции», была в полном противоречии с тем, что до тех пор проповедовали меньшевики, а именно, что будущая революция в России будет буржуазной революцией, которая закончится тем, что Россия станет демократической республикой или конституционной монархией на английский образец, а диктатура пролетариата дело далекого будущего.

Когда в октябре 1905 года вспыхнула революция в России, Троцкий был в Петербурге, и когда был организован Совет Рабочих Депутатов, он вошел в него как представитель меньшевиков и сразу стал одним из его лидеров. После объявления царем политической амнистии большинство русских эмигрантов-социалистов вернулось в Россию. Приехал в Петербург и Парвус. Он сразу стал одним из редакторов ежедневной меньшевистской газеты «Начало» (остальные члены редакции были Троцкий, Мартов, Мартынов, Дан, Потресов, Е. Смирнов и Ник. Иорданский). В руки Парвуса и Троцкого также перешла маленькая популярная ежедневная газетка «Русская Жизнь», имевшая массовое распространение. В обеих газетах Парвус и Троцкий усиленно пропагандировали идею «перманентной революции». Парвус также принимал активное участие в Совете Рабочих Депутатов. После того, как председатель Совета Хрусталева-Носарь был арестован, Троцкий занял его место. Вскоре, однако, правительство арестовало и Троцкого вместе с большинством членов Исполнительного Комитета Совета. Оставшиеся на свободе члены Исполнительного Комитета собирались нелегально и пытались продолжать его деятельность. Их руководителем стал Парвус. Совет тогда

объявил новую всеобщую забастовку. Это была уже третья всеобщая забастовка. Население еще не пришло в себя от первых двух забастовок. Либералы и интеллигенция, которые раньше активно поддерживали первую забастовку и отчасти вторую, были решительно против третьей забастовки, и они отказались поддерживать забастовщиков. Нужда среди петербургских рабочих с каждым днем всё больше увеличивалась. Совет тогда решил послать в Европу старого революционера, одного из основоположников российской социал-демократии, Льва Дейча, для сбора денег для петербургских революционных рабочих среди западноевропейских социалистов. В Германии Дейчу удалось собрать несколько тысяч рублей. Он дальше Германии не поехал и вернулся в Петербург после того, как прочитал в газетах телеграмму, что московское восстание, на которое революционеры тогда возлагали большие надежды, подавлено правительственными войсками. Собранные им в Германии деньги Дейч передал забастовочному комитету в Петербурге. Вскоре арестованы были и члены забастовочного комитета вместе с членами нелегального Совета, в том числе и Парвус, а после них арестован был и Дейч. После того как Парвус и Дейч просидели несколько месяцев в Петропавловской крепости, они вместе с группой других деятелей Совета были административным порядком сосланы в Сибирь. Парвусу и Дейчу, однако, удалось бежать еще с дороги. Оба вернулись в Петербург, а оттуда скоро уехали за границу. Вскоре после того, как Парвус вновь появился в Германии, против него были выдвинуты обвинения в том, что он, во-первых, растратил большую сумму из кассы петербургского забастовочного Комитета, к которой он, в качестве председателя Совета, имел свободный доступ и, во-вторых, что будучи литературным агентом Максима Горького в Германии, он из гонорара, который он получал от немецких театров, тогда с огромным успехом ставивших пьесу Горького «На дне», присвоил себе около ста тысяч марок. Согласно договору с издательством «Знание» деньги эти должны были быть переданы Российской Социал-демократической Рабочей Партии.

Для разбора этого дела была назначена не то специальная «партийная комиссия», не то «партийный суд». Заседания этого суда происходили в глубокой тайне в конце 1907 г. или в начале 1908 г. в Германии. Членами «суда» были германские и русские социал-демократы. Дейч был одним из судей и, если не ошибаюсь, одним из членов комиссии или суда был Август Бебель, лидер германской социал-демократии. На суде

в качестве не то обвинителя, не то свидетеля выступил также Максим Горький. «Суд» единогласно решил, что Парвус не должен больше участвовать ни в русском, ни в германском социал-демократическом движении. Поэтому он скоро и переехал на постоянное жительство в Константинополь и до войны не участвовал больше ни в русской, ни в германской социал-демократической печати. Все эти подробности рассказал автору этих строк в 1913 г. Л. Г. Дейч, который тогда жил в Нью-Йорке. С Дейчем я познакомился еще в 1905 году в Женеве. Я тогда был меньшевиком, а Дейч был «министром финансов» меньшевистской фракции. Он устроил меня на работу в экспедицию «Искры» и между прочим познакомил меня тогда и с Парвусом. Когда Дейч в 1912 г. приехал в Нью-Йорк для редактирования ежедневной социал-демократической газеты «Новый Мир», мы встретились тут как старые знакомые и вскоре близко подружились. О суде над Парвусом в печати никогда ничего не было сообщено. За все годы, которые Парвус провел в Турции, имя его ни разу не появилось в русской или германской социал-демократической печати. Лишь незадолго до мировой войны Парвус начал писать корреспонденции из Константинополя в «Киевской Мысли». Но это была частная радикальная газета с социалистическим оттенком, а не партийный орган. Лишь совсем недавно я нашел подтверждение рассказа Дейча о суде над Парвусом в воспоминаниях Горького. «Известный Парвус, — писал Горький, — имел от издательства «Знание» доверенность на сбор гонорара с театров за пьесу 'На дне'. Он получил эту доверенность в 1902 году в Севастополе, на вокзале, приехав туда нелегально. Собранные им деньги распределялись так: 20% со всей суммы получал он, остальные делились так: четверть мне, три четверти в кассу с.-д. партии. Парвус это условие, конечно, знал, и оно даже восхищало его. За четыре года пьеса обошла все театры Германии, в одном только Берлине была поставлена свыше 500 раз. У Парвуса собралось, кажется, 100 тысяч марок. Но вместо денег он прислал в «Знание» К. П. Пятницкому письмо, в котором добродушно сообщил, что все эти деньги он потратил на путешествие с одной барышней по Италии. Так как это, наверно, очень приятное путешествие лично меня касалось только на четверть, то я счел себя вправе указать Ц. К. немецкой партии на остальные три четверти его. Ц. К. отнесся к путешествию Парвуса равнодушно. Позднее

я слышал, что Парвуса лишили каких-то партийных чинов. Говоря по совести, я предпочел бы, чтобы ему надрали уши».⁹

В Турции Парвус, по словам Дейча, скоро стал политическим и финансовым советником младотурков и главным переводчиком их газеты. Слухи о том, что Парвус, благодаря своим связям с Германией и Турцией, якобы заработал миллионы на поставках хлеба из балканских стран для германской армии, распространялись главным образом теми российскими революционерами, которые состояли в тайных сношениях с ним и через него получали от германского правительства субсидии на свою пораженческую пропаганду. Все «торговые дела», которыми Парвус в течение войны занимался, в действительности были скрытыми предприятиями германского правительства. Вполне возможно, что в самом начале Парвус действительно из революционных соображений стал пораженцем для России, надеясь, что поражение русских армий в войне приведет к русской революции, которой он всю сознательную жизнь так жаждал. Близко стоявший к Парвусу немецкий социал-демократический журналист К. Хениш (Haenisch) так передавал аргумент Парвуса: «союз между прусскими штыками и российским пролетариатом приведет к падению царского самодержавия, но одновременно исчезнет и прусский полубабсолютизм, как только он лишится тыла русского абсолютизма, служившего ему защитой».

«Я желал победы центральным державам, — писал Парвус в декабре 1919 г. — потому что я хотел предотвратить реакцию победоносного царизма и союзнического империализма и потому, что я считал, что в победоносной Германии социал-демократия будет достаточно сильна, чтобы изменить режим».¹⁰

В начале войны Парвус действовал в согласии с программой большинства германской социал-демократии. Но так как он всегда любил деньги и никогда не был слишком разборчив в средствах, то он вскоре сделался платным агентом германского правительства.

⁹ Максим Горький, Собрание сочинений. Том 17. Москва 1952 г., стр. 8-9.

¹⁰ Z. A. B. Zeman. Verbündete wider Willen, "Der Monat" (Berlin), September 1958.

Парвус был не единственный посредник между большевиками и правительством Вильгельма II. Некоторые большевики в своих воспоминаниях рассказали об этом немало фактов. Так напр., известный большевик А. Г. Шляпников в своей книге «Канун семнадцатого года» пишет:

«Нам, большевикам, международный военный и полицейский сыск и провокация не давали покоя и за границей. Наши антивоенные лозунги, наша антицаристская революционная деятельность не могли не привлечь внимания правительств стран, воевавших с Россией, с Антантой. Германский империализм первый учел возможности использования в своих интересах нашей активной революционной работы в России. Мы эти намерения предвидели... Попытки проникновения в наши ряды германо-австрийской агентуры имели место уже в первые месяцы войны. И первыми агентами империалистов явились социал-демократы. Нам было известно желание немецкого социал-демократа и купца Парвуса «помочь» нашей революционной работе. Но одного намека на это было достаточно для того, чтобы наши заграничные товарищи прекратили всякие отношения со всеми, кто имел какое-нибудь отношение к Парвусу и ему подобным господам». (Выше мы видели, как заграничные товарищи Шляпникова «прекратили всякие отношения со всеми, кто имел какое-либо отношение к Парвусу»). «В том же Стокгольме, — рассказывает далее Шляпников, — к тов. А. М. Колонтай, а затем и ко мне явился соц.-дем. (эстонец) Кескула. При свидании он спекулировал своими связями и знакомством с товарищем Лениным, Зиновьевым и другими членами наших заграничных центров. Кескула вел себя чрезвычайно странно, высказывался в духе германской ориентации и, наконец, предложил свои услуги, если нам потребуется его помощь в деле получения оружия, типографии и прочих средств борьбы с царизмом. Его образ мыслей и поведение показались нам очень подозрительными, и мы тотчас же почувствовали в нем агента германского генерального штаба и не только отвергли его предложение, но даже прекратили с ним всякие сношения. Связи в Швеции у него были большие. Он имел сношения с финскими «активистами», имел друзей в русском посольстве и в русских банковских страховых кругах. Наш отказ иметь дело с Кескулой не остановил его дальнейших попыток проникнуть при помощи других лиц в нашу среду. В конце 1915 г. мы обнаружили связь секретаря сток-

гольмской группы РСДРП(б) Богровского с Кескулой. Расследованием выяснили, что он получил от Кескулы деньги, но пользовался ими в личных целях. За нарушение постановления о недопустимости сношений с Кескулой Богровский был исключен из партии... Вскоре нам удалось напасть на новые следы шпионского окружения нашей стокгольмской группы большевиков. Нам удалось напасть на следы связи Кескулы с высланным из Норвегии левым социалистом датчанином Крузе. В 1915-16 г.г. зимой я имел встречу с Крузе в Петербурге в датской гостинице «Дагмара». Его приезд в Россию, мне показался чрезвычайно подозрительным, а его объяснение путаное, только утвердило во мне закравшееся недоверие. Будучи в 1916 г. в Москве у Н. М. Бухариной, я получил еще ряд указаний и сведений, оправдывавших мои подозрения относительно роли и характера деятельности Крузе. Очевидно, не предполагая за собой никаких подозрений, Крузе в Москве предлагал все те средства, которые еще в 1914 г. навязывал нам сам Кескула. Одновременно он пытался использовать наши связи, в частности, данный ему Бухариным адрес Н. М. Бухариной¹¹ для установления сношений с пребывавшими в Москве друзьями Кескулы.

Из опубликованных документов германского министерства иностранных дел мы узнаем, что уже в сентябре 1914 г. германский посол в Берне фон Ромберг через своего агента эстонца Александра Кескулу вошел в сношения с русскими революционерами, жившими в Швейцарии. Фон Ромберг поручил Кескуле представить ему доклад об организациях, идеях и деятельности русских революционеров в Швейцарии и тут вскоре впервые выплыло имя Ленина. Доклад Кескулы от 25-го марта 1915 г., который Ромберг немедленно переслал Бетману-Гольвегу, содержал данные о состоявшемся совещании «русских социалистов ленинского направления» и его решениях: превращение империалистической войны в гражданскую, создание нелегальных организаций повсюду, где правительство и буржуазия объявили военное положение и отменили конституционные свободы, поддержка братания солдат на фронтах, массовые пролетарские выступления, и в особенности приветствие по-

¹¹ В другом месте Шляпников говорит, что Крузе появился у Бухариной, воспользовавшись «случайным знанием адреса». Сама же Бухарина свидетельствовала, что Крузе приехал к ней по поручению ЦК большевиков и что она «виделась с ним часто и подолгу разговаривала».

ражения русской монархии. К этому фон Ромберг от себя прибавил, что для Германии важны в первую очередь решения об образовании «тайных нелегальных партийных организаций» и тезис, согласно которому «совещание высказалось за поражение России».¹²

В меморандуме от 15-го июля 1915 г., озаглавленном «Внутреннее положение России», Кескула указывал, что Ленин и энергичная деятельность революционных организаций «являются противовесом против опасности образования кадетского министерства».¹³ В сентябре 1915 г. Кескула вошел в контакт с Лениным. 30-го сентября он представил фон-Ромбергу подробный доклад о своих беседах с Лениным и о программе Ленина. По мнению Кескулы, писал фон Ромберг канцлеру Бетман-Гольвегу, — «необходимо, чтобы мы немедленно же оказали помощь революционерам ленинского движения в России. Он об этом лично доложит в Берлине... Мы должны действовать быстро, прежде чем социал-патриоты возьмут верх... Программа Ленина, конечно, не должна быть опубликована, во-первых, потому что ее опубликование раскрыло бы наш источник, но также и потому, что обсуждение ее в печати лишило бы ее ценности».¹⁴

Весной 1915 г. Кескула имел в своем распоряжении фонд, равный приблизительно 50-60 тысячам американских долларов, который он получил от германского министерства иностранных дел для финансирования большевистских изданий, пока они агитируют за поражение России в войне. Газетка Ленина «Социалдемократ» печаталась в незначительном количестве экземпляров и на дешевой бумаге. Отдельные экземпляры пересылались в Германию и там фотографическим способом перепечатывались на гильзовой бумаге в типографии германского морского министерства в большом количестве экземпляров. Отпечатанные экземпляры через Кескулу отправлялись в Копенгаген и в Стокгольм, а оттуда пересылались в Россию.¹⁵

В феврале 1916 г. в длинном письме Кескула жаловался на осложнения, вызванные попыткой Парвуса в конце 1915 г. встретиться с Бухариным. Бухарин, повидимому, отказался видеть Парвуса. В то же время взволнованные русские эми-

71 Werner Halweg. Lenin's Rückkehr nach Russland 1917. S. 8.

¹³ Там же, стр. 9.

¹⁴ Germany and the Revolution in Russia 1915-1918, p. 7.

¹⁵ Der Monat, September 1958.

гранты начали заподозривать Кескулу. Но к тому времени, когда он писал вышеупомянутое письмо, весь вред, согласно Кескулы, был уже поправлен. Кескула писал: «Как беспомощны эти русские, когда дело касается организации для какой-либо цели, можно видеть из того, что Бухарин поносил меня, собирая информацию обо мне, днем бегал по городу искать мой адрес, а ночью не мог спать. В то же самое время прилагаемая мною его брошюра была напечатана на мои деньги, без ведома Бухарина, к его, однако, большому удовольствию». Приложенная к письму Кескулы брошюра Бухарина была озаглавлена «Война и рабочий класс». По мнению Кескулы, она была пригодна для распространения ее среди широких масс, и он рекомендовал Штейнвахсу (агенту германского генерального штаба) напечатать большое издание ее на рисовой бумаге. Кескула также сообщал, что его агент, который имел первоклассные связи и рекомендации, прибыл в Петроград. Самое интересное было, что этот агент Кескулы имел рекомендательное письмо от Бухарина к его жене в Москве.¹⁶ (Это и был тот Крузе, о котором пишет в своих воспоминаниях Шляпников).

8-го мая 1916 г. Штейнвахс в меморандуме министру Бергену сообщал:

«За последние несколько месяцев Кескула установил целый ряд новых связей в России, и он в разное время посылал скандинавских социалистов в Россию с рекомендациями к ведущим лицам, которые так тщательно его информировали о положении в России, что его отчеты, опубликованные после, вызвали восхищение в социалистических кругах северных стран. Он также продолжал поддерживать его исключительно полезный контакт с Лениным, и он передал нам содержание отчетов о положении, полученных Лениным от его конфиденциальных агентов в России. Кескула поэтому должен быть снабжен необходимыми средствами в будущем. Принимая во внимание исключительно неблагоприятные условия денежного обмена, 20 тысяч марок в месяц будет вполне достаточно».¹⁷

Летом 1916 г. сношения между Лениным и Кескулой и немцами были прерваны по причинам, которые до сих пор не выяснены. Получал ли Ленин финансовую поддержку от германского правительства через другого агента — неизвестно. Но как раз в этот период Ленин и Крупская в письмах к своим

¹⁶ Germany and the Revolution in Russia 1915-1918, p. 14.

¹⁷ Там же, стр. 17.

родным и друзьям впервые начали жаловаться на крайнюю нужду. Так Крупская уже 14-го декабря 1915 г. в письме к сестре Ленина Марии писала: «У нас скоро прекращаются все старые источники существования и вопрос о заработке встает довольно остро».¹⁸ Сам Ленин в письме к Горькому от 11-го января 1916 г. писал: «В силу военного времени я крайне нуждаюсь в заработке». А в сентябре 1916 г. в письме к Шляпникову он писал: «О себе лично скажу, что заработок нужен. Иначе прямо поколеть ей-ей! Дороговизна дьявольская, а жить нечем».¹⁹

Получал ли тогда Ленин какие-либо деньги от германского правительства через Парвуса или кого-либо другого — неизвестно, но теперь точно установлено, что поездка Ленина в Россию в апреле 1917 г. в «запломбированном вагоне» через Германию была организована Парвусом.

7

21-го марта 1917 г. (8-го марта по старому стилю, т. е. ровно через неделю после падения самодержавия) германский посол в Копенгагене Брокдорф-Ранцау телеграфировал министерству иностранных дел в Берлине: «Доктор Гельфанд (Парвус), с кем я обсуждал события в России, объяснил, что, по его мнению, конфликт там в настоящее время главным образом между умеренными либералами и социалистическим крылом. Он не сомневается, что последние возьмут верх... Люди в настоящее время стоящие там у власти, повидимому, хотят дальше продолжать войну, и вождями фракции, одобряющей эту политику, являются Милюков и Гучков... Доктор Гельфанд верит, что как только амнистия для политических осужденных вступит в силу, явится возможность работать успешно против Милюкова и Гучкова через непосредственный контакт с социалистами».²⁰

2-го апреля 1917 г. Брокдорф-Ранцау телеграфировал из Копенгагена министерству иностранных дел: «По моему мнению, мы должны, с одной стороны, тайно употребить все усилия, чтобы углубить разногласия между умеренными и край-

¹⁸ Ленин. Письма к родным. Государственное Издательство, 1931 г. стр. 411.

¹⁹ Ленин. Сочинения. 4-е изд. Том 35, стр. 187.

²⁰ Germany and the Russian Revolution, p. 25.

ними партиями, ибо тогда станет неминуема сильная перемена, которая примет формы, неизбежно расшатывающие самое существование Российской империи. Но даже если умеренное крыло останется у власти, я не могу себе представить, что переход к нормальным условиям возможен без крупных потрясений. Тем не менее, я думаю, что с нашей точки зрения было бы предпочтительнее поддерживать крайний элемент, так как это было бы более прямым путем для работы и скорее привело бы к какой-то развязке. Вернее всего мы в состоянии рассчитывать, что в течение трех месяцев распад достигнет той степени, при которой мы сможем военным наступлением сломить силу России».²¹

В 1928 г. лидер германской социалдемократической партии Филипп Шейдеман, который во время войны поддерживал политику германского правительства, в своих воспоминаниях писал: «Я впоследствии узнал, что поездка Ленина и его друзей из Швейцарии через Германию в Россию была организована доктором Гельфандом (Парвусом), который об этом информировал только нескольких лиц. Нам (т. е. с.-д. вождям Д. Ш.) он об этом ни слова не сказал».²²

Теперь всё это подтверждено официальными документами из архива германского министерства иностранных дел. В первые же дни после падения самодержавия Парвус через секретаря графа Брокдорфа-Ранцау, Фрица Кахена, и поддержанный депутатом германского Рейхстага Эрцбергером и видным чиновником министерства иностранных дел фон Мальцаном, подал канцлеру Бетман-Гольвегу идею о немедленной отправке Ленина через Германию в Петроград. Хотя Парвус не сходил с Лениным в основных революционных вопросах, он, однако, считал, что «Ленин как гораздо более *rabiaterer Mensch* (агрессивный человек), чем Чхеидзе и Керенский, их отстранит и без замедления будет готов к заключению мира (с Германией)». Брокдорф-Ранцау поддержал Парвуса. 5-го апреля он просил министра иностранных дел Циммермана «лично хорошо принять Парвуса». Позже, 11-го апреля, канцлер Бетман-Гольвег сообщал Вильгельму II, что он тотчас же, как в России вспыхнула революция, поручил германскому послу в Берне фон Ромбергу «войти в сношения с русскими революционерами, живущими в Швейцарии, с целью возвращения их

²¹ Там же, стр. 31.

²² Ph. Scheidemann, *Memoiren eines Socialdemocraten*, 1, 1928, S. 427.

на свою родину и при этом предложить им проезд через Германию». ²³

4-го апреля 1917 г. фон Ромберг в зашифрованной телеграмме за номером 603 сообщил министерству иностранных дел в Берлин: «Секретарь социал-демократической партии в Швейцарии Фриц Платтен меня посетил по поручению группы русских социалистов, особенно тех, лидерами которых являются Ленин и Зиновьев, насчет их просьбы получить немедленно разрешение на проезд через Германию для наиболее видных эмигрантов в количестве от 20 до 60 человек. Платтен подчеркнул, что дела в России принимают опасный поворот для мира. Необходимо поэтому сделать все возможное, без всякой потери времени, провезти в Россию местных социалистических вождей, которые там имеют большое влияние». ²⁴

Позже видный швейцарский социалист, депутат парламента, Эрнст Нобе, в своих воспоминаниях писал: «Когда я тогда спросил Платтена, каким образом это случилось, что он вел переговоры с германским посольством насчет поездки Ленина и его последователей через Германию, после того как раньше предложили вести эти переговоры Роберту Гримму (бывш. председателю циммервальдской конференции—Д. Ш.), Платтен ответил: «Ты ведь знаешь, Гримм не большевик, а политический противник большевиков, и Ленин потому передумал». ²⁵

Ленин избрал своим доверенным лицом Платтена, хотя он о нем как о человеке был «не хорошего мнения». ²⁶ Платтен вел все переговоры между Лениным и немцами до отъезда Ленина и его группы. Потом он сопровождал их через Германию в Швейцарию, а оттуда в Россию. Но на русской границе он был задержан, по его словам, «англичанами» и вынужден был вернуться в Швейцарию.

Во время своего пребывания в Стокгольме Ленин пытался перед своими шведскими единомышленниками мотивировать свою поездку в запломбированном вагоне через воюющую Германию. Для этой цели под председательством левого шведского социалиста Карла Линдхагена в гостинице Регина состоялось закрытое собрание. На этом собрании Платтен и Карл Радек, приехавший из Швейцарии вместе с Лени-

²³ Hahlweg, SS, 14-15, 26.

²⁴ Там же, стр. 77-78.

²⁵ Там же, стр. 19.

²⁶ Там же, стр. 18.

ным, дали отчет о переговорах с представителями германской власти, а Ленин просил упомянутых ими имен не публиковать. По словам Пауля Ольберга, корреспондента германского социалдемократического «Форвертса», присутствовавшего на этом собрании, Ленин тогда в Стокгольме «старался создать впечатление, что он и его сторонники не имеют никаких денежных средств, чего на самом деле не могло быть. Независимо от того, имел ли он тогда в своем распоряжении германские деньги, в кругах швейцарской эмиграции было хорошо известно, что Ленин из других источников получал сравнительно большие денежные суммы для партийных целей. Ленин обратился за финансовой помощью к «Стокгольмскому эмигрантскому комитету» для дальнейшего путешествия его самого и его товарищей. Комитет ассигновал ему требуемую сумму. Каково же было удивление членов Комитета, когда Ленин попросил ассигновать ему дополнительных 1000 крон. Это пожелание Ленина было передано Комитету через польского друга Ленина Фюрстенберга-Ганецкого. В Комитете возник вопрос о том, следует ли удовлетворить просьбу Ленина, вызвал разногласия, но в конце концов просьба была удовлетворена»,²⁷

В 1918 г. Парвус писал, что он был в Стокгольме, когда Ленин там находился, и Ленин отказался лично встретиться с ним. «Я передал ему через нашего общего друга, — писал Парвус, — что теперь прежде всего необходим мир, поэтому необходимо объявить условия мира. Что же он предполагает делать? Ленин ответил, что он не занимается дипломатией, его дело социал-революционная агитация. Я велел передать Ленину: он может агитировать. Но если государственная политика для него не существует, то он станет орудием в моих руках».²⁸

Ленину тогда не было никакой надобности лично встречаться с Парвусом, которого все считали германским агентом. Он из предосторожности поручил Ганецкому и Радеку от его имени вести переговоры с Парвусом, как и с другими германскими агентами.

²⁷ P. Olberg. Lenins Transactionen mit Wilhelm II Regierung, Vorwärts, May 1, 1957.

²⁸ Parvus, Im Kampf um die Wahrheit, Stockholm, 1918, S. 51.

17-го апреля 1917 г. Брокдорф-Ранцау телеграфировал германскому министру иностранных дел Циммерману: «Доктор Гельфанд сегодня вернулся из Стокгольма, где он вел переговоры с русскими политическими эмигрантами из Швейцарии». ²⁹ В тот же день Штайнвахс, представитель министерства иностранных дел в главной ставке, телеграфировал из Стокгольма в Берлин: «Приезд Ленина в Россию успешен. Он работает совершенно так, как мы этого хотели». ³⁰ А 30-го апреля 1917 г. фон Ромберг из Берна сообщал канцлеру Бетман-Гольвегу: — «Сегодня меня посетил Платтен, который сопровождал русского революционера Ленина и его последователей в их поездке через Германию, чтобы от их имени поблагодарить меня за услуги, оказанные им. К сожалению, Платтену запрещено было сопровождать его попутчиков в Россию. Он на границе был задержан английским офицером, который приостановил его разрешение на въезд. Ленину, с другой стороны, по словам Платтена, его сторонники устроили блестящую встречу. Можно сказать, что он имеет за собой три четверти петроградских рабочих. Труднее обстоит дело с пропагандой среди солдат, у которых еще сильно распространено мнение, что мы собираемся атаковать русскую армию. Как пойдет дальше развитие революции, пока еще не ясно. Возможно, что достаточно будет заменить отдельных членов Временного Правительства как Милюкова и Гучкова социалистами. Во всяком случае, абсолютно необходимо притоком из-за границы увеличить число безусловных друзей мира... Из замечаний Платтена стало ясным, что у эмигрантов нет достаточных средств для ведения своей пропаганды, в то время как средства их врагов безграничны. Фонды, которые были собраны для них, попали главным образом в руки социал-патриотов. Я постараюсь при помощи агента расследовать деликатный вопрос, возможно ли будет предоставить им эти средства так, чтобы их не смутить. А пока я был бы благодарен за сообщение по телеграфу о том, получают ли уже революционеры финансовую поддержку какими-либо другими путями». На докладе фон Ромберга есть следующая заметка представителя канцелярии Пурталеса: «Я говорил с Ромбергом.

²⁹ Germany and the Russian Revolution, P. 50.

³⁰ Там же, стр. 51.

Этим вопрос, поднятый последним предложением его отчета, исчерпан».³¹

10-го мая товарищ министра иностранных дел Штумм телеграфировал германским послам в Берне и в Стокгольме: «Пожалуйста, обратите внимание возвращающихся в Россию эмигрантов, через подходящих агентов, чтобы они потребовали от своего правительства опубликования тайных договоров, заключенных между старым русским режимом и Англией и Францией».³²

Как известно, это требование наряду с требованием отставки Милюкова и Гучкова, вскоре стало одним из главных требований большевиков и тех групп, которые шли в их форватере. Немецкая агентура проникла и в круги, занятые тогда идеей созыва в Стокгольме конференции социалистических партий воюющих и нейтральных стран для выработки условий мира. В телеграмме германского министра Циммермана германскому посланнику в Стокгольме от 9-го мая 1917 г. сообщалось: «Доктору Гельфанду (Парвус) пожаловано прусское подданство. Он едет через Копенгаген в Стокгольм, куда он прибудет через несколько дней с целью работать в наших интересах на предстоящем социалистическом конгрессе».

29-го сентября 1917 г. новый германский министр иностранных дел фон Кюльман телеграфировал представителю министерства в главной ставке о подрывной работе министерства внутри России: «Наш главный интерес, — писал фон Кюльман, — это усилить, насколько возможно, националистические и сепаратистские стремления и оказывать сильную поддержку революционным элементам. Мы теперь заняты этой работой в полном согласии с политическим отделом генерального штаба в Берлине (капитан фон Хильзен). Наша совместная работа дала осязательные результаты. Без нашей непрерывной поддержки большевистское движение никогда не достигло бы такого размера и влияния, которое оно сейчас имеет. Всё говорит за то, что это движение будет расти и то же самое можно сказать о финляндском и украинском движениях независимости. Приготовления к восстанию в Финляндии идут усиленным темпом и, как известно Верховному ко-

³¹ Germany and the Russian Revolution, p.p. 52, 53.

³² Hahlweg, S.S. 114-115;

мандованию армии, поддерживается нами (Германией) в значительной степени».³³

Интересно, что 9-го мая 1917 г. советник германского посольства в Берне от имени фон Ромберга запрашивал министерство иностранных дел в Берлине, имеют ли его агенты связи в России не только с Лениным и его группой, но также и с лидерами партии социалистов-революционеров, с Черновым и его товарищами? Ответ получился 12-го мая. Он гласил: «Я не имею никаких связей с ними».³⁴

9

3-го декабря 1917 г. министр иностранных дел фон Кюльман сообщил представителю министерства при главной ставке: «Разрыв Антанты и последующее за тем создание политических комбинаций, благоприятных нам, продолжает быть самой главной целью нашей дипломатии. Россия оказалась самым слабым звеном во вражеской цепи. Нашей задачей поэтому было постепенно ослабить ее и, когда станет возможно, устранить ее. Это была цель той подрывной деятельности, которую мы могли вести в России за линией фронта — в первую очередь поощрение сепаратистских тенденций и поддержка большевиков. Лишь тогда, когда большевики начали получать от нас постоянный приток фондов через разные каналы и под различными ярлыками, они стали в состоянии поставить на ноги их главный орган «Правду», вести энергичную пропаганду и значительно расширить первоначально узкий базис своей партии. Большевики теперь пришли к власти. Как долго они ее удержат — невозможно предвидеть. Им необходим мир для того, чтобы укрепить свою собственную позицию. С другой стороны, это всецело в наших интересах использовать период, пока они у власти, который может быть коротким, для того, чтобы добиться прежде всего перемирия, а потом, если возможно, мира. Заключение сепаратного мира означало бы достижение желанной военной цели, а именно — разрыв между Россией и ее союзниками».³⁵

Из опубликованных документов германского министерства иностранных дел мы впервые узнаем, что и после прихода Ле-

³³ Germany and the Russian Revolution, p. 70.

³⁴ Там же, стр. 54.

³⁵ Там же, стр. 95.

нина к власти Германия потратила десятки, а может быть и сотни миллионов марок на то, чтобы не допустить падения большевистской власти. Уже 28-го ноября 1917 г., т. е. через три недели после захвата власти большевиками, германский товарищ министра иностранных дел Буше телеграфировал министру в Берн: «Согласно информации, полученной здесь, правительству в Петрограде приходится бороться с большими затруднениями. Желательно поэтому, чтобы им были посланы деньги».³⁶ 17-го мая 1918 г. германский посол в Москве Мирбах в телеграмме министру иностранных дел сообщал: «Я всё еще стараюсь противодействовать усилиям союзников и поддерживаю большевиков. Я, однако, был бы признателен за получение инструкций насчет того, оправдывает ли общее положение трату больших сумм в наших интересах». На это 18-го мая последовал ответ фон Кюльмана: «Пожалуйста тратьте большие суммы, так как весьма в наших интересах, чтобы большевики остались у власти. Фонды Ритцлера в вашем распоряжении. Если нужны еще деньги, пожалуйста телеграфируйте, сколько».³⁷ Мирбах не верил в устойчивость большевистской власти. 30-го апреля 1918 г. он писал канцлеру Бетману-Гольвегу: «Власть большевиков в Москве поддерживается, главным образом латышскими батальонами, и к этому еще большим числом броневых машин, реквизированных правительством, которые беспрерывно летают по городу и могут немедленно доставить солдат на опасные места, если нужно».³⁸

3-го июня 1918 г. Мирбах телеграфировал министерству иностранных дел: «Из-за сильной конкуренции союзников нужны 3 миллиона марок в месяц». 5-го июня фон-Кюльман послал заведующему государственным казначейством графу Редерну меморандум, полученный им от советника посольства в Москве Траутмана, в котором, между прочим, сообщалось: «Из-за последних усилий союзников в России убедить Совет Рабочих Депутатов (Съезд Советов?) принять требования Антанты (что могло бы привести к ориентации России в сторону союзников), граф Мирбах вынужден истратить значительные суммы, чтобы предотвратить принятие какой-либо резолюции в этом направлении». (Иначе говоря, часть депутатов Совета или Съезда Советов была куплена немцами, чтобы они голосовали за непринятие предложений союзни-

³⁶ Germany and the Russian Revolution, p. 93.

³⁷ Там же, стр. 128.

³⁸ Там же, стр. 121.

ков. Д. Ш.). Далее в этом меморандуме Траутман сообщал: «Фонд, который мы до сих пор имели в своем распоряжении для распределения в России, весь исчерпан. Необходимо поэтому, чтобы секретарь имперского казначейства предоставил в наше распоряжение новый фонд. Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, этот фонд должен быть, по крайней мере, не меньше 40 миллионов марок».³⁹

Из опубликованных документов ясно, что кроме Парвуса, Ганецкого и Радека, действовавших как непосредственные агенты Германии или Австро-Венгрии, Христиан Раковский, бывший впоследствии председателем Совета Народных Комиссаров Украины, а потом советским послом в Париже, также был тесно связан с германским правительством с самого начала войны. В телеграмме германского товарища министра иностранных дел Буше представителю министерства при главной ставке от 17-го ноября 1917 г. сообщается: «Кристо Раковский, румынский социалист, родившийся в Болгарии, издает русскую социалистическую газету в Стокгольме. Раньше он был связан с нами и работал для нас в Румынии».

Дальше в примечании указано, что в 1915 г. Буше был германским посланником в Бухаресте. Раковский тогда тоже проводил большую часть своего времени там, будучи лидером румынской социалистической партии и редактором ее газеты. 13-го января 1915 г. Буше телеграфировал германскому министерству иностранных дел: «Лидер румынских социалистов Раковский, имеющий тесную связь с итальянскими социалистами, хочет начать в печати и на публичных собраниях агитацию против вступления Румынии в войну против центральных держав. Я в состоянии дать им деньги в незаметной форме. Я считаю это важным делом, и прошу одобрить ассигновку в 100.000 лей для этой цели. Я должен иметь ответ раньше пятницы утром».

Через день товарищ министра телеграфировал Буше свое согласие на это. Посредником между Раковским и германским правительством опять-таки был Парвус.⁴⁰

10

Книга Земана «Германия и русская революция 1915-1918 г.» содержит всего 136 документов. Это очень незначительная часть документов о большевиках из архива германско-

³⁹ Там же, стр. 133.

⁴⁰ Там же, стр. 85-86.

го министерства иностранных дел. Даже некоторые очень ценные документы, уже опубликованные в других изданиях, отсутствуют в этой книге, как напр., донесение Брокдорфа-Ранцау министерству иностранных дел о парвусовском «Институте» в Копенгагене. «В институте, — писал в 1915 г. Брокдорф-Ранцау, — занято восемь человек. Кроме того, Парвус имеет ряд доверенных лиц в самой России... До сих пор можно было так осторожно всё устроить, что часто даже сами служащие организации (института) понятия не имели, что за ним скрывается наше правительство».⁴¹ Отсутствует в книге также собственноручная расписка Парвуса от 29 декабря 1914 г. следующего содержания: «Получено от германского посла в Копенгагене миллион рублей в облигациях для усиления революционного движения в России».⁴² Отсутствуют и некоторые документы, опубликованные в газете «Die Welt» и в американском журнале «Life». Из некоторых очень ценных документов в книге приведены лишь несколько слов в подстрочных примечаниях, напечатанных мельчайшим шрифтом. Так, например, в примечаниях на странице 92 указано, что возможно, что часть денег, ассигнованных немцами для оказания влияния на русскую печать в пользу Германии и мира, через Колюшко (известный журналист, писавший в «Русском Слове» под псевдонимом Баян, во время войны был агентом Германии — Д. Ш.) досталась газете Максима Горького «Новая Жизнь». Так, в одном из документов сообщается: «Газета 'Новая Жизнь' начала выходить только теперь (май 1917 г.), поэтому можно предположить, что наш друг (Колюшко — Д. Ш.) связан с этим. Он вероятно предоставил Горькому работать по чисто социалдемократической линии, чтобы держать «Луч» в резерве для себя самого».

Как известно, политическим редактором «Новой Жизни» был Ник. Суханов. В газете сотрудничали многие большевики. Газета резко критиковала политику Временного Правительства и меньшевистско-эсэровского большинства Совета. Вплоть до большевистского переворота она отказывалась верить, что большевики готовят вооруженное восстание для захвата власти с тем, чтобы учредить диктатуру своей партии. «Новая Жизнь» также усердно защищала Ленина от «наветов», которые якобы возводила на него «буржуазная и социал-патриотическая печать». После большевистского переворота «Новая

⁴¹ Lenin's Transactionen mit Wilhelm II Regierung. Vorwärts, May 1, 1957.

⁴² Там же.

Жизнь» стала в явную оппозицию к большевистской власти и никто так сильно не бичевал Ленина-Троцкого и Ко, как Максим Горький в «Новой Жизни». Большевистская печать конечно, не оставалась в долгу. Она нападала на Горького и наконец поставила ему лукавый вопрос: не скажет ли он, на какие деньги издается его газета? Горький немедленно ответил на это. В статье «Сотрудникам Правды», «Северной Коммуны» и другим» («Новая Жизнь», 2-го мая 1918 г.) он писал: «Новая Жизнь» организована мною на деньги, взятые заимообразно у Э. К. Груббе в количестве 275 тысяч рублей, из которых 50 тысяч уже уплачены кредитору, остальную сумму я мог бы уплатить давно уже, если бы знал, где живет Э. К. Груббе. Кроме этих денег, в газету вложена часть гонорара, полученного мною с «Нивы» за издание моих книг. Все эти деньги переданы мною А. Н. Тихонову, фактическому издателю «Новой Жизни». В займе, сделанном мною на организацию газеты я не вижу ничего позорящего ее и считаю обвинение ее в пропадности — полемической подлостью».

Вполне можно предположить, что Груббе и был посредником между Колышко и Горьким. И разумеется Горький, конечно, не мог даже знать о настоящем источнике денег. Это, однако, не исключает возможности, что кое-кто из видных сотрудников «Новой Жизни» был связан с германской агентурой.

Другой пример. В 1918 г. Государственный Департамент в Вашингтоне опубликовал книгу под названием «The German-Bolshevik Conspiracy», которая содержала целый ряд документов о сношениях между германским правительством и армией и большевиками. Книга эта получила название «Документы Сиссона» (The Sisson Documents). Большевики, а потом и германское правительство в 1919 г. объявили эту книгу «сплошным подлогом» (wholly fraudulent). В 1956 г. известный американский дипломат Джордж Ф. Кеннан в своей статье, посвященной «Документам Сиссона» пришел к тому же заключению. Но в подстрочном примечании в введении к книге «Германия и русская революция 1915-1918 г.», на странице X, приведена следующая фраза из доклада Вайсмана, германского «Государственного Комиссара Общественного порядка» в 1921 г. по поводу переиздания этих документов в 1919 г. в Швейцарии: «Документы этой брошюры были **частью** поддельны» (partly forged). Это значит, что частью документы были подлинные.

Третий пример. На стр. 71, опять-таки в подстрочном примечании, приведена краткая выдержка из телеграммы Люден-

дорфа от 6-го октября 1917 г., в которой он отмечает под-
рывную работу в России германского министерства иностран-
ных дел и политического отдела Генерального Штаба, благо-
дарит «за ассигнование больших денежных сумм на это и под-
черкивает ценность этой работы, в особенности в Финляндии». Зато в книге Земана есть целый ряд таких документов, кото-
рые не представляют абсолютно никакого интереса. Только
полным незнанием с русским социалистическим и револю-
ционным движением до войны и во время войны и незнанием
истории большевистской партии и непониманием сущности боль-
шевизма можно объяснить то, что составители сборника «Гер-
мания и русская революция 1915-1918» и его редактор Земан
уделили в нем гораздо больше места числившемуся в эсэрах
некому Цивину-Вайсу, никогда ни до войны и революции, ни
после революции не игравшему никакой заметной роли в пар-
тии социалистов-революционеров, чем, напр., Радеку и Га-
нецкому, которые были в числе главных посредников между
Лениным и Парвусом и официальными представителями цент-
ральных держав.

А. Литвак, один из лидеров еврейского социал-демократи-
ческого «Бунда», который после объявления войны застрелял
в Цюрихе, рассказывает о Радеке в своих воспоминаниях (по-
смертное издание, вышедшее в Нью Йорке в 1949 году), что
в августе 1914 г. туда же из Германии прибыл Карл Радек,
который «имел очень плохую репутацию». Радек, с которым
Литвак часто встречался, хвастался тогда, что у него есть
связи с германскими генералами и австрийскими министрами.
«Он говорил о тайнах высокой политики, — пишет Литвак,
— как человек интимно посвященный в них». Радек тогда был
«интернационалистом» толка Мартова и Троцкого. В то же
время он очень любил Австрию. Из его слов было ясно, что
он хочет победы Австрии в войне. Сам Литвак был тогда иск-
ренним интернационалистом и противником войны. «В Цюри-
хе был момент, — пишет он, — когда не только мне одному
казалось, что Радек готов был активно содействовать офици-
альной Австрии в осуществлении ее политических планов. Ра-
дек много рассказывал о Парвусе, по его словам очень спо-
собном человеке, но распушенном, нечистом на руку и нече-
стном с женщинами. Радек отлично знал его со всеми его
недостатками, однако говорил о нем с большой теплотой. Да-
же о его недостатках он говорил добродушно, как говорят о
недостатках человека, которого любят. Мне казалось, что при-
чина этого теплого чувства к Парвусу была та, что в самом
Радеке было много от Парвуса. Парвус состоял в близких сно-

шениях с германским правительством. По словам Радека, даже с германской армией. Как служащий у Парвуса работал Ганецкий-Фюрстенберг, и я должен прибавить, что Радек близко стоял к обоим, к Парвусу и Ганецкому». ⁴³

В своей статье в берлинском журнале «Der Monat» Земан признает, что есть доказательства, что Радек и Ганецкий были тесно связаны не только с Парвусом, как агентом Германии, но что имели и другие такие связи. Но он тут же находит для них некоторое оправдание. «Теоретически, — говорит он, — они были гражданами Австро-Венгрии, которые не имели оснований заботливо избегать контакта с центральными державами». Тут, во-первых, фактическая ошибка: Ганецкий, родом из русской Польши, был не австрийским, а русским подданным. Во-вторых, оба они ведь выдавали себя за революционных социалистов, за самых последовательных интернационалистов, оставшихся верными идеям Карла Маркса и Интернационала. Только совершенным незнанием истории большевистской партии и непониманием сущности большевизма можно объяснить следующее заявление авторов или автора «Введения» к книге «Германия и русская революция 1915-1918 г.»: «Среди документов министерства иностранных дел нет доказательств, что Ленин, человек осторожный, был в непосредственном контакте с какой-либо германской агентурой. Насколько он знал о деятельности людей окружавших его — трудно сказать». В своей статье в «Der Monat» Земан пишет, что сношения с немцами в 1917 г. переняли Платен, Радек Ганецкий, Григорий Шкловский и другие «люди второго разряда, с ведома или без ведома Ленина». На этом основании большевизанствующие и мало осведомленные или просто политически невежественные рецензенты книги «Германия и русская революция 1915-1918 г.» в целом ряде серьезных английских и американских газет и журналов уже писали, что якобы не установлено, что Ленин и его партия были связаны с Германией и получали от нее огромные суммы. А один очень серьезный американец договорился даже до того, что если и доказано, что немцы дали большевикам большие суммы денег, то не доказано, что эти деньги попали в руки Ленина. Если это не попытка «обелить» Ленина, то это просто сверхъестественная глупость. Конечно, Ленин не встречался ни с Вильгельмом II, ни с Людендорфом и не договаривался

⁴³ А. Литвак, Собрание сочинений (на идиш). Нью Йорк, 1945, стр. 245, 252, 256.

лично с канцлером Бетманом-Гольвегом и не получал от них ящиков с золотыми германскими марками или с русскими государственными ассигнациями. Ленин лично ведь тоже не участвовал ни в «экспроприациях», которые большевистские «боевики» с ведома Ленина производили в годы первой революции, пересылая ему награбленные деньги. Ленин тоже лично не участвовал и в вооруженном восстании, организованном по его настоянию, которое привело его к власти. Но большевистская партия никогда ни одного шага не сделала без его ведома, больше того, он всегда был инициатором всех решений и выступлений партии. Правительство Вильгельма II давало деньги не отдельным большевикам, «окружавшим» Ленина, но именно партии, а Ленин всегда был ее абсолютным диктатором. Никто никогда не действовал от его имени, не будучи заранее уполномоченным на это Лениным.

11

Вскоре после захвата власти большевиками и заключения ими перемирия с Германией, между Парвусом и германским правительством и высшим военным командованием возникли серьезные разногласия о форме мирных переговоров с большевистской властью. Парвус (как и лидеры германской социал-демократии Эберт, Шейдеман и некоторые другие лидеры большинства Рейхстага) настаивал на переговорах между парламентариями обеих сторон в нейтральной стране. Радек, Ганецкий и Воровский сначала поддерживали в этом Парвуса. С середины ноября до Рождества Парвус был в Стокгольме и был в постоянном контакте с Радеком и Ганецким. Их явная цель была обойти и правительство кайзера, чтобы таким образом подорвать его силу. Иначе говоря, они хотели свергнуть германское правительство по возможности скорее вместо того, чтобы ждать, когда в Германии вспыхнет революция. Но германское правительство и высшее военное командование на это не пошли. Мирные переговоры произошли в Брест-Литовске, в главной квартире германских восточных армий. Там же был и подписан мир. В декабре, как это видно из германских документов, германское министерство иностранных дел старалось, насколько это было возможно, держать Парвуса подальше от его друзей Радека и Ганецкого. Это германским дипломатам в конце-концов удалось. Хотя Парвус и после декабря 1917 года поддерживал сношения с германским министерством иностранных дел, но прежнего взаимного доверия

между ними уже больше не было.⁴⁴ Об этом подробно рассказано в секретном меморандуме министру Бергену советника германского посольства в Стокгольме фон Ритцлера от 24-го декабря 1917 г.

«Когда Парвус прибыл сюда (в Стокгольм) в середине ноября — гласит меморандум, — он сначала наверное верил в возможность и целесообразность (международной) социалистической конференции. Датское предложение созвать такую конференцию (которое пока не дало никаких результатов и забыто теперь) надо рассматривать как результат его усилий и то же самое верно насчет первоначального положительного отношения германских социал-демократов к идее конференции. Различные аспекты его (Парвуса) деятельности здесь были в действительности не совсем ясны. Кроме его желания созыва социалистической конференции, он также надеялся, что переговоры будут перенесены сюда или в Копенгаген, так что он в состоянии будет употребить свое влияние, чтобы контролировать их на обеих сторонах. Как далеко идет его влияние на русских социалистов (большевиков, конечно — Д. Ш.) не ясно. Он сам сначала с нетерпением ждал вестей на этот счет, и теперь он думает, что Троцкий открыто и активно против него, а Ленин нейтрален, но что «меньшие величины» (среди большевиков — Д. Ш.) на его стороне. Его предположение насчет Троцкого безусловно верно, но возможно, что и Ленин против него и что он переоценивает доверие Радека и Воровского к нему. Он утверждает, что никто из них не делает шагу без его ведома. Я совершенно точно узнал, что он всецело ошибается в своих предположениях. Воровский крайне подозрительно относится к нему и говорит, что никто на самом деле ему не доверяет. Доктор Гельфанд теперь работает, чтобы укрепить свою позицию в России с помощью «унтер-офицеров», вопреки Ленину и Троцкому и даже против них, если понадобится. При этих обстоятельствах... я должен был его устранить от всех вопросов, касающихся методов ведения переговоров. Во всех остальных вопросах, где его интересы идут параллельно с нашими, он очень ценен, благодаря его большим практическим и политическим способностям, его исключительному знанию революционной России и силе его личности. Его совет и помощь могут быть чрезвычайно ценны».⁴⁵

⁴⁴ Zeman. Verbündete Wieder Willen, "Der Monat", September, 1958.

⁴⁵ Germany and the Russian Revolution, p.p. 109, 110.

12

Имя Троцкого почти не упоминается ни в документах, опубликованных в книге «Германия и русская революция 1915-1918 г.», ни в статье Земана в журнале «Der Monat», а между тем Троцкий, по крайней мере в 1917-1918 г.г. несомненно был соучастником германо-большевистского заговора. До войны Троцкий жил в Вене. Когда вспыхнула война, старый лидер австрийской социал-демократической партии, Виктор Адлер, помог Троцкому получить от австрийского правительства разрешение на выезд из Австрии для него самого и его семьи. Троцкий переехал в Цюрих. Там он опубликовал брошюру на немецком языке под заглавием «Война и Интернационал». В ней он резко критиковал, главным образом, немецких социал-демократов за их поддержку военной политики германского правительства. Но через несколько месяцев он переехал из Цюриха в Париж и там стал ближайшим сотрудником газетки «Голос», органа социалистов — противников войны. Позже, когда французское правительство закрыло «Голос», газета начала выходить под названием «Наше Слово» и Троцкий стал ее главным редактором. Ближайшими сотрудниками «Нашего Слова» были: Мартов, Луначарский, Покровский, Рязанов, Лозовский, Мануильский, Раковский, Антонов-Овсеенко и Павлович. Все они, за исключением Мартова, в 1917 г. примкнули к Ленину. Если Троцкий в Цюрихе нападал, главным образом, на германских социалистов, то в Париже всё острие его пера было со всей резкостью направлено против Франции и ее союзников. Старый друг Троцкого Л. Г. Дейч, прочитав статью Троцкого в «Нашем Слове», глубоко возмущенный ею, воскликнул: «Если б я так хорошо не знал Троцкого, то я не сомневался бы, что он подкуплен германским правительством». В конце 1916 г. «Наше Слово» было закрыто французским правительством, а Троцкий был выслан из Франции. Он уехал в Испанию, но и оттуда его выслали. Он переселился в Нью Йорк и здесь, в редактируемой им и Бухариным русской газете «Новый Мир» и в социалистических газетах и журналах на других языках, продолжал гнуть ту же самую линию. В Нью Йорке Троцкий рассказывал, что «Наше Слово» издавалось на средства главным образом Раковского. Вполне возможно, что Троцкий тогда не знал, что Раковский получал эти деньги от Парвуса. Но в июле 1917 г. Троцкий уже вне всякого сомнения знал, что все большевистские «Правды» («Окопная», «Солдатская» и др.), и весь огромный аппарат большевистской партии, финансируются германским правитель-

ством. В своей книге о Ленине, вышедшей в Москве в 1924 г., Троцкий будучи тогда еще всемогущим военным комиссаром и членом Политбюро писал: «После июльского восстания Ленин мне сказал: 'Теперь они нас перестреляют. Самый для них подходящий момент'». К счастью, — пишет Троцкий, — «нашим врагам не хватало еще ни такой последовательности, ни такой решимости».⁴⁶

Троцкий, как и Ленин, хорошо знал, что за агитацию против Временного Правительства и за немедленный мир никто даже из русских умеренных либералов не потребовал бы расстрела Ленина и его ближайших соратников. Но Ленин, конечно, думал, что Временное Правительство получило в свои руки бесспорные доказательства, что большевистская партия получала от правительства Вильгельма II огромные суммы денег на разложение русской армии и усиление анархии в стране, чтобы таким образом привести к военному поражению России и к сепаратному миру. Троцкий тогда работал рука об руку с Лениным и для него не могло быть секретом, что Ганецкий и Радек, которые в Стокгольме являлись официальными представителями Ленина и большевистской партии, находятся в близкой связи с Парвусом. 10-го июля 1917 года в письме на имя Временного Правительства Троцкий открыто солидаризировался с Лениным и Зиновьевым, которые тогда были в бегах и скрывались. Троцкий был арестован, но во время корниловского восстания был освобожден из тюрьмы и стал лидером большевиков в Совете Рабочих и Солдатских Депутатов. Он также был избран членом ЦК большевистской партии. Тогда он уже безусловно знал все секреты большевиков, и он не мог не знать о той помощи, которую германское правительство и генеральный штаб оказывали большевикам — раньше для свержения Временного Правительства, а потом для удержания большевиками власти в своих руках. В качестве первого комиссара по иностранным делам Троцкий не мог не быть в постоянной связи с тайными и явными представителями Германии. Он не мог не знать, что назначенный официальным представителем большевистского правительства в Стокгольме В. Воровский постоянно встречается там не только с Парвусом, но и с советником германского посольства фон Ритцлером. Об этом еще в 1928 году подробно рассказал Филипп Шейдеман в своих мемуарах. Самые крупные суммы большевики получали от

⁴⁶ Троцкий, О Ленине, Москва, 1924, стр. 58-59.

немцев уже после захвата ими власти, в конце 1917 г. и в 1918 г. вплоть до окончательного поражения Германии на Западном фронте. Троцкий, конечно, знал об этом, ибо тогда он был всесильным военкомом и занимал в советском правительстве первое место после Ленина. Таким образом, если не с самого начала войны, то позже, Троцкий был одним из активных соучастников германо-большевистского заговора.

13

Когда 24-го апреля 1918 г. товарищ министра иностранных дел Буше на заседании германского Рейхстага объявил условия мира, выработанные в Брест-Литовске, председатель социал-демократической партии Филипп Шейдеман в своей речи сказал: «Невозможно начать дебаты о политическом положении, забывая о большой трагедии, постигшей Россию... Канцлер уже сказал нам, что русское правительство приняло условия, выработанные германским правительством. Это не было нашим намерением, намерением германской социал-демократической партии, привести Россию к теперешнему ее состоянию. Мы боролись за защиту нашего отечества против царизма. Мы продолжаем бороться против союзнической политики захватов, но мы не боремся за раздел России, не боремся за подавление независимости Бельгии... Мы считаем необходимым заявить перед всем миром, что политика, которая теперь ведется по отношению к России, не наша политика... Если наша (социал-демократическая) политика не была применена на Востоке, если там предприняты были шаги прямо противоположные нашему совету, шаги, которые по нашему убеждению кроме вреда ничего не принесут нашему народу, то русский большевизм в значительной степени способствовал этому. После поражения царизма на фронте, большевизм всецело разоружил Россию и не проявлял, во всяком случае в своих первоначальных стадиях, ни малейшего интереса к сохранению Российской империи. Он (большевизм) фактически играл на руку расчленению России».⁴⁷

Эдуард Бернштейн в своей выше цитированной статье в берлинском «Форвертсе» в 1921 г. обвинял Ленина, что он всецело был ответствен за позорный Брест-Литовский мир и за расчленение России, и что не заслуга Ленина и его товари-

⁴⁷ Scheideman. *Memoirs of Social-Democrat*, Vol. II, p. 451-452.

щей, что Брест-Литовский мир был позже аннулирован в результате победы союзников на западном фронте.⁴⁸

А через 18 лет, 2-го сентября 1939 года, другой известный германский социалдемократ Рудольф Гильфердинг, который в 1918 г. был одним из лидеров левых независимых социалистов, противников войны, писал в официальном органе германской социалдемократической партии «*Neue Vorwärts*», выходявшем тогда в Праге: «Ленин в марте 1917 года подписал Брест-Литовский мир с Германией, чтобы продолжить войну между Германией и Австрией с одной стороны, и Англией и Францией, с другой, и чтобы обеспечить себе самому мир. Он сделал это, рискуя привести к победе реакционных Габсбургов и Гогенцоллернов над западными демократиями... Вмешательство Соед. Штатов Америки, «американского капитализма», как говорили вульгарные марксисты, вмешательство, которое тогда не могло быть предвидено, спасло его (Ленина) от этой опасности».

Ленин и его товарищи поступили как величайшие предатели не только по отношению к своей родине, к российской демократии, но и по отношению к мировой демократии и международному социализму. Циничное сотрудничество Ленина и большевистской партии с правительством Вильгельма II и германскими милитаристами принесло катастрофические результаты для всей Европы, сведя в большой степени на-нет огромные жертвы западных демократий в первой мировой войне и борьбу целых двух поколений русского освободительного движения. В этом же циничном сотрудничестве были заложены моральные основы позднейшего сталинского пакта с Гитлером, развязавшего вторую мировую войну, от которой погибли десятки миллионов людей. Конечно, вся правда о германо-большевистском заговоре 1917-1918 г.г. будет вскрыта только тогда, когда откроются архивы Центрального Комитета большевистской партии, если часть секретнейших документов, хранящихся там, не будет уничтожена или уже не унич-

⁴⁸ Напомним читателю, что по Брест-Литовскому договору Польша, Курляндия и Литва вместе с частями Лифляндии и Эстонии были объявлены окончательно отделившимися от России. Россия также обязывалась немедленно эвакуировать Финляндию, Балтийские провинции, Украину и Закавказье. Украина, как доказательство своей независимости, заключила сепаратный мир с Германией. Россия была расчленена. Кроме того, большевики еще обязались уплатить Германии огромную контрибуцию.

тожена. Но очень многое можно бы было выяснить и теперь, если бы документы германского министерства иностранных дел и германского посольства в Берне были тщательно изучены русскими исследователями, хорошо знакомыми с русским революционным движением и, в особенности, с историей большевизма и деятельностью большевиков как до революции, так и в 1917 и 1918 г.г. Г. Земан в заключении своей статьи в журнале «Der Monat» говорит, что историки несомненно попытаются на основании германских документов заново переписать историю русской революции. Но они должны будут при использовании этих ценнейших материалов быть крайне осторожны. С этим, пожалуй, можно согласиться.

Д. Шуб

ПАРТИЯ БЕЗ ИДЕОЛОГИИ?

Советскую историю последних лет можно было бы разделить на главы, приурочивая каждую к тому или иному пленуму Центрального Комитета коммунистической партии. Например: июньский пленум 1957 года и торжество Хрущева. Или июньский пленум 1959 года и новое лицо правящей партии. Последнюю главу можно было бы приурочить и к декабрьскому пленуму 1958 года, но июньский пленум, повторяя основные черты декабрьского, в то же время дал более законченную картину, очищенную от таких пережитков пленумов прежнего типа, как разоблачение Булганина и его покаянное выступление или несколько атак на других членов, так называемой, «антипартийной группы».

Только два года отделяют один от другого оба только что названных июньских пленума, но до какой степени они отличаются по своему характеру. Два года тому назад июньский пленум был завершением чрезвычайно острой борьбы внутрипартийного руководства. Он был спешно созван после того, как в Президиуме образовалось большинство против Хрущева. Самый факт созыва пленума и то, что на нем происходило, держалось в секрете. О пленуме стало официально известно только когда было опубликовано сообщение о его результатах — составленное победителями и явно грубо тенденциозное. Правдивого и точного рассказа о том, как протекал пленум нет и, вероятно, никогда не будет. Но нет сомнения, что на пленуме шла ожесточенная борьба и его заседания протекали очень бурно.

Прошло полтора года и уже в декабре 1958 года пленум, посвященный вопросам сельского хозяйства, прошел в атмосфере прямо-таки идиллической гармонии. Пленум уже не был секретным. Каждый день печатались отчеты о его заседаниях, а затем был издан полный стенографический отчет. И это был своеобразный расширенный пленум с участием лиц, не принадлежащих ни к Центральному Комитету, ни к другим центральным партийным органам, в том числе даже несколько не членов партии. Об июньском пленуме нынешнего

года было сообщено за несколько недель, что опять-таки было новшеством. В сообщении были указаны вопросы, которые будут обсуждаться на пленуме, и по этим вопросам до пленума печатались статьи. Пленум был еще более расширенным, чем декабрьский. Точное представление об его составе можно будет составить, когда выйдет полный стенографический отчет. Во всяком случае, члены и кандидаты ЦК составляли на нем меньшинство, вряд ли даже одну четверть участников. Из семи докладчиков только один был членом ЦК и еще один кандидатом в члены ЦК. И опять-таки на пленуме царила полная гармония. Не было не только политической борьбы, но и вообще политики. В сущности пленум был превращен в большое всесоюзное производственное совещание, и его заседания меньше всего походили на заседания центрального органа политической партии. Для того, чтобы проводить такое совещание секретно, не было никаких оснований.

Но как оказалось возможным превратить пленум в такое совещание, и почему это стало желательным? И если незасекреченные пленумы могут считаться желательными, то почему их нельзя было устраивать раньше? В некоторых случаях это зависело от характера обсуждаемых вопросов, которые по существу требовали секретного обсуждения. И если такие вопросы — военные или внешнеполитические — будут выноситься на пленумы, то эти пленумы и впредь будут проходить секретно. Но и в прошлом далеко не все пленумы занимались такими вопросами. В большинстве случаев на пленуме обсуждались вопросы, казалось бы, секретности не требующие. В январе 1955 года пленум обсуждал доклад Хрущева о животноводстве. Доклад и принятое — конечно, единогласно — постановление по этому докладу были опубликованы. Но ни полный отчет о пленуме, ни хотя бы отчет о прениях по докладу о животноводстве опубликованы не были. И не могли быть опубликованы. Этот пленум был посвящен не только животноводству. На нем шла борьба между Хрущевым и его сторонниками с одной стороны и Маленковым и «маленковцами» с другой. Это выяснилось очень скоро, когда уже в феврале, на ближайшей сессии Верховного Совета Маленков подал в отставку. Всем было ясно, что он сделал это, выполняя постановление пленума, которое никогда не было опубликовано, и которое, согласно югославским источникам, было принято после бурного обсуждения и лишь незначительным большинством голосов. Отчеты о таких пленумах обнаружили бы картину борьбы внутрипартийного руководства и наличие

в партии враждующих между собою тенденций. Чем известней становилась бы картина этой борьбы, тем больше находилось бы примыкавших к той или другой стороне, партийный раздор проникал бы всё глубже, и миф о монолитной партии был бы разрушен. По тем же основаниям должны были оставаться совершенно секретными и заседания, посвященные обсуждению хозяйственных вопросов, так как и в этом обсуждении отражалась внутренняя борьба. Это было ярко вскрыто в немногих полемических эпизодах на пленуме в декабре 1958 года. Об этом говорил и Хрущев в своем докладе и сам Булганин в своей покаянной речи и некоторые другие участники пленума. «Я хорошо помню, — говорил Булганин, какую ожесточенную борьбу повели Молотов, Каганович, Маленков и Шепилов против перестройки управления промышленностью и строительством, против расширения прав союзных республик и местных партийных и советских органов. Эти вопросы в ЦК были поставлены тов. Хрущевым. Не потому ли Молотов, Каганович, Маленков и Шепилов выступили против их предложений? Именно потому они и слышать не хотели об этих предложениях». Наиболее яркую картину дал министр сельского хозяйства Мацкевич, отметивший некоторые моменты, очень важные для понимания дальнейшей эволюции. Поэтому из его речи нужно процитировать довольно длинный отрывок:

«Нам, сказал Мацкевич, членам ЦК, принимавшим участие в подготовке материалов и различных расчетов, связанных с работами по освоению целинных земель, а вследствие этого и участвовавшим на заседаниях Президиума ЦК и Совета Министров, обсуждавших эту проблему, приходилось видеть, с каким упорством и яростью Молотов, Каганович и другие участники группы препятствовали осуществлению этого проекта... Они не стеснялись ни в выражениях, ни в действиях, чтобы очернить и сорвать это мероприятие. И так было со всеми вопросами, которые выдвигал тов. Хрущев как в области сельского хозяйства, так и в других вопросах, особенно о перестройке руководства промышленностью и строительством. В последний период... эти оторвавшиеся от партии и народа отщепенцы поднимали свою руку на всё новое и передовое, на всё то, что могло содействовать развитию колхозного строя и укреплению нашей страны... Когда практически встал вопрос о подготовке материалов по реорганизации МТС, Молотов и Каганович буквально пытались терроризировать аппарат Министерства сельского хозяйства, чтобы раздобыть, вернее, состряпать какие-

нибудь материалы, которые опорочили бы это мероприятие. А Шепилов и его подручные, вроде академика Лаптева, пытались «теоретически» обосновать «ошибочность» разрабатываемых предложений.

Судя по тому, что говорил Мацкевич, самая ожесточенная борьба велась на заседаниях Президиума ЦК и Совета Министров. Но эта борьба не могла не найти отражения и на заседаниях пленумов, где обсуждались и окончательно решались те же вопросы.

Решение изменить форму пленумов, сделать их расширенными и публиковать отчеты об их заседаниях, очевидно, могло быть принято тогда и только тогда, когда высшее партийное руководство окончательно убедилось, что на такого рода пленумах не будет никаких проявлений ни внутреннего раздора в высших партийных инстанциях, ни оппозиции снизу. И столь же очевидно, что такое положение создалось, когда авторитет и руководящая роль Хрущева стали неоспоримы и в Президиуме и в полном составе Центрального Комитета. На первый взгляд это легко объяснить тем, что Хрущеву удалось на 20-ом съезде подобрать преданный ему Центральный Комитет, а затем, опираясь на большинство в ЦК, очистить Президиум от оппозиции и подобрать надежный для него состав Президиума. Нельзя сказать, что такое объяснение неправильно, но оно всё же слишком упрощенно изображает имевшее место развитие, игнорируя моменты решающего значения.

20-й съезд происходил в феврале 1956 года. На нем были произведены перевыборы ЦК, существенно изменившие его состав. В результате этого изменения ЦК стал «хрущевским». Но в декабре того же 1956 года Хрущев явно не имел большинства на пленуме «своего» ЦК. Наиболее вероятным представляется предположение, что авторитет Хрущева был подорван событиями в Польше и Венгрии. Так или иначе, но пленум принял решения, не отвечавшие, а отчасти прямо противоположные желаниям Хрущева. Но всего через два месяца, в феврале 1957 года, новый пленум по докладу Хрущева принял постановления, уже выражавшие идеи Хрущева, который в промежутке между этими двумя пленумами сумел восстановить свое доминирующее положение. Он как бы вновь завоевал ЦК и достиг этого очень быстро. Как я писал в статье «Переворот 29 июня» («Новый Журнал» кн. 50, 1957), «вряд ли можно сомневаться, что в промежутке между пленумами им (Хрущевым) была проделана внутри партии работа по подготовке февральского пленума. Хрущеву удалось сплотить вокруг себя пар-

тийную бюрократию и тем обеспечить себе большинство на февральском пленуме». Сегодня можно говорить уже с полной уверенностью, что именно в этот промежуток времени партийная бюрократия крепко сплотилась вокруг Хрущева.

Декабрьский пленум 1956 года имел критическое значение в точном смысле слова, т. к. от него был неизбежен поворот в ту или иную сторону. О том, что происходило на этом Пленуме, мы знаем сравнительно много, но, к сожалению, многого и не знаем. Отчет о пленуме не был опубликован. Пленум обсуждал чрезвычайно важные хозяйственные вопросы и принял постановления — одно по докладам Сабурова (председателя Госэкономкомиссии) и Байбакова (Председателя Госплана), другое по докладу, также экономическому, Булганина. Но занимался ли пленум только хозяйственными вопросами? Было ли обсуждение в связи с только что происшедшими тогда событиями в Польше и Венгрии? Об этом были только слухи, на которые положиться нельзя. Постановления по хозяйственным докладам — как, очевидно, и сами доклады — не отвечали идеям Хрущева. Не было ли это его прямым поражением? Делал ли Хрущев в Президиуме предложения, которые были отвергнуты? Развивал ли он свои идеи на Пленуме? Об этом мы ничего не знаем. Очень вероятно, что Хрущев, чувствуя, что его положение поколеблено, предпочел не рисковать прямым поражением и от внесения собственных предложений воздержался. К тому же мы не знаем были ли идеи Хрущева в декабре уже облечены в форму конкретного плана реформ, как это было в феврале следующего года.

О хозяйственных проблемах, которые были поставлены перед декабрьским пленумом, было через несколько месяцев после пленума обстоятельно рассказано в брошюре работника Госплана И. А. Кулева «О дальнейшем совершенствовании планирования и руководства народным хозяйством». На пленум был внесен спор между Госпланом и хозяйственными министерствами, которые требовали очень существенного увеличения капитальных вложений на 1957 год и на всю шестую пятилетку (1956-60 г.г.) по сравнению с суммами, предусмотренными в директивах, принятых 20-м съездом. Требования министерств были невыполнимы, так как неоткуда было взять требуемые ими огромные суммы, но без этого было не возможно выполнение утвержденного съездом шестого пятилетнего плана. Положение требовало радикальных решений. Пленум постановил пересмотреть планы, чтобы устранить их «излишнюю напряженность». Но этого было недостаточно. Итоги 1956 года, по

видимости вполне благоприятные, если ограничиваться суммарными данными о росте всей валовой продукции, обнаружили, что капитальные вложения не дают ожидаемых результатов — в особенности в ключевых областях индустриального производства и строительства. Предназначенные на капитальное строительство средства распылялись на такое множество объектов, что их завершение во многих случаях было возможно лишь с очень большим запозданием. В деятельности министерств было много примеров вопиющей бесхозяйственности, главным образом вследствие недостаточного учета центральными органами местных условий. Развернувшаяся перед пленумом картина делала очевидной необходимость преобразований в смысле рационализации планирования и руководства промышленностью и строительством, в частности необходимость той или другой формы экономической децентрализации.

Постановления пленума были не слишком ясны и отчасти противоречивы. Деятельность министерств была подвергнута суровой критике, нашедшей свое отражение и в одном из постановлений, говорившем о «неудовлетворительном руководстве предприятиями и стройками со стороны отдельных министерств». Но в то же время пленум предписывал «обеспечение дальнейшего расширения прав министерств». Для рационализации планирования предусматривалось расширение полномочий Госэкономкомиссии, и сейчас же после пленума произошло изменение состава ее руководства (ее председателем был назначен вместо Сабурова Первухин с несколькими именитыми заместителями). Что же касается идеи децентрализации, то она нашла свое место в признании принципа районирования, хотя и в довольно неопределенной форме, в постановлении об «улучшении руководства народным хозяйством» (по докладу Булганина) говорилось об «обеспечении, координации и увязки хозяйственной деятельности внутри экономических районов», без каких-либо указаний на мероприятия организационного характера. Но Хрущев понимал — вернее: он знал, что за этой неопределенной формулой скрывается очень определенная политическая программа.

Вести спор вокруг отдельных слов вполне соответствует коммунистической традиции, и то, что непосвященному кажется спором о словах, может иметь глубокое политическое значение. В данном случае политический конфликт выразился в противопоставлении двух формулировок, отличавшихся одна от другой одним словом. Постановление декабрьского пленума говорило просто об «экономических районах», Хрущев

противопоставил этому и осуществил образование **«административных экономических районов»**. Так проявилась вовне политическая борьба, исход которой имел огромное значение для дальнейшего развития. Вопрос о разделении всей страны на экономические районы интенсивно разрабатывался в годы, предшествовавшие декабрьскому пленуму. Существовало несколько проектов районирования, выработанных в различных учреждениях. У всех них было то общее, что они имели в виду образование ограниченного числа больших районов, которые часто обозначались как **основные** экономические районы. Эти районы мыслились как возможно более «комплексные» — если и не самодовлеющие, то в значительной мере представлявшие экономическое целое, что позволило бы более рационально организовать руководство их хозяйством и упростило бы взаимоотношения между отдельными районами. Имелось в виду образование 15, 20, в крайнем случае немного большего числа районов. Соображения экономической целесообразности целиком говорили за такое районирование. Спорными могли быть лишь вопросы о наиболее целесообразных размерах отдельных основных районов, об их разграничении, о желательности образования районов с теми или иными основными продуктами. Но проблема не сводилась только к экономической целесообразности, а имела и очень серьезную политическую сторону, так как на ней столкнулись интересы двух бюрократий — хозяйственной министерской и партийной. Решения декабрьского пленума закрепляли позиции хозяйственной бюрократии. Хрущев опрокинул эти решения, мобилизовав против них бюрократию партийную.

Как я писал в статье «Переворот 29 июня», образование основных экономических районов «означало бы уменьшение власти партийных секретарей и вообще партийных областных комитетов. Экономический район, охватывающий несколько областей, неизбежно выходил бы из подчинения областным комитетам партии. Во главе управления такими районами должны были бы стоять сравнительно крупные хозяйственники, примерно министерского масштаба. Такие 'советы народного хозяйства' были бы государственными органами, относительно свободными от партийной опеки». К этому нужно добавить, что постановление Пленума предусматривало «обеспечение дальнейшего расширения прав министерств, главных управлений министерств». После пленума Хрущев не замедлил открыть, в первую очередь областным секретарям, глаза на то, чем им угрожает реформа на основании постановлений декабрьского

плenuma. А в составе пленума областные секретари представляют собой решающую силу. Имея их за собой, Хрушев произвел своего рода разгром хозяйственной министерской бюрократии, проведя упразднение большинства хозяйственных министерств. Вместо «основных экономических районов» он провел образование ста пяти «административных экономических районов», преимущественно приуроченных к существующим административным делениям, в результате чего роль партийных органов, беспубликанских, областных, краевых, в руководстве хозяйством не только не была ограничена, но была очень значительно расширена.

Перестройка управления промышленностью и строительством была одним из факторов, развязавших бурю в форме атаки против Хрущева в Президиуме и ликвидированную на июньском пленуме 1957 года. Это была не только борьба между хозяйственной и партийной бюрократией. Члены Президиума, объединившиеся против Хрущева, были представителями более широкой коалиции, отдельные элементы которой руководились разными мотивами. Возможно, что наименее «виновный» из оппонентов Хрущева, Первухин примкнул к оппозиции из чувства личной обиды, потому что составленный под его руководством новый вариант пятилетнего плана был отвергнут, руководимая им Госэкономкомиссия упразднена и сам он получил значительное понижение. Возможно также, что Первухин и Сабуров были против хрущевской реформы по соображениям экономической целесообразности, в то же время в той или иной мере солидаризируясь с подвергшейся разгрому министерской бюрократией. Оба они не были исключены из ЦК, но Первухин был переведен из членов Президиума в кандидаты, а Сабуров вообще выведен из Президиума (теперь и Первухин уже не кандидат). Главными злодеями были Маленков, Молотов и Каганович. О том, что они представляли одно политическое направление, не может быть и речи. Они объединились против общего врага. У каждого из них, наверное, играли роль и такие мотивы, как властолюбие и личная обида (в особенности у Маленкова). Но по своей политической линии Маленков был скорее ближе к Хрущеву, чем к Молотову и Кагановичу — которые, кстати сказать, раньше помогли Хрущеву с Маленковым разделаться. Но Маленкова резко отделяла от Хрущева тенденция к ограничению власти партийного и усилению роли государственного аппарата. Нет сомнения, что передовая «Коммуниста» имела в виду именно Маленкова и его сторонников, когда писала, что

некоторые участники «антипартийной группы» пытались обосновать «необходимость примата государственных органов над партийными». Во всяком случае его нельзя причислить к «консерваторам», как это с полным основанием делается по отношению к Молотову и Кагановичу.

Для определения позиции Молотова и Кагановича очень интересна цитированная выше речь Мацкевича на декабрьском пленуме 1958 года. Мацкевич очень отчетливо отделил Маленкова от Молотова и Кагановича. Маленкова он упоминал, только перечисляя всех «презренных фракционеров», т. е. членов «антипартийной группы». Но конкретные обвинения он направлял против Молотова, Кагановича и Шепилова, и это точно отвечает его основному обвинению против «отщепенцев», которые «поднимали свою руку на всё новое и передовое». Основной конфликт изображается, таким образом, как конфликт между «новаторами», возглавляемыми Хрущевым, и «консерваторами», которые были представлены в Президиуме Молотовым и Кагановичем, а также в какой-то мере Шепиловым. Шепилова Мацкевич особо обвинял в том, что он много сделал «для того, чтобы затормозить развитие экономической науки, а вместе с этим и решение неотложных задач развития колхозного строя». С другой стороны, надо однако вспомнить, что в июле 1955 года, за год до решающего конфликта, после победы Хрущева над Молотовым на пленуме, именно Шепилов сменил Молотова на посту министра иностранных дел. Кроме того, за Шепиловым числились такие проявления «либерализации» (в его выступлении перед писателями), что его позицию нельзя просто отождествлять с консерватизмом Молотова и Кагановича. Но сблизить их могло общее всем им чувство, что Хрущев фактически рвет с идеологической традицией коммунизма, сам уходит от идеологии и уходит от нее партию. Если они так чувствовали, то они были правы.

На недавнем съезде писателей Хрущев сам характеризовал свою борьбу против «антипартийной группы», как «борьбу нового против старого». Курьезно, однако, что «новое» он в то же время определяет, как возврат к ленинским принципам, т. е. как возврат от старого к еще более старому. Но Хрущев взвел на себя напраслину: он ни к кому и ни к чему не возвращался, а подходил ко всем проблемам чисто эмпирически — или, как теперь обычно говорится, «прагматически», — не считаясь ни с какими теориями, с готовностью пробовать то одно, то другое, отстаивать новую идею, не стесняясь,

что раньше он отстаивал прямо противоположную. Так например, он провозгласил машинно-тракторные станции «нашей крепостью в деревне» и требовал передачи им руководства чуть ли не всей деятельностью колхозов. А через два года он уже ставил вопрос о ликвидации МТС и передаче машинно-тракторного парка колхозам, что было очень разумно и что он провел, сломив сопротивление «консерваторов». Поставив фантастические задания, он потом сокращал их с таким видом, будто он никогда ничего другого и не требовал. Словом, он давал достаточно оснований обвинять его в беспринципности, авантюризме, скачках в неизвестное.

Но он победил всякую оппозицию. И победил ее не только голосованием на пленумах, но, что важнее всего, реальными результатами, которые дала его прагматическая политика, несмотря на все ее скачки и зигзаги. Кто знает, может быть противники Хрущева попытались бы в декабре 1956 г. нанести ему сокрушающий удар, если бы у него не было такого козыря, как небывалый урожай, в особенности на целинных землях, против освоения которых его сторонники боролись, предсказывая катастрофические последствия. После победы над образовавшейся против него коалицией и, начиная с перестройки управления промышленностью и строительством, под руководством Хрущева началась эпоха если не «великих», то во всяком случае больших реформ: передача машинно-тракторного парка колхозам, изменение системы сельско-хозяйственных заготовок, школьная реформа, переход к постепенному сокращению рабочего времени, повышение наиболее низких заработков, упразднение фактически принудительных займов и несколько других. Жилищному строительству придан размах, далеко превосходящий все прежние программы. И всё это не только будущее. Реальность достигнутых успехов не подлежит сомнению. Затаенная оппозиция, наверное, существует (можно было бы указать ее вероятные источники). Но что она может предпринять и что противопоставить явным и очень значительным достижениям, опровергнувшим все мрачные предсказания и предостережения? Хрущев может действовать так, как будто никакой оппозиции нет и быть не может. Поэтому и стало возможным так радикально изменить характер пленумов Центрального Комитета. Но зачем это понадобилось?

Прежде всего нужно установить, что пленумы нового типа выносят постановления, но ничего не решают. Такие пленумы имеют другую функцию, которая становится понятной, если ее связать с эволюцией, через которую проходит теперь

коммунистическая партия, с тем, что можно назвать изменением ее лица.

Эта эволюция является логическим и, вероятно, неизбежным следствием проведенной два года тому назад перестройки управления промышленностью и строительством. Как мы видели, эта перестройка усилила роль партийных органов в управлении хозяйством за счет роли хозяйственной бюрократии. Это было связано с опасностью, что непосредственное руководство хозяйством окажется в руках людей для этого не подготовленных. Так оно во многих случаях и было. Правда, перестройка не оправдала зловещих предсказаний ее противников, но она не оправдала и всех возлагавшихся на нее надежд. В общем балансе плюсов и минусов ее результаты, вероятно, следует считать положительными, хотя разделение страны на сто пять (теперь сто четыре) районов создает много трудностей и трений. Значительное количество перемен в руководящем составе совнархозов указывает на то, что руководящие кадры часто не справлялись — и всё еще не справляются — со своими задачами. Нужно формирование новых кадров, более подготовленных для хозяйственного руководства. Но раз это руководство должно быть строго партийным, то руководители должны набираться из партийных рядов по принципу отбора, предполагающему иные склонности и способности, чем те, которые преобладали раньше. Другими словами: правящая партия должна всё больше становиться партией хозяйственников. Для этого ее нужно перевоспитать или, по модному выражению, «перековать». В этом главным образом и состоит функция пленумов нового типа.

В другом месте («Социалистический Вестник», июль 1959 г.) я писал: «Пленумы нового типа кое-что дают и партийному руководству, помогая ему яснее видеть проблемы, возникающие на местах. В то же время это — демонстрации, имеющие характер своего рода наглядного обучения, целью которого является вызвать у читателей отчетов живой интерес и лучшее понимание очередных хозяйственных задач. И фактически, хотя, может быть, и не намеренно, они уводят внимание следящих за работой пленумов кругов, в особенности партийных, от вопросов идеологии и концентрируют их внимание на задачах хозяйственной практики». Это было написано, когда я еще не имел текста речи Хрущева, опубликованной с опозданием на несколько дней и стало быть тщательно проредактированной. По ознакомлении с этой речью вряд

ли можно сомневаться, что Хрущев **намеренно** уводит партию в сторону от идеологии.

Конечно, он не говорит прямо, что нужно перестать заботиться об идеологии. Он как будто бы отдает ей должное: «партийная работа у нас зиждется на революционной теории марксизма-ленинизма». Но сейчас «для того, чтобы укреплять в сознании людей эту теорию... нужно всемерно развивать материальное производство. Поэтому вопрос организации производства — это большая часть всей нашей идеологической работы на современном этапе». А затем Хрущев дает определение партийной работы, которое не оставляет никакого места для идеологии. Более того: он буквально издевается над идеологами. Соответствующие места стоит привести буквально:

«Мне один товарищ, присутствующий здесь, написал записку: товарищ Хрущев, что же это все выступают и говорят о промышленности и ничего не говорят о партийной работе. Дорогой мой товарищ, а если на заводе, на котором вы работаете на партийной работе, выпускается бракованная деталь, а вы в это время читаете лекцию о построении коммунизма в нашей стране (**оживление в зале**), не будет ли больше пользы если вы займетесь организацией людей на научный, более качественный труд?! Это ведь и есть партийная работа, когда каждый стоит на своем деле, хорошо знает свою профессию, делает хорошие детали, собирает хорошие машины. А вы предлагаете во главу угла поставить чтение лекций о том, какое будет мышление у человека лет через сто после победы коммунизма. Это, правда, замечательная лекция и не поймите меня так, что я против хороших лекций, но мы с такими докладами и лекциями можем подождать лет пятьдесят или восемьдесят (Смех, аплодисменты)».

«Это ведь и есть партийная работа, когда каждый стоит на своем деле» и т. д. Но такая работа является нормальной и для каждого хорошо налаженного капиталистического предприятия, совершенно независимо от партийной принадлежности работающих. Рассматривать ее как работу партийную можно только, если иметь в виду партию не идеологическую, а хозяйственную, во что в значительной мере и превращается под руководством Хрущева, коммунистическая партия. На съезде нашелся «идеолог», которого это испугало, но отповедь, которую ему дал Хрущев, вызвала сначала «оживление в зале», а затем «смех и аплодисменты». Те партийцы, которые собрались на этом расширенном пленуме, наверное, хотят быть прежде всего хозяевами или, как пожалуй лучше сказать, хозяевами. Можно себе представить, что слова Хрущева

были для них своего рода освобождением. Его издевательство над идеологами освобождало этих партийцев-хозяев от идеологических забот, к которым они потеряли всякий интерес. И эта хозяйственная партийная бюрократия представляет собой такую силу, что идеологи вряд ли могут проявить оппозиционность, идущую дальше записок товарищу Хрущеву.

Вместо идеологии главной движущей силой становится теперь «принцип материальной заинтересованности», постоянно выдвигаемый на первый план. Но я не пойду так далеко, чтобы считать этот принцип единственным стимулом активности советских людей вообще и, в частности, советской коммунистической партии. Идеология и материальная заинтересованность не исчерпывают всех возможных стимулов. Иностранцы наблюдатели, побывавшие за последнее время в Советском Союзе, единодушно отмечали ярко выраженное у советских людей чувство национальной гордости. Оно несомненно характерно, если не для всех, то, вероятно, для значительного большинства, включая и людей не питающих симпатий к режиму и правительству. И эта национальная гордость связана с тем, что можно назвать «пафосом движения вперед», который символизируется знаменитым «догнать и перегнать». Я много раз ходил на советскую выставку в Нью-Йорке — не затем, чтобы рассматривать машины, в которых я ничего не понимаю, а чтобы приглядываться к советским гидам, в значительной части очень молодым. Разговаривал с ними, но, конечно, не на острые политические темы, что было бы совершенно бессмысленно, так как на политические вопросы они могут давать только трафаретные официальные ответы. Я старался разговаривать так, чтобы вызвать у них замечания, проливающие свет на их психологию. О своих впечатлениях, ограниченных очень узким кругом наблюдения, я не решился бы говорить, если они не совпадали с недавними впечатлениями некоторых побывавших в Советском Союзе наблюдателей.

Мое основное впечатление то, что эти молодые люди как бы списали прошлое и живут настоящим, а еще больше будущим. Они гордятся достижениями своей страны, но в особенности будущими достижениями, в осуществлении которых они твердо уверены. Эти люди, молодые инженеры и техники, живут вне политики. Они не стесняются сказать: конечно, у нас есть недостатки. Некоторые посетители задают «ядовитый» вопрос; ну а как у вас с уровнем жизни? Вот один ответ, который мне представляется типичным: неужели вы думаете, что мы не знаем, что в Америке жизненный уровень

гораздо выше, ведь поэтому мы и хотим догнать и перегнать. Когда одному из гидов указали на то, что в Америке очень мало коммунистов, он ответил таким замечанием: ну да, страна такая богатая, уровень жизни такой высокий, зачем же тут люди будут становиться коммунистами... Не знаю, есть ли это общее явление, но те молодые люди, которых я наблюдал, добродушны, жизнерадостны, и оптимистичны. Они смотрят в будущее без тревоги и сомнений, убеждены, что страна идет и будет идти вперед, что жизнь становится и будет становиться лучше, прогресс науки и технологии будет продолжаться. Я сказал одному из них, что видел советский павильон на всемирной выставке в Париже в 1937 году, который производил очень убогое впечатление, и что нынешняя выставка, конечно, гораздо внушительнее. Он ответил: еще бы, с тех пор прошло двадцать лет, а вот подождите, через двадцать лет мы устроим здесь еще одну выставку, и это будет выставка!

Молодые люди мне очень понравились, и в то же время встречи с ними наводили на беспокойные мысли. Столько энтузиазма, такая вера в будущее, такая оптимистическая «религия прогресса», но при этом как будто полное безразличие по отношению к свободе политической, свободе мысли. С одной стороны такой гордый и самоудовлетворенный «пафос движения вперед», с другой «принцип материальной заинтересованности». Где же может зародиться тот прогресс, которого мы хотим, движение вперед, но к свободе, к демократии? Правда, мы знаем, что есть другая молодежь, ищущая и беспокойная, которую не удовлетворяют ни материальная заинтересованность, ни национальная гордость, ни «пафос движения вперед», наиболее типичный, вероятно, для технической интеллигенции. Но можно ли видеть в этой другой молодежи растущую силу, способную внести в развитие желательные нам тенденции? Есть ли основание надеяться, не придуманное для собственного успокоения, а вытекающее из объективного анализа? Нет, если царившая на последних пленумах гармония является точным отражением того, что происходит и будет происходить в советском обществе. Есть, если под этой гармоничной поверхностью появятся и будут нарастать возможности новых противоречий и конфликтов.

Тут я возвращаюсь к «новому лицу» партии и к принципу материальной заинтересованности. Я не сомневаюсь, что трансформация партии способствует и будет способствовать экономическому росту страны и что материальная заинтересован-

ность является очень действенным стимулом. «Религия будущего» молодого поколения действует и будет действовать в том же направлении. Тем не менее мне представляется очень вероятным, что те же факторы будут вызывать и, я думаю, уже вызывают, социальные процессы, чреватые большими последствиями. Советское общество не стало бесклассовым и бесконфликтным. Материальная заинтересованность не может действовать равномерно для всех, вызывая всеобщее удовлетворение. Давать простор материальной заинтересованности означает в то же время стимулировать тенденции к наживе, к обогащению, к материальному превосходству. До «распределения по потребностям» еще очень далеко, и стремление получать возможно больше из того, что имеется, должно создавать противоречия личных и групповых интересов. Освобожденная от идеологической спайки «хозяйственная» партия вряд ли может остаться свободной от противоречий материальных интересов, а потому будет менее способной подавлять групповую или даже классовую борьбу. Советское общество, которое и сейчас является далеко не однородным, а весьма дифференцированным, вряд ли сможет избежать дальнейшей дифференциации. Не буду предсказывать. Сейчас можно только указать на возможность и вероятность того, что указанные социальные процессы внесут в развитие советского общества новые тенденции, не предусматриваемые Хрущевым.

Ю. П. Денике

К ДРУЗЬЯМ И ЧИТАТЕЛЯМ “НОВОГО ЖУРНАЛА”

В восемнадцатый год своего существования Новый Журнал вступил в состоянии острого кризиса. Кризис этот впрочем можно было предвидеть. При всем известном положении русского эмигрантского рынка трудно было ожидать, чтобы «толстый журнал», выходящий четыре раза в год, мог стать самокупаемым. До середины 1951 года «Новый Журнал» выходил нерегулярно: за эти восемь с половиной лет вместо 34 книг вышло только 25. Но и это оказалось возможным лишь благодаря самоотверженным усилиям небольшой группы людей, несших всю работу по его изданию, и той финансовой поддержке, которую оказывали журналу некоторые его русские друзья.

С середины 1951 года и до конца 1955 г. «Новый Журнал» получал субсидию от East European Fund — филиала Ford Foundation, созданного для оказания поддержки культурной работе русской эмиграции, и только эта помощь позволила установить регулярный выход журнала четыре раза в год.

С решением Фордовского Фонда прекратить свою «русскую акцию» эта субсидия прекратилась, но при ликвидации деятельности Восточно-Европейского Фонда оказалось возможным уделить для «Нового Журнала» некоторую сумму денег, которая и позволила нам, хотя и с возрастающими трудностями, продолжать издание журнала в течение последних трех лет. Теперь и эти средства пришли к концу и ни на какие дальнейшие поступления из американских источников рассчитывать повидимому не приходится.

Это значит, что дальнейшее существование журнала зависит от его русских друзей и читателей. К ним я и обращаюсь с настоятельной просьбой о помощи.

Не мне судить о достоинствах и достижениях «Нового Журнала». Но если в нашей эмиграции есть достаточно людей, которые считают, что журнал для них важен и нужен, что он занимает какое-то определенное место в культурной жизни эмиграции и что его прекращение оставит в ней серьезный пробел — то я уверен, что они сделают все возможное, чтобы этого не допустить.

В Нью-Йорке группа лиц, верящих в необходимость дальнейшего существования журнала, приступила к созданию Общества Друзей «Нового Журнала». Мы со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы увеличить по возможности наш тираж и сократить наши организационные расходы. Но на все это требуется некоторое время, а ждать нельзя. Мы готовим к печати следующую книгу, так как чрезвычайно важно обеспечить непрерывность выхода журнала. Поэтому я и прошу Вас — помогите нам теперь же, немедленно. Не откладывая, присылайте ваши пожертвования в издательский фонд «Нового Журнала». Всем, кто откликнется на этот мой призыв, вперед приношу свою горячую благодарность.

М. Карпович

Чеки и почтовые переводы следует выписывать на The New Review и отправлять по адресу «Нового Журнала»:

The New Review, 2700 Broadway, New York 25, N. Y.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

И. Г. ЦЕРЕТЕЛИ

С Ираклием Георгиевичем Церетели сошел в могилу человек редкой целостности. Личность его отличалась особым своеобразием, которое очень трудно определить обычными характеристиками. Думая о нем, нельзя жалеть, что у него был такой-то недостаток или не было такого-то достоинства. Всё у него сливалось в его, только ему свойственное обаяние, перед которым могли устоять разве что самые злостные враги. В 1917 году большевики преследовали его лютой ненавистью, и в этом отношении Ленин не составлял исключения. И всё же мне точно известно, что после разгона Учредительного Собрания и в особенности после убийства Шингарева и Кокошкина тот же Ленин говорил, что ему невыносима мысль, что могут убить и Церетели и передал ему через цепь посредников личную просьбу уехать в безопасное место. Думаю, что эта необычная для Ленина забота о злейшем политическом враге объяснялась тем же неотразимым обаянием личности Церетели.

Человек с определенными политическими взглядами и крепкой политической волей, Церетели играл выдающуюся роль в московском студенческом движении в начале столетия, во Второй Государственной Думе и в особенности во время Февральской революции. Но многим он вспоминался главным образом, как оратор, и именно тем, **как** он говорил. Думаю, что это объясняется не блеском его красноречия, а тем, что речи Церетели давали наиболее непосредственное восприятие именно этого обаяния его личности. Мне хотелось бы найти точное выражение для основного свойства, проявлявшегося в его речах и может быть лучше всего назвать это свойство **чистотой**. О том, что речи Церетели были чужды демагогии, как-то совестно даже упоминать. В них не было и фейерверков, которые — говоря о революционных ораторах — вспыхивали в речах, например, Троцкого или Луначарского. Можно ли вообще сказать, что красноречие Церетели было блестящим в обычном смысле слова? Во всяком случае в нем не было блесков и вспышек. Оно было чистым, потому что было

очищено от всего внешнего, дешевого, искусственного и проникнуто покоряющею слушателя искренностью. Блеска было меньше, чем внутреннего горения, которое не прорывалось бурными взлетами, а отражалось во всем течении речи с ее своеобразным, почти что гипнотизирующим ритмом. Может быть, человек не только стиль, но и ритм. И если, как это вероятно было, этот ритм был перенесен Церетели в русскую речь из грузинской, то в нем была и собственная, задерживающая и направляющая внимание слушателя индивидуальность. И этот ритм так гармонировал с чистотой всего душевного облика Церетели. Да, чистота. Вероятно, это и есть наиболее приближающееся к правде слово. Церетели был революционером-рыцарем и рыцарем без страха и упрека. Он был не только социал-демократом по партийной принадлежности, но и самым последовательным социалистом-демократом, какого можно себе представить. Его демократизм был не только политическим убеждением, но как-то органически вырос из его душевного благородства, из широкой терпимости, способности понимать и уважать убеждения других и из его веры в конечное торжество того, что он считал правдой и добром. В этой вере коренился оптимизм Церетели, принесший ему болезненные разочарования. Он не мог примириться с тем, что эта его вера не восторжествует. В долгие тяжелые годы эмиграции Церетели, говоря словами Пушкина, которого он так любил и так превосходно знал, хранил гордое терпенье, веря, что не пропадет его скорбный труд и дум высокое стремление. Но ему не было суждено дожидаться этой желанной поры, ради которой он жил, боролся и терпел.

Ю. Д.

БИБЛИОГРАФИЯ

DMITRIJ TSCHIZEWSKIJ. DAS HEILIGE RUSSLAND. Russische Geistesgeschichte I, 10.-17. Jahrhundert. Hamburg 1959.

До сих пор подробная и, по возможности, объективная история русской культуры еще не написана. Существуют описания развития русской политической истории, существуют многочисленные истории русской литературы и истории отдельных культурных областей, но исчерпывающего общего синтеза — вроде, например, работы Eugen Friedell'a по истории европейской культуры — пока нет. Попытки изображения русской культуры, если они и появлялись в книгах, посвященных или политике или литературе, не говоря о их неполноте, нередко страдают недостатком даже стремления к объективности. Религиозные и политические соображения, разнообразные идеологии справа или слева, искажают описания фактов и слишком часто дают весьма сомнительную оценку. Предлагаемая книга проф. Дмитрия Чижевского первый шаг на пути к полной и детализированной истории русской культуры. Нет сомнения, что именно этот первый шаг самый трудный, и можно только удивляться с какой виртуозностью автору удалось разрешить свою задачу. Он дает краткий, но точный и весьма объективный конспект огромной области, он прокладывает дорогу и устанавливает вехи, которые значительно облегчат работу последующим историкам. Представить длинное и сложное развитие вкратце, как известно, намного труднее, чем рассказать о нем *in extenso*. От автора требуется совершенное знание предмета, и от умелого выбора передаваемых фактов всецело зависит убедительность его тезисов. У Д. Чижевского сейчас мало соперников в знании предмета и поэтому и передаваемые им факты подобраны как нельзя лучше.

Несмотря на то, что книга (которая вышла в серии Rowohlts deutsche Enzyklopädie) содержит не более 170 страниц, главные пункты развития русской духовной культуры представлены вполне ясно и точно. Автор далек от какой бы то ни было тенденциозности. Он остерегается всех эмоциональных и сентиментальных движений и стремится к совершенной научной объективности. С самого начала он, не без иронии, заявляет, что не будет заниматься определением так называемой «русской души» (заявление особенно необходимое в Германии, где поиски «русской души» всегда грозят

закреть путь к познанию русских фактов), а займется описанием духовной жизни русского народа по памятникам и конкретным историческим данным.

После отличной характеристики Киевского периода Руси, который автор определяет как период «христианского оптимизма», он переходит к описанию татарского ига, воздерживаясь и здесь от каких бы то ни было односторонних шаблонов в его оценке. Ему превосходно удастся передать все большее усиление пессимистических душевных течений, которые приводят к «аскетическому христианству». Как противовес стремлению к аскетизму, шло постепенное развитие теорий приведших к московскому абсолютизму. Глава посвященная созданию и укреплению Московского Государства и характеристике Ивана Грозного особенно хороша. Автор вскрывает сущность спора Заволжских Старцев с Иосифлянами и убедительно доказывает, какую огромную роль эти идеологические прения сыграли во всем дальнейшем развитии русского государства. Его вполне отрицательная оценка Ивана Грозного благоприятно отличается от новых, весьма сомнительных и легко объяснимых попыток его реабилитации. Не менее интересно и освещение, которое автор дает 17-му веку, в особенности расколу. И здесь он остерегается слишком простых и шаблонных оценок и старается понять раскол как национальное движение, которое развилось в виде нормальной оппозиции начинающемуся вторжению западных идей. Все идеологические движения автор связывает краткими указаниями с их дальнейшим развитием в России до наших дней. Эти замечания его особенно интересны, освещающая часто неожиданные связи и причинности.

Книга Д. Чижевского только первая часть описания русской культуры. Можно лишь с нетерпением ждать ее продолжения.

В. Сечкарев

ROSE CELLI, «L'ART DE TCHEKHOV». Essai. Del Duca. Paris, 1958, 173 p.

Франция узнала и оценила Чехова позже, чем Англия; только за последнее десятилетие увлечение Чеховым — прежде всего драматургом, а потом автором рассказов и повестей — перешло из литературных кругов в широкую массу читателей. Французская Чеховиана — переводы, статьи, монографии — разрастается с каждым годом; его пьесы шли в прошлом году в нескольких парижских театрах одновременно. Чехов любил Францию, многим был ей обязан, и он как бы возвращает ей теперь то, чем она его одарила.

Книга Р. Селли «Искусство Чехова» свидетельствует не только об отличном знании чеховского творчества (даже ранних рассказов

и пьес, которые не были напечатаны в первых собраниях сочинений), но и об интуитивном проникновении в его особый мир.

«К Чехову, — говорит Р. Селли, — для которого *простота* была законом художественной прозы, надо подходить просто». Чтобы судить об эстетике Чехова, автор прибегает к его же творческому принципу: «Надо, чтобы память процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично» (писано в 1897 г.).

Не останавливаясь на разборе отдельных рассказов, Р. Селли вызывает в памяти целый мир, ставший ей таким же близким, как тот, в котором она живет: мир мелких чиновников, врачей, вялых интеллигентов, мечтательных женщин, грустных детей; ушедший русский мир конца прошлого столетия — вечный мир миллионов обыкновенных людей.

Говоря о Чехове, критики часто сопоставляют писателя и человека; оба облика почти совпадают (что бывает далеко не всегда): простота, правдивость, сдержанность, стремление к полной независимости проявляются с одинаковой силой и в его творчестве и в жизни. Правда, свидетельства современников о Чехове-человеке противоречивы: одни говорят о его доброте, всегдашней готовности помочь; другие — о холодности, отчужденности, даже об отращивании, которое вызывали в нем люди.

Р. Селли пытается примирить эти суждения: «У бесстрастного Чехова, — говорит она, — была лишь одна страсть — желание личной свободы не только для себя, но для всех людей». Нам же кажется, что французские критики, упрекающие Чехова в холодности, как в 90-х г.г. Лавров, издатель «Русской Мысли», ставил ему в вину «беспринципность» (т. е. полное равнодушие ко всякого рода партиям и ярлыкам), просто плохо его понимают. Можно ли заподозрить в холодности человека, который в юношеском письме к брату как бы мимоходом бросает: «лучше быть жертвой, чем палачем», который болеет сердцем не только за всех несчастных людей, но даже за животных, за птиц? «Войдите вы в положение коростеля, который всю дорогу не летит, а идет пешком, или дикого гуся, отдающегося живьем в руки человека, чтобы только не замерзнуть... Тяжело жить на этом свете!» (Письмо к Плещееву, 1888). Сдержанность Чехова — его щит, за которым он скрывает болезненную уязвимость и чуткость. Сдержанность была для него и одним из законов творчества: «можно страдать заодно со своими героями, но нужно это сделать так, чтобы читатель не заметил... Надо быть равнодушным» (Авиловой, 1892).

Критическое изучение автора не в оригинале, а в переводе казалось нам до сих пор предприятием трудно выполнимым; пример Р. Селли показывает, что Чехов «доходит» и до иностранцев, ищущих

щих в его творчестве не экзотические картины России 90-х годов, а голос подлинного, вечного искусства. «Русский читатель, — говорит Р. Селли, — может восхищаться и языком Чехова, его музыкальностью и ритмом, но то, что мы, французские читатели, читая его рассказы в переводах, способны так глубоко почувствовать, — не доказывает ли это, что искусство Чехова выходит за пределы формы? Всякая художественная форма неизбежно стареет... Ни Чехов, ни Толстой, ни Бальзак, ни Пруст не могут устареть, хотя каждый из них и описывает определенное общество своей страны в определенную эпоху».

О влиянии Чехова на современную литературу, особенно на английскую и французскую, на котором останавливается автор, упоминалось уже не раз. Но хочется отметить заключение, естественно вытекающее из этого талантливого исследования: творчество Чехова, признанное классическим, не застыло, а осталось живым родником, питающим всякого, кто к нему припадает.

Е. Каннак

С. А. ЛЕВИЦКИЙ. ТРАГЕДИЯ СВОБОДЫ. Изд. «Посев», 1959 (350 стр.).

Книга Левицкого содержит в себе разносторонне выработанное учение о свободе воли. Названа она «Трагедия свободы» потому, что свобода есть великий, но вместе с тем и опасный дар: она легко подвергается искажениям, и предпоследняя часть книги озаглавлена «Патология свободы». Начинает свое исследование Левицкий с выяснения различных видов свободы и опровержения детерминизма, материалистического, психологического, теологического и логического (учение Шестова). Положительное учение о свободе воли содержит в себе рассмотрение вопросов о причинности и целостности, об отношении между телом и душой, о строении личности, о совести. Сюда входят и наиболее трудные для понимания учения о смысле и связи таких категориальных понятий, как возможность, действительность, бытие, сущее и т. п.

Как видно из сказанного, Левицкий ставит и решает вопросы метафизики, науки, возможность которой отрицают кантианцы и позитивисты. Заниматься этой наукою он считает возможным потому, что придерживается гносеологии, согласно которой человек познает непосредственно в подлиннике не только свои душевные состояния, но и предметы внешнего мира. Такое гносеологическое учение называется в Англии и Соединенных Штатах Америки «реализмом», в Италии *«realismo immediato»*, а в русской философии интуитивизмом. Для сторонников такой гносеологии трудным

вопросом является возможность творческого воображения. Этому вопросу посвящена Левицким особая глава. Предшественником его в исследовании этой проблемы был талантливый философ интуитивист Димитрий Васильевич Болдырев, погибший в 1920 г. вместе с Колчаком.

В отделе книги «Патология свободы» Левицкий дает ценные сведения о многочисленных искажениях свободы. Особенно останавливается он на влиянии страха, ведущем, напр., к жалкому существованию «человека в футляре», и на идолатрии свободы (Штирнер, Ницше), источником которой является гордыня, ведущая к самообожествлению и далее к сатаноподобию.

Экзистенциализм связан с учением о свободе, и Левицкий дает ценный обзор содержания учений и критику философии столь различных экзистенциалистов, как Киркегор, Гейдеггер, Сартр, Ясперс, Бердяев.

В ценной книге Левицкого есть и такие учения, с которыми нельзя согласиться. Напр., он говорит, что, сотворив свободу человека, Бог «ограничил свое всемогущество и свое всеведение» (стр. 44). Догмат всемогущества Бога не есть учение о том, что все действия совершает Бог; а от всеведения Бога ничто не ускользает потому, что Бог, сверхвременно охватывая всё прошлое, настоящее и будущее мира, знает свободные поступки тварных существ путем восприятия, а не путем умозаключений. Если бы у Бога не было всеведения, тогда не существовало бы провиденциальное Божественное руководство историческим процессом.

Заканчивается книга «Социально-историческим приложением», в котором высказаны ценные мысли о «кризисе свободы» в наше время, когда появились тоталитарные государства, возникновению которых способствуют извращения свободы в душе граждан государства. Защита от соблазнов, ведущих к искажению свободы, говорит Левицкий во многих местах своей книги, достигается «через служение ценностям высшим, чем свобода» (стр. 293), т. е. абсолютным ценностям истины, нравственного добра, красоты, любви к Богу.

Н. Лосский

РАИСА БЛОХ — МИХАИЛ ГОРЛИН. ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. «Рифма». Изд. им. Ирины Яссен. Париж. 1959.

Группе друзей погибших в депортации авторов этой книги удалось выпустить сборник, куда вошло не только всё лучшее, что было ими написано до войны, но и несколько неизвестных раньше стихотворений Раисы Блох-Горлиной. Они были написаны в особенно тяжелую полосу ее жизни — после увоза мужа из французского ла-

геря Питивье в Германию, после скоропостижной смерти их шестилетней дочери, когда Раиса Блох, скрывавшаяся под чужим именем в так наз. «свободной зоне», оказалась совершенно одна, — одна лицом к лицу с воспоминаниями о своем недолгом счастье.

В этих стихотворениях лишний раз утверждается подлинное дарование той, которая когда-то правдиво сказала о самой себе:

«И разве то моя вина,
Что ежедневно, ежечасно
Я, Божий колокол напрасный,
Звенеть и петь осуждена?»

И в предельном отчаянии, в покинутости, голос поэта не может замереть; в нем попрежнему звучат мужество и вера; попрежнему близость природы дарит поэта хотя бы кратким забвением:

Небо благостное, и жарок
Запах трав и деревьев сонных,
Небо праведное — подарок
Для усталых и огорченных.
Свод торжественный, купол полный
Птичьим щебетом, Божьим звоном,
И горячего ветра волны
По кудрявым сбегает склонам,
До реки, до травы высокой,
Незабудковой бирюзовой,
Где над девочкой синеокой
Смерть насыпала холмик новый.

В обращении к мужу, заключенному в лагере — гордое преклонение перед судьбой поэта, Божьего избранника, отмеченного, как Иов, «лучем пронзительным, жестоким, золотым».

В ранних лирических стихах Р. Блох слышатся, как у большинства поэтесс той эпохи, неизбежные отзвуки Ахматовой. Но с годами ее дарование крепло, находило собственные ритмы — музыкальные, песенные — свой словесный материал, свои темы. Громче всех звучит та, о которой мы уже упомянули — тема слияния с благословенным Божьим миром, стремление в нем покорно раствориться. В этой покорности — мудрость и глубокое религиозное чувство.

«И будут плыть небеса, пылая,
И деревья шуметь и трава расти,
И ведь только затем на земле жила я,
Чтоб ничем не быть и во всем пройти».

Специалистка по истории средневековья, Р. Блох и в старинной латинской поэзии находила близкие ей мотивы и образы. Прекрасны ее переводы стихов десятого века, особенно стихотворение,

озаглавленное «Фортунат». Мужество, простота, правдивость — основная тональность ее поэзии.

Дарование М. Горлина носит иной характер. Как поэт он кажется и более сложным и менее сложившимся, чем Р. Блох. Его стихи, напечатанные в сборнике, принадлежат к юношеским (всё написанное Горлиным в лагере, к сожалению, утеряно, повидимому безвозвратно). В них угадываешь много нераскрывшихся возможностей, много обещаний: поэт искал и не успел еще найти себя. Тут и воспоминания детства, сказочного мира, впоенного немецкой романтикой. — «Когда-то в детстве, начитавшись Гофмана и сказок...» — и впечатления большого города, связанные с неизбежным чувством одиночества и тоски, и романтические мечтания:

«...А где-то есть хрустальный дом,
У дома тихий водоем,
Там город птиц и небылиц,
Столица всех земных столиц.
Но там не думают о нас,
Не вспоминают в скорбный час.
О нас не думают нигде.
Мы пламением в пустоте».

Но у Горлина было и острое чувство реальности, и тяга к бытовым подробностям и, вероятно, он вышел бы за пределы юношеской лирики, если бы его таланту отпущено было время развиться.

К сборнику приложены два портрета работы Н. Бродской и факсимиле письма Раисы, выброшенного ею наудачу, в последнюю минуту, из вагона, набитого обреченными. Железнодорожный служащий подобрал письмо и доставил его адресату. Как всё, написанное Р. Блох, оно дышит мужеством и надеждой.

Е. Каннак

НИКОЛАЙ АРСЕНЬЕВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ МИРА И ЖИЗНИ. Нью-Йорк, Изд. Русск. Богосл. Фонда. 1959. Стр. 255.

Мне кажется, существует глубокая внутренняя связь между давно (более тридцати лет) изданной книгой того же автора — «Жажда подлинного бытия» и последним трудом — «Преображение мира и жизни». Н. Арсеньев видит в жизни человека и вселенной не одну жажду и томление по миру горнему, но и подлинную возможность преобразования субъективно-объективного в бытии субстанций, личностей и явлений через Любовь Преображающую. Не случайно он принадлежит к тому, уже сильно поредевшему кругу русской интеллигенции, к тем мыслителям, чья духовная и умственная куль-

тура имеет связь с В. Соловьевым. Этическое-религиозное стремление «Оправдания добра» чувствуется на всех страницах книг проф. Арсеньева. Но наше время иное, таящее в себе знаки и знамения войн и великих всечеловеческих потрясений. То, что видели и пережили люди нашей эпохи, мог, в светлые моменты озарений, смутно предчувствовать человек типа В. Соловьева. Но кроме влияния-веяния зачинателя настоящей русской философии, в книге легко уловить и мечту всей русской духовности о преображенном мире, будь то легенда о граде Китеже, гоголевские мысли о Воскресении, долженствующем начаться именно в России, «Философия Общего дела» или идея преображения мира музыкой (Скрябин) и т. д. В наше время в «момент истории человечества, который стоит под знаком термоядерных бомб... когда силы зла вносятся добровольно и дерзновенно в самую ткань мировой жизни и человек стал на путь конечного самоуничтожения, а, может быть, и уничтожения всего окружения своего — в этот момент вопрос о преображении мира и жизни особенно кажется анахронизмом и вместе с тем он, может быть, особенно уместен и важен» (стр. 5). В Евангелии говорится о преображении на горе, и это великий символ! Всякое преображение делается двояким путем: он, человек, поднимается ввысь великим усилием психофизическим, а Божественное тогда нисходит и просветляет. Из долин и плоскостей надо взойти на горы. Тогда горнее нисходит к дольнему. Книга Арсеньева и построена по принципу восхождения человеческого, дабы снизошло к нему Безначальное.

Книга в основном рассчитана на философа или богослова, но и всякий вдумчивый читатель найдет в ней десятки увлекательных описаний, мудрых цитат, трогательно-незабвенных примеров человеколюбия и доброты (православные, католики, протестанты), будь то Иоанн Св. Креста, Франциск Ассизский, Феодор Гааз или Св. Павел Обнорский, Св. Кирилл Белозерский и Св. Сергей Радонежский, Юлияния из Норича (Lady Julian of Norwich) или Юлияния Лазаревская. Читая ряд страниц Арсеньева, я невольно вспомнил некогда знаменитую, но не утратившую своего значения и до сих пор днугу Джемса «Многообразие форм религиозного опыта».

Приятна в книге Арсеньева и большая теплота чувства, «горячность сердечного устремления», как говорили некоторые церковные авторитеты, горячность, соединенная с истинной начитанностью, с эрудицией, проникшей в самый пишущий ум, а не в один рассудок. Знание здесь не для того, чтобы его показать, блеснуть, удивить, а чтоб убедить и указать на глубины духовной жизни, жаждущие преображения.

Р. Плетнев

ИЗ ИСТОРИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ
1917-1921 гг. Сборник документов. Москва. 1958. 511 стр.

Эта книга — политическое событие. Не потому, что она представляет собой собрание (неполное) документов, разбросанных по трудно сейчас доступным изданиям первой четырехлетки большевицкого террора; документы эти подобраны, приглажены и истолкованы в желательном для редакторов смысле. Книга — событие потому, что является показателем морально-политического уровня коммунистической партии на 42-ом году пребывания у власти, в пору всяких «оттепелей», отказа от «культа личности» и возвращения к «советскому гуманизму Ленина».

Согласно легенде, распространяемой нынешней советской верхушкой, Сталин — Цезарь Борджиа, Нерон, Калигула — вовсе не был верным последователем Ленина, и «сталинизм» был извращением «ленинизма», а не его развитием. Не будем здесь касаться этой темы полностью. Укажем только, что выпущенная сейчас в Москве книга лишний раз опровергает эту легенду и подтверждает внутреннюю тесную связь между учрежденной Лениным и Дзержинским и процветавшей при них ВЧК и производными от нее, сменявшими друг друга ГПУ, ОГПУ, НКВД, МВД-МГБ, КГБ.

У нынешних советских заправил хватило бесстыдства восстановить, восславить и предать гласности историю чекистских подвигов. Это в той же линии, что и недавнее оповещение о состоявшемся Всесоюзном совещании «по важнейшим вопросам чекистской работы», с участием не только официальных руководителей «органов государственной безопасности», но и виднейших представителей партии и правительства: секретаря Президиума Кириченко, министра обороны Малиновского, председателя Верховного Суда СССР Горкина, министра внутренних дел Дудорова, прокуратуры и других. Однако с первых же слов книги мы имеем попытку исказить историю ВЧК — изобразить ее обратной тому, какой она была на самом деле.

Предисловие начинается с заявления: «История всё полнее раскрывает коварную роль российской и иностранной буржуазии, не гнушавшейся никакими средствами для того, чтобы задушить советскую власть и вернуть себе господствующее положение». Дальше говорится, что «создавалась (кем? как? когда? — М. В.) исключительно сложная и тяжелая обстановка. В этих условиях молодая Советская республика должна была организовать ответные (!) меры борьбы с контрреволюцией». Следуют документы. «На белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят (!) массовым красным террором против буржуазии и ее агентов», — заявил ВЦИК 2 сентября 1918 г. «Красный террор был не чем иным,

как выражением воли беднейшего крестьянства и пролетариата уничтожить всякие восстания и победить», — утверждал задним числом глава ВЧК Дзержинский 17 февраля 1919 г. И т. п.

Совершенно очевидна тенденция: сначала были «они», не гнушавшиеся никакими средствами, и только потом, в порядке как бы законной обороны, появились «ответные меры» — ВЧК, массовый красный террор с пытками и истязаниями. В таком изображении «великий Октябрь» как бы выпадает. Исчезает захват власти «профессиональными революционерами» или, по выражению того же Ленина, «маленькой, но хорошо организованной, вооруженной и централизованной силой», и диктатура большевистской партии приобретает видимость правомерного волеизъявления большинства народа*. Против тех, кто посягает на такую власть, все средства борьбы допустимы и оправданы.

Сами составители истории не выдерживают этой версии. ВЧК была создана 7 декабря 1917 г. по записке Ленина Дзержинскому, воспроизведенной в документе № 68, с которого начинается «Раздел 2» книги. Предшествующие же 67 документов, входящие в «Раздел 1», составляют как бы пред-историю ВЧК. Авторы книги ведут ее с 12 октября 1917 г., когда возник при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов Военно-Революционный Комитет — *«легальный советский штаб пролетарского вооруженного восстания»*. После такого признания много ли стоит уверение, что красный террор был лишь «ответной мерой» и средством обороны большевиков, а никак не их нападения — «вооруженного восстания». Опровергают это и факты. Еще до образования ВЧК растерзали главноверха Духонина, и убийцы не были обнаружены. А после создания ВЧК убийц Кокошкина и Шингарева установили, но не тронули. Убийство большевика Володарского вызвало истребление 500 заложников. В книге приведен пример того, как подстрекал Ленин к массовому отмщению без суда и следствия. «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услышали в ЦК, что в Питере *рабочие* хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали. Протестую решительно... Это не-воз-мож-но!.. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего *решает*. Привет! Ленин.» (стр 143). А убийство начальника морских сил Щастного после судебной комедии, где Троцкий и свидетельствовал, и обвинял, а подсудимому отказали в

* В сношениях с иностранцами наркоминдел Чичерин так и утверждает в ноте от 12 сентября 1918 г.: «Подавляющее большинство русского народа... отдало власть в руки Рабоче-Крестьянского Правительства».

вызове свидетелей. Или расправа без следствия и суда с членами царствовавшего дома в Екатеринбурге, Перми, Алапаевске, Петрограде. Или истребление по спискам взрослых и детей, стариков и женщин при занятии большевиками Киева, Ростова, Крыма и т. д.

Кто начал гражданскую войну и какой террор — красный или белый — породил «ответные меры»?

Составители истории ВЧК не оригинальны — они следуют тактике, прочно установленной первоучителями и вождями в разное время ими публично признанной. Сталин возвел даже в своего рода социологический закон практику большевиков при подготовке восстания. Он говорил в 1924 г.: «каждый, или почти каждый, шаг своего наступления революция (не большевицкая партия! — М. В.) старается проделать под видом обороны... Несомненно, что открытый переход гарнизона на сторону Военно-революционного комитета и организация сети советских комиссаров знаменовало собой начало восстания, тем не менее эти шаги были проделаны революцией под лозунгом защиты Петроградского Совета от возможных выступлений контрреволюции. Революция как бы маскировала свои наступательные действия оболочкой обороны. Этим, должно быть, и объясняется внешне-оборонительный характер речей, статей и лозунгов этого периода» (Сочин. Т. 6. Стр. 342. — Изд. 1947). Прошло 35 лет, но та же «маскировка» или придача «внешне-оборонительного характера» красному террору сохранились и в истории ВЧК.

В книге собрано 349 документов с кратким хронологическим (12 октября 1917 — 6 февраля 1921 г.) и предметно-тематическим указателем. В ней много лишнего и еще больше пробелов. Примером первого может служить, например, перепечатка из «Известий» 5 сентября 1918 г. «Решения трудящихся Москвы стать на защиту советской власти», в котором нет ни слова ни о ЧК, ни о красном терроре. Если говорить о явных пробелах, надо прежде всего указать на полное отсутствие в книге того, что Ленин любил называть «проверкой исполнения»: нет никаких данных о пострадавших от ВЧК, — сколько, где, как погибли жертвы. Да и о палачах сведения скупы, случайны и разрознены.

Ряд документов связан с покушениями на жизнь Ленина и нет ни одного, который говорил бы о расправе с Фанни Каплан (бессудной, конечно) через 4 дня после неудачного покушения. Даже имя ее нигде не названо. Между тем это перестало уже быть государственной тайной. В 11-ой книге «Москва» за минувший год бывший «комендант Кремля» Мальков подробно и не без самолюбования рассказал, как «добрый, чуткий, отзывчивый» Аванесов (позднее расстрелянный Сталиным) приказал ему «забрать» Каплан и «немедленно» расстрелять.

Не найти в истории ВЧК и сообщений об убийствах царской семьи, хотя там и тут встречаются перепечатки о деятельности провинциальных ЧК — губернских и даже уездных.

Главные герои книги, конечно, Ленин, идеолог и вдохновитель террора, и Дзержинский — практик, приводивший в движение эту мясорубку. Явно проступает желание обелить обоих, изобразить их человеколюбцами, пекущимися не только об успешной работе «карательного меча революции», а чуть ли и не о его жертвах. Конечно, могли быть ошибки и даже злоупотребления отдельных чекистов. Но в общем ВЧК давала полное удовлетворение своим создателям. Ошибки совершенно незначительны по сравнению с заслугами ВЧК перед Советским государством, — говорил и писал Ленин. «Когда я сопоставляю их с нападками, я говорю: это обывательские толки, ничего не стоящие... Для нас важно, что ЧК осуществляют непосредственно диктатуру пролетариата, и в этом отношении их роль неопределима» (212).

Подводя итоги деятельности ВЧК за первые 15 месяцев, Дзержинский признал ее, конечно, успешной, но всё же рекомендовал впредь действовать «иным методом». «Раньше мы не имели возможно судить, так же как и на войне и на фронте это не суд, а борьба — война, поэтому Чрезвычайной комиссии и были предоставлены полномочия расправы, полномочия войны». Теперь другое дело: теперь придется выискивать и судить отдельные личности, «ибо уже нет тех контрреволюционных внутри страны сил, с которыми бы, как с массовым сплочением, нам приходилось бы бороться» (255). Метод, увы, оставался прежний, как ни переименовывалась, ни перестраивалась, ни возглавлялась бывшая ЧК. Да что говорить о ГПУ, НКВД, МВД-МГБ, КГБ или о Ягоде, Ежове, Бери, Круглове и Серове, когда уже через 5½ месяцев после ликвидации ЧК, в половине 1922 г., Ленин приказывал своему комиссару юстиции Курскому, чтобы советский суд «не устранил террора, а обосновал и узаконил его принципиально, ясно, без фальши и прикрас» (Т. 33, стр. 321).

Ленин был «душой» красного террора, его идеологом. Весь «ленинизм» политически и социально-исторически опирается на террор и без террора утрачивает всякий смысл. Когда исполнилась первая годовщина ВЧК, Ленин выступил на торжестве — «Митинге-концерте сотрудников ВЧК». К тому времени он уже забыл то, что говорил полтора года раньше, в мае 1917 г., на Всероссийской конференции, когда доказывал: «Мы не можем стоять за то, чтобы социализм 'вводить', — это было бы величайшей нелепостью. Мы должны социализм проповедовать. Большинство населения в России — крестьяне, мелкие хозяева, которые о социализме не могут и думать».

Достигнув высшей власти, Ленин забыл и слова Интернационала, который распевал всю жизнь, повторяя, что «никто не даст нам избавления — ни Бог, ни царь и не герой», а своего освобождения трудящиеся добьются «своею собственной рукой». На митинге-концерте чекистов 7 ноября 1918 г. Ленин дал новое исповедание своей «социалистической» веры. Он кончил речь словами: «Иного пути к освобождению масс, кроме подавления путем насилия эксплуататоров, — нет. Этим и занимаются ЧК, в этом их заслуга перед пролетариатом».

Оправдание чекистского террора Лениным — его «чекодицея» — дожило до наших дней.

М. Вишняк

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ:

Глубокоуважаемый Михаил Михайлович,

Не откажите напечатать некоторые мои замечания по поводу статьи И. Ильина «Революция», появившейся в 56 книге редактируемого Вами «Нового Журнала». Будь она помещена в отделе беллетристики, на нее возражать было бы трудно. Автор исторической повести имеет право описывать события и людей как ему вздумается. Но статья И. Ильина помещена среди воспоминаний и документов. В ней мне приписываются, да еще в кавычках, слова, которых я не говорила, а значит и действия мои толкуются ложно. Для пишущего человека слова — те же дела. А ведь автор затрагивает очень сложную и важную проблему всё еще до конца не проанализированную — как пришла революция 1917 года, кто и как ей способствовал. При этом автор произвольно перетасовывает события, настроения, взаимоотношения разных лиц и не считается с хронологией. И. Ильин рассказывает, что встречал меня и Г. В. Вильямса во Львове весной 1915 года. «Ариадна Владимировна была полна революционного негодования» — пишет он. На самом деле, в то лето те с кем мы общались были полны военным пафосом, а совсем не революционным. Общее настроение всё еще определялось лозунгом — борьба с Германией до победного конца. О борьбе с самодержавием может быть говорили в конспиративных кружках, с которыми ни у меня, ни у Вильямса не было никакой связи. Между тем для изучения революции необходимо считаться с постепенным нарастанием изменчивых настроений.

Хронологически моя поправка тоже связана с нашей встречей во Львове в 1915 году. По словам И. Ильина, я во Львове рассказала ему «как в Думе Милюков открыто говорил про губительное влияние Распутина на царицу». На самом деле думская речь Милюкова, в которой он намекал на Распутина и царицу была произнесена 1-го ноября 1916 года. Также спутаны и отношения различных лиц. Перечисляя политических деятелей, которых он встречал в моем воображаемом «салоне», И. Ильин рассказывает: «Вхожу в гостиную — А. В., Вильямс, Шингарев, Гучков, знакомые англичане, ждут Милюкова. Я подхожу, здороваюсь. Вильямс, указывая на Гучкова, говорит «Вот ваш военный министр». Я немного ошеломлен (хорошо, что только еще немного. А. Т.) и не сразу понимаю в чем дело». Всё это сплошная фантазия. А. И. Гучков в России у меня никогда не был. Это, однако, не мешает И. Ильину делать из этой вымышленной встречи свои выводы: «Когда я прочел состав министров мне вдруг стало ясно: ведь Вильямс, А. В. Тыркова, англичане очевидно знали о готовящихся событиях. Что касается Ариадны Владимировны, то она, видимо, была очень довольна надвигающимися событиями». И. Ильин не говорит в чем состояло мое в них участие. Тут только намеки на что-то злостное, что происходило у меня в доме. Я не стала бы возражать против такого кривого изображения моего общения с политиками, но в интересах будущих историков, которым нелегко будет разбираться в наших потрясениях, я настаиваю на том, что от мемуариста требуется не выдумка, а точность.

Еще несколько слов о моем муже — Г. В. Вильямсе. Он жил в Петербурге с 1904 до 1918 г. Россию он знал лучше многих русских. И ее любил. Он был корреспондент больших английских газет. Во время войны он кроме очень напряженной корреспондентской работы, вместе с известным английским романистом Хью Вольполом, взялся, по поручению Английского Посольства, вести Британский Комитет. Его задачей было знакомить русских с Англией и англичан с Россией, содействовать сближению двух народов. На еженедельных завтраках комитета бывали дипломаты, политики, члены Думы, царские министры, включая Сазонова. Вильямс придавал в военном отношении большое значение всему, что закрепляло связь между союзниками, и стремился подготовить дальнейшее дружественное сближение между Англией и Россией. Он видел в этом лучшую опору для всеобщего мира. Он был верным союзником и верным другом России, у которой друзей всегда было мало.

С искренним уважением

Ариадна Тыркова-Вильямс

Глубокоуважаемый г-н Редактор,

Не откажите в любезности поместить мой ответ г-же А. В. Тырковой-Вильямс. Относительно поправок А. В. Тырковой, я думаю, что трудно полагаться только на свою память, как это делает г-жа Тыркова. Я тоже полностью на свою память положиться не могу, но вот уже пятьдесят лет я веду дневник, куда день за днем заносил свои записи. Оригинал этого дневника (1914-1938 г.г.) был приобретен «Русским заграничным архивом» в Праге (в Бюллетене Архива о нем упоминается). Но у меня некоторые записи остались.

Г-жа А. В. Тыркова весьма старательно отказывается от своих прежних оппозиционных и революционных настроений. Но ведь ее фельетоны в газете П. Н. Милюкова и И. В. Гессена («Речь») за подписью «Вергезский» существуют. И надо помнить, что в те времена то, что называется «революционным настроением» царило решительно во всех «салонах» Петрограда и особенно усилилось во время отступления нашей армии. Для меня совершенно очевидно, что г-жа Тыркова просто не помнит, как она возмущалась царским правительством. Ее замечание, что будто бы я перепутал даты, когда Милюков говорил в Думе «намекая на царицу и Распутина» не убедительно потому, что Милюков говорил в Думе о том, что творилось на верхах и в 1914, 15, 16 и 17 годах. И как об этом отзывалась г-жа Тыркова у меня было тогда же записано.

Что касается А. И. Гучкова — верно, что октябрист Гучков у Тырковой не бывал. Но в этот раз он там был.

Г-жа Тыркова возражает против того, что она была «довольна надвигающимися событиями» и добавляет, что тут, будто бы, «намеки на что-то злостное, что происходило у меня в доме». Не могу понять, что же здесь «злостного»? Тогда все, кажется, ждали с нетерпением «надвигающихся событий», а уж что говорить об А. В. Тырковой, смолоду примкнувшей к революционерам. Этот теперешний «страх» А. В. Тырковой психологически мне понятен, но А. В. оправдывается не убедительно: «С кем мы общались были полны военным пафосом, а не революционным». Святая истина! Но только именно благодаря военному пафосу все и мечтали о переменах, т. к. понимали, что с Сухомлиновым не победить. Еще несколько слов о Г. В. Вильямс. Почему г-жа Тыркова оправдывает его — я решительно не понимаю. Г. В. был чрезвычайно милый, порядочный человек и ничего дурного я о нем не говорил, а что он хотел и даже очень «перемен», понимая, что царское правительство не победит, так ведь тут ничего удивительного нет. — Вильямс был англичанин — и этого хотели все союзники, думая прежде всего о победе.

И. Ильин

14—IV—59

Милостивый Государь, г. Редактор,

В 55-ой книжке Нового Журнала появилась статья Андрея Седых о Бальмонте, к которой мне хотелось бы прибавить несколько сведений и исправить несколько неточностей.

Я знала Бальмонта давно, когда была еще студенткой в Париже в 1902-3 году. Он пользовался тогда огромной популярностью и на всех его выступлениях, особенно, когда он декламировал свои стихи, публика шумно и бурно проявляла свой восторг. Помню однажды, когда восторженная публика трижды вызвала его после чтения стихов, он подошел к рампе и презрительно сказал:

Довольно, довольно мне вас.

Круто повернулся и ушел со сцены.

В последующие его приезды в Париж, его выступления были и менее бурными и публика была не столь многочисленна. Но никогда одиноким он не был. Его жена, Елена Константиновна, ухаживала за ним, как за малым ребенком, никогда с ним не расставаясь, хотя подчас это было не очень легко.

В больнице для душевно больных он никогда не был, но жил в доме отдыха, в Noisy, куда к нему часто приезжали друзья. Эти же друзья проводили его на кладбище. «Поэта» похоронили поздней осенью, но с цветами.

Вот одни из его последних «осенних» стихов, присланные мне.

Серая осень, летучею мышью,
С писком скрипучим реет кругом.
Надо замкнуться. Тешиться тишью.
Душу овеять звонким стихом...

Вот то немного, что я хотела добавить к статье Андрея Седых.

М. Н. Антова

14 rue Massenet Paris 16-e.

В ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ФОНД «НОВОГО ЖУРНАЛА»

В ответ на обращение М. М. Карповича «К друзьям и читателям», напечатанное в «Новом Русском Слове» и в «Русской Мысли», в редакцию нашего журнала поступили следующие пожертвования на создание «Издательского Фонда Нового Журнала»:

(в долл.)		(в долл.)	
В. и С. Беляевы	500	М. и С. Архангельские ..	15
Т. А. и А. Р. Г.	500	Н. М. Рибо	15
М. В. Вишняк	25	С. М. и Р. Н. Г.	250
Г. Абрамсон	50	Н. О. Лосский	5
Е. И. Могилат	5	Н. Цонев	5
Др. В. Леонтьев	5	Г. Зяблов	5
Е. Клебанова	5	Е. Ганфман (в память	
Л. Д.	10	А. П. Беклемишева) ..	20
Л. В.	4,50	Ю. Иваск	10
В. С. Войтинский	50	В. Зилова (в память М. Л.	
А. Болотовская	10	Гофмана)	2
С. Кучеров	50	В. Просс	3
С. Бертенсон	10	В. Дюк	15
О. Бондарь	2	А. Вельмин	5
А. Стадницкая	8	Ю. Денике	30
Н. Калашников	20	А. Осепьян	15
В. Г.	25	В. и С. Шварц	25
И. Литвишко	10	С. М. Л.	200
М. Павликовский	5		
		и т о г о : 1914.50	

Редакция приносит искреннюю благодарность всем жертвове-
телям и просит друзей и читателей, желающих поддержать «Изда-
тельский Фонд Нового Журнала», выписывать чеки на "The New
Review" и присылать их по адресу редакции: The New Review,
2700 Broadway, New York 25. N. Y.

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- ПРОФ. А. А. БОГОЛЕПОВ. *Церковь под властью коммунизма*. Институт по Изучению СССР. Мюнхен. 1958.
- А. А. ТАРАСОВ. *Социальная религия*. Часть первая. Мюнхен. 1959.
- НИКОЛАЙ ВОДНЕВСКИЙ. *Под покровом Всевышнего*. Биографическая повесть. Сакраменто, Калифорния. 1959.
- ГЕОРГИЙ ПЕСКОВ. *В рассеянии сущие*. Париж. 1959.
- СТИФЕН ВИНСЕНТ БЕНЭ. *Дьявол и Даниэль Вебстер и др. рассказы*. Из-во «Чайка». Нью-Йорк. 1959.
- БОРИС ПАСТЕРНАК. *Когда разгуляется*. Париж. 1959.
- AVRAHAM YORMOLINSKY. *Road to Revolution*. The Macmillan Co. New York. 1959.
- ERDOK STEPUN. *Der Bolschewismus und die Christliche Existenz*. Kösel-Verlag. München. 1959.
- RICHARD PIPES. *Karamzin's Memoir on Ancient and Modern Russia*. A translation and analysis. Harvard University Press. Cambridge, Mass. 1959.
- N. M. KARAMZIN. *A Memoir on Ancient and Modern Russia*. The Russian text. Harvard University Press. Cambridge, Mass. 1959.
- GEORGE ALEXANDER LENSEN. *The Russian Push Toward Japan*. Princeton University Press. 1959.
- GEORGE VERNADSKY. *Essai sur les origines Russes*. Vol. 1 et 2. Paris. 1959.
- W. S. & E. S. WOYTINSKY. *Lessons of the Recessions*. Public Affairs Institute. Washington D. C. 1959.
- Problems of the People of the USSR*. No. 2. League for the Liberation of the Peoples of USSR. Munich. 1959.
- The Slavic and East European Journal*. Spring 1959. Vol. XVII. No. 1. Summer 1959. Vol. XVII. No. 2.
- ЯКОВ МИХАЛЬСКИЙ. *Враги человечества*. Изд. «Сеятель». Буэнос Айрес. 1959.
- ПЕТР БАЛАКШИН. *Финал в Китае*, т. 1. Изд. Сириус. 1958.
- ВИКТОР СВЕН. *Чей друг и чей враг Михаил Зощенко?* Изд. ЦОПЭ, Мюнхен. 1958.
- А. ТАЙГИН. *Социалистический реализм*. Заметки о советской литературе. Изд. ЦОПЭ. Мюнхен. 1958.
- К. КРЫЛОВ. *Система всенародной собственности (Выход из социалистического тупика)*. Изд. ЦОПЭ. 1958.

- А. ФЕДОРОВ. *Реорганизация управления промышленностью в СССР*. Анализ причин и последствий реорганизации. Изд. ЦОПЭ. Мюнхен. 1958.
- В. МЕРЦАЛОВ. *Закрепощенное хозяйство*. Изд. ЦОПЭ. Мюнхен. 1958.
- ВЛ. НИКОЛАЕВ. *К свободе, праву и справедливости*. О путях переустройства России. Изд. ЦОПЭ. Мюнхен. 1958.
- АЛЕКСЕЙ УГРЮМОВ. *Пережитое и передуманное*. Тетрадь стихов. (На правах рукописи). Кембридж. 1958.
- Indiana Slavic Studies*. Vol. II, Indiana University Publications, Bloomington, Ind. 1958.
- JAMES BURNHAM. *Rewolucja Manadzrska*. Instytut Literacki. Paryż. 1958.
- GASTON BILENKISS. *Beggar's Paradise*. Pageant Press, Inc. New York. 1958.
- A Russian Princess Return to the Soviet Union*. G. P. Putnam's Sons. New York. 1959.
- PRINCESS ZINAIDA SCHAKOVSKOY. *The Privilege was Mine*. ANNALI. Sezione Slavo. I. Instituto Universitario Orientale. Napoli. 1958.
- Program związku komunistów Jugosławii*. Dokumenty. Krytyka "Komunista". Instytut Literacki. Paryż. 1959.
- Литературное зарубежье*. Сборник-антология. Мюнхен. 1958.
- НИКОЛАЙ МОРШЕН. *Тюлень*. Стихи. Изд. «Посев». Франкфурт. 1959.
- Д. КЛЕНОВСКИЙ. *Прикосновение*. 5-я кн. стихов. Мюнхен. 1959.
- DR. J. H. DUBBINK. *Het Onzegbaar Domein*. Uitgeverij der Theosofische Vereniging. Amsterdam. 1959.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ КН. 56

Содержание: Алексей Ремизов — Плачущая канава. Н. Ильинская — Вовина весна. СТИХИ: Георгий Иванов — Посмертный дневник, Лидия Алексеева, Ирина Одоевцева, Виктор Ляпин. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: В. Александрова — Тургенев в Америке. М. Коряков — Афиногенов и Пастернак. Ф. Степун — Б. Л. Пастернак. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: И. С. Ильин — Революция. В. Ледницкий — Вокруг Маклакова. И. Цитрон — В. Г. Короленко под судом. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Б. Двинов — Ленинский Интернационал. Н. С. Тимашев — Реформы в советском уголовном праве. М. Карпович — Е. Д. Кускова. БИБЛИОГРАФИЯ: Роман Гуль — В. Н. Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. М. Карпович — М. Алданов. Самоубийство. М. Вишняк — The Waist-High Culture, by Thomas Griffith.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

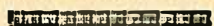
1943-1958

С Т И Х И

Вступительная статья Романа Гуля

Издание «Нового Журнала»

Цена 2 дол.



А. И. ГЕРЦЕН

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА

к Н. И. и Т. А. Астраковым

Приготовил к печати Л. Л. Домгер

Издание «Нового Журнала»

Цена 1 д. 50 ц.



РОМАН ГУЛЬ

С К И Ф В Е В Р О П Е

(Бакунин и Николай 1-й)

Издательство «Мост»

Цена 2 д. 50 ц.



**Эти книги можно заказывать
в редакции «Нового Журнала»**



В редакции можно заказывать все ранее вышедшие книги «Нового Журнала» за исключением № 1 и № 3. До № 25 книги стоят 1 дол. (10 цент. пересылка), начиная с книги № 26 — 2 дол. (10 центов пересылка).

"Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1959 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 100 крузейро



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

**The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.**

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

**Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме
праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня**
